Александр Яшин



Перовское озеро

Александр Яшин

Перовское озеро

Повести и рассказы



Москва „Детская литература“ 1989

ББК 84.3Р7
Я96

Вступительная статья и составление
Н. ЯШИНОЙ
Художник
О. КОМИНАРЕЦ

Яшин А. Я.

Я96 Перовское озеро: Повести и рассказы/Вступит. статья и составление Н. Яшиной; Художник О. Коминарец.— М.: Дет. лит., 1989.— 271 с.: ил.

ISBN 5—08—000774—5

В книгу входят повести «Сирота», «Выскочка», рассказы «Перовское озеро», «Угощаю рябиной» и другие. Писатель острого, бескомпромиссного взгляда, А. Яшин учит активной жизненной позиции, учит отличать истинные ценности от мнимых. Проблематика и накал авторских идей созвучны сегодняшнему дню.

Я $\frac{4803010201-083}{М101(03)-89}$ 331—89 ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—000774—5

СИЛА СЛОВ

Александр Яшин в автобиографии «О моих корнях» так писал: «Жизненный путь мой не прост. Я с детства знал, что буду поэтом... Страну свою я исколесил вдоль и поперек и знаю не только северную деревню, но писать хочется больше о тех местах, где я вырос, о своей заблудившейся в лесах деревне Блудново... Там все мои корни, все мои начала, там моя литературная судьба, мои герои». Само название биографии говорит уже о том, что человек, как дерево, имеет «корни», которые, чтобы не засохнуть, должны питаться соками родной земли.

Проза Александра Яшина в основном о деревне. Он понимал, что жизнь нашей страны во многом зависит от жизни деревни, и не только экономическая, но и социально-общественная. В одной из статей, еще в 1956 году, Яшин писал: «Появятся огрехи в пахоте на ниве народной, начнет разрушаться структурность ее почвы — это немедленно отзывается и в литературе». Деревня не только кормит страну, но и во все времена является источником творчества народного, национального. Деревня ближе к природе, чем город, человек там живет в теснейшей связи с ней, и отношения людей между собой более открытые, чем в городе, характеры виднее. Для человека, выросшего в деревне, воспоминания детства особенно дороги, потому что, кроме отношений между родственниками, соседями, главным действующим лицом встает природа. Уклад жизни мудрый, здоровый.

О благородном влиянии природы на детскую душу сказал К. Д. Ушинский: «Прекрасный ландшафт имеет такое огромное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию даже педагога».

Александр Яшин так вспоминал о своих краях: «Вероятно, для каждого любимые с детства места представляются неповторимыми. Но думается, что в отношении наших вологодских и архангельских лесов это не просто игра воображения. Таинственные волока, медвежьи буераки, жизнь среди охотников и звероловов таили в себе для детского возраста столько прелести, что, может быть, поэтому я склонен вспоминать из той поры больше хорошее, чем плохое и жестокое».

Своих детей Яшин не раз отвозил на лето в деревню. «Жить в России и не знать деревню нельзя!» — говорил он.

Поколение Александра Яшина было последним, или почти последним, которое застало живую русскую деревню. Оно запомнило и впитало в себя заветы прадедов: прежде всего с умом, честно относиться к своему труду. Во времена детства писателя да и потом долгое время на Севере не было радио, телевизоров, магнитофонов, и люди сами пели, плясали, сочиняли песни и частушки. Сейчас все это можно услышать со сцены в репертуаре различных хоров, развлекающих народ. То, что мы называем научным словом «фольклор», было жизнью людей, их творчеством. Крестьяне пели не только во время праздников, а и во время работы. Обряды были не просто обрядами, а жизнью: всё, что сейчас собирается и хранится в музеях, тогда окружало людей. В крынках и плошках варили, на прялках пряли, на иконы молились, домотканые сарафаны носили. И в северных деревнях всё это долго сохранялось.

Особое место занимали сказки. Их рассказывали, передавали из уст в уста, из поколения в поколение живым языком, каждый раз немного по-разному. «В нашей деревне было много сказочников и песельников,— вспоминал писатель.— В поле, на новине, на сенокосе — нигде отдых не проходил без сказок. Сказки рассказывались в овинах, в смолокурнях, на посиделках. Брали сказочников и на сплав леса, и на охоту, и на терпентиновые промыслы. А на дальние сенокосы, куда крестьяне уезжали целыми семьями на полмесяца и больше, часто забирали с собой стариков, чтобы они перед сном рассказывали уставшим людям сказки. Невыносимо тяжелый для подростков труд скрашивался, бывало, ожиданием, что в конце дня мы соберемся у костра в охотничьей избушке, ляжем на свежее, пахучее сено и дед начнет очередную бывальщинку.

Жарко горят березовые кряжи, шумит вокруг дремучий лес, а дед все говорит и говорит, иногда перебивая повествование стихами и протяжной былинной песней...»

И у Александра Яшина бабушка со стороны отца, Авдотья Павловна, была известной на всю округу сказительницей. А дед — прекрасным кузнецом, умелым хозяином, очень добрым человеком. Это он построил в деревне начальную школу, в которой до сих пор учатся маленькие односельчане писателя. Род этот, Поповых, в деревне считался одним из лучших: все были грамотные, работящие, одаренные, хозяйственные, красивые своей статью люди. Все это передалось в наследство и Александру Яшину — Шуре Попову — такова его родовая фамилия. Яшин — псевдоним, который он взял в память отца — Якова, погибшего в первую мировую войну, когда мальчику было два года.

Александр Яшин, поэт и прозаик, родился 27 марта 1913 года в далекой северной деревне Вологодской области, Никольского района. Далекая она и по сей день из-за отсутствия дорог. Основной путь туда — самолетом.

Сейчас город Никольск часто называют «медвежьим углом». Но в те времена уездные города не выглядели такими заброшенными и захолустными, как нам кажется. Это были города со своей культурной жизнью. В Никольске, например, было много учебных заведений, прекрасных педагогов. Окончив начальную школу в своей деревне, будущий писатель поступает в никольскую семилетку, а затем в педагогический техникум. В характеристике, данной ему, сказано, что он «академически подготовлен, отношение к учебе серьезное».

Глядя на его конспекты тех лет, записи, понимаешь, что способности его, жажда учиться были поддержаны системой преподавания и добросовестным отношением к своему делу педагогов высокой культуры, оказавших доброе влияние на своих учеников. Слушая рассказы его сверстников, разглядывая старые самодельные афиши их выступлений, концертов, журнал, выпускаемый ими, видишь, что им было чем жить, и только поражаешься, как на все хватало времени. И все это происходило в годы начавшейся послереволюционной перестройки, когда страна жила трудно: и голодали, и одеты были кто во что, не хватало бумаги — писали на старых бланках, отдельных листочках, вырванных в конце книг. Некоторые бедные ученики, приходя из деревни, поначалу писали на бересте. И тем не менее почерк почти у всех был каллиграфический.

Уже тогда Шура Попов выделялся своими способностями. Сочинять стихи он начал рано. В детстве, затем в юношеские годы пишет бесконечное количество стихов, поэм, фельетонов, пьес, рассказов. В стихотворениях тех лет он дает картину летней страды, своего обязательного участия в работах на сенокосе и одновременно пишет о тоске по своему главному делу: ему хочется все бросить и сесть за сочинение стихов. В пятнадцатилетием возрасте Яшин записывает: «У других если горе — то слезы, у поэта на все стихи». Вспоминают, что даже математику он отвечал стихами, а в семилетке учительница по русскому языку доверяла ему проверять тетради. Конечно, он был самородком по дарованию, но путь его был нелегким. «Становление литератора — процесс трудный и длительный»,— писал он.

Рано оставшись без отца, Яшин вырос в семье отчима, который не разрешал ему учиться, так как семья жила трудно и в подрастающем мальчике отчим видел работника, помощника по хозяйству. Вот тогда дед писателя, Михаил Михайлович Попов, уважаемый в деревне человек, избиравшийся в Государственную думу, собрал сельский сход, который и постановил: хоть ты и отчим, но раз парень рвется учиться, учи его. Мать писателя до конца дней оставалась неграмотной, но человеком она была ярким, одаренным.

После окончания педтехникума Яшин работал учителем в

Вологодской области. К своей работе педагога он относился очень добросовестно. Через год работы в школе, в 1932 году, он записывает в дневнике: «Сегодня первый раз провел поголовную проверку всех ребят из 1-й группы по чтению и остался очень довольным... Эх, как я рад! Этого дня ждал с большим нетерпением... А сколько, может быть, в будущем видных работников общества, обучены чтению, письму, счету мною. Я вижу, что мои усилия не пропали даром. Я горжусь этим. Я люблю сегодня своих малышей, люблю крепко всех вместе и каждого в отдельности». Но поэтический дар, талант взяли верх над предложенным ему жизнью педагогическим путем. Вскоре он попадает в Вологду, Архангельск, где в 1934 году вышла первая книга стихов и откуда он был направлен в Москву делегатом Первого съезда писателей. Потом годы учения в Литературном институте, после окончания которого в в июле 1941 года Яшин уходит на фронт добровольцем. И на войне, пережив блокаду Ленинграда, Сталинградскую эпопею, он ни на минуту не прекращал своей писательской деятельности.

Удивительная целеустремленность с детства и до конца дней:

Счастливый дар не на года
Дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлеченья,
А навсегда —
Со дня рожденья
Для непрестанного труда.

Конечно, многое в писательской судьбе помогало ему, но в то же время, читая его дневники, которые являются своеобразной дневниковой прозой, летописью времени, поражаешься, как он сам себя растил, строил. Талант дается от рожденья, пишет человек от полноты души, а «душу свою надо очищать от всяческой скверны», к этому он и призывал: бороться за очищение души. Свой дар он воспринимал как долг перед родиной и народом, который он должен был, вырастив и приумножив, вернуть сторицей.

Труден был путь из далекой деревни в столицу к знаниям, творческой зрелости, признанию, но не менее трудным обратный путь — мастера, человека, обретшего внутреннее зрение, накопившего жизненный опыт, ставшего мудрым. Это был путь души. Вся жизнь писателя была возвращением на родину. И в творчестве, и в буквальном смысле. Не представляя своей жизни без Москвы, которая дала ему многое, писатель также не представлял своей жизни и без тех краев, где родился. Интересна запись в дневнике, сделанная шестнадцатилетним подростком, когда Москва была для него еще недосягаемой

мечтой: «Только тогда я буду постоянно жить в Москве, соглашусь на это, когда вы перенесете ее на мою родину».

Начав свою работу в литературе как поэт, Яшин пробовал свои силы и в прозе. Первый рассказ его «Рычаги» опубликован в 1956 году. Жизненного материала накопилось столько, что он требовал иного жанра. Продолжая писать стихи, работу над прозой Яшин уже не прекращал до конца дней.

Писатели России всегда были совестью народа, выразителями его дум и чаяний. Страстно любя северные края, Яшин не только воспевал их, но помогал увидеть порой скрытые от глаз болезни общества, проявившиеся в деревне. Этот материал он знал, его и показывал.

Хотя бо́льшую часть своей жизни Яшин прожил в Москве и в Подмосковье, но дачный участок, пригород не смогли заменить ему настоящих полей, стогов, бескрайних лесов, и он почти каждый год подолгу бывал у себя на родине. Многие герои его произведений и поныне живут в этих деревнях.

Яшин был социальным писателем — выразителем интересов своих односельчан, защитником правды, совести, чести, причем в те времена, когда это было очень трудно, когда иметь свое мнение считалось подвигом. Душа его болела за судьбу русской северной деревни. К нему обращались за помощью, за советом. Он с гордостью писал: «Меня мужики называют своим поэтом...» Не один раз подтверждает он свою причастность к родной земле: «Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил на полях, которые еще плугом пахал...», «Хорошо идут дела у моих земляков — и мне хорошо пишется, плохо они живут — и я живу плохо».

После несправедливой критики в печати по поводу повести «Вологодская свадьба» «герои» его, односельчане, собрали сельский сход, на котором вслух прочитали эту повесть, обсудили ее и написали письмо в защиту автора, что они, мужики, считают: Яшин во всем прав, описывая их жизнь. Письмо со многими подписями было послано в центральную газету в 1963 году.

Второй раз сельский сход сыграл важную роль в жизни писателя.

Вот так, кажется, что от старой деревни ничего не осталось, но при всей разобщенности людей общие вопросы в деревне решаются миром, его заступничеством и защитой. Так и в произведениях Яшина: описания событий прошлых лет имеют прямое отношение к нашим дням и связаны с проблемами нашего времени.

Многие герои произведений Яшина — подростки. Писатель чувствовал, что этот возраст как бы перевал от детства к годам зрелости. Человек стоит на перепутье, на пороге начинающейся самостоятельной жизни: какой ей быть, по какому пути

идти? Через своих героев писатель и воспитывает подростков, юношество.

Две внешне различные повести имеют много общего.

В «Сироте» — два брата, оставшиеся сиротами и разными путями вошедшие в жизнь. Два характера, две совести.

«Выскочка» — повесть сатирическая, написанная гротескно, ее конфликт так определен автором: «Повесть эта... о славе заслуженной, трудовой, и — дутой, созданной искусственно, якобы ради пропаганды, о тяжелой психической травме и трудной душевной перестройке прославленной девушки-свинарки, популярность которой была использована очковтирателями в своих корыстных целях». Главная же тема повести «Сирота» — тема сиротства земли. «Бесхозная земля рожать не будет, надо, чтобы земля не осиротела». Эта же мысль проведена и в «Выскочке»: «Земля осиротела, лежит неухоженная, необласканная, последние силы свои теряет». Простая, но глубокая мысль о том, что без любви к своему делу, без заботливого отношения к земле, к природе, к животным, наконец, к людям не будет полной отдачи, работа будет не в радость, а людям жить будет трудно. И спасение положения писатель видит в подрастающем поколении, горячем и справедливом. В первой повести такой опорой являются Шурка, младший брат, и Нюрка-Молчунья, во второй — Нюрка-Выскочка.

Эти образы даны как надежда на ту внутреннюю силу, которая есть в народе и которая рано или поздно объявится и победит пустоту и бездушье, эгоизм и равнодушие. Писатель так об этом говорит: «Испокон веков живет в сердцах русских людей неистребимая вера в правду... И в конце концов она всегда одерживала победу... Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою колхозную правду? Пусть Нюрка — человек не большой, не сильный, не партийный, но правда-то у нее народная, великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она побеждала! И всегда будет побеждать».

Яшин показывает, что при всей критической ситуации, сложившейся в колхозах того времени, есть еще люди, сердцем болеющие за свое дело, за землю, ищущие правильных путей, старающиеся всеми силами удержаться на них. Везде противопоставление двух сил: творческого отношения к труду и бюрократизма, совестливости, гражданственности и собственнического эгоизма — добра и зла. И даже в рассказе «Перовское озеро» противопоставлены восторженный, влюбленный Федор и практично-заземленная Кланя, которую юноша опоэтизировал в своих мечтах.

О любви рассказывается и в цикле рассказов «Сладкий остров», о поэтичном отношении людей к природе и через нее друг к другу, о великой ценности для человеческой души не только материального мира, но и духовного.

Даже в таких, казалось бы, безобидных рассказах о жи-

вотных, как «Старый валенок», «Живодер», слышен гражданский голос писателя, видна его позиция. Необычен своей аллегоричностью рассказ «Волк в городе».

Многие произведения писателя автобиографичны. И если не точно повторяют события, бывшие в его жизни, то использованы в творчески измененном виде и часто по смыслу являются обобщающими... В небольшом рассказе «Проводы солдата» можно увидеть образ страны, провожавшей на войну своего солдата.

Силы добра и зла присутствуют и в маленьком рассказе-притче «Журавли», который имеет подзаголовок «Сила слов». Яшин показывает нам, что доброе слово перекрывает недоброе, лишает его власти. Слово и птиц направляет «путем-дорогой», не дает им сбиваться, желает возвращения домой. Добро всегда выше зла, и оно побеждает, надо только не забывать об этом.

Конечно, это относится в первую очередь к людям. Какие бы недобрые оклики не сбивали людей, надо верить в силу слов, направляющих по верному пути. К этому призывал писатель.

Язык произведений Александра Яшина лаконичный, точный. Стиль емкий, сжатый. К этому его приучила поэзия. Это проза поэта. Но тут имеет значение и северное происхождение писателя. Величаво-строгая природа. Дома, чем севернее, тем меньше украшений, завитушек,— монументальные, как бы обобщенные и с какой-нибудь маленькой точеной деталью как драгоценностью. Лица ясные, открытые — приветливые и строгие одновременно. Танцы сдержанные — неспешные хороводы, плавные поклоны. Вышивки в основном не многоцветные, но богатые по рисунку. Посуда четкой, почти классической формы, без лишних виньеток. И в то же время все сделано свободно, живо, все имеет свой образ и смысл. Все взаимосвязано.

В 1968 году, по завещанию Яшина, родные и друзья привезли его на самолете на никольскую землю, а односельчане, одетые в старинные одежды, хранящиеся в сундуках для торжественных случаев, отнесли на домотканых, вышитых полотенцах на берег Юг-реки — это и был его последний земной путь.

Место захоронения он указал сам, называется оно Бобришным Угором. Там он поставил себе дом, чтобы жить и работать среди своего народа. Но... не успел.

Сейчас в этом домике музей. Мемориальный музей открыт также и в городе Никольске. Там стоит гранитный памятник писателю с простой надписью: «Яшину от земляков». А в школе-интернате, носящей его имя, при входе висит большой плакат со строчкой из его стихотворения: «Спешите делать добрые дела!» Такой же плакат встречает всех, прилетевших в Никольск, на аэродроме.

В летние дни на Бобришном Угоре, а потом и в городе устраиваются праздники поэзии, как мечтал об этом Яшин.

«Заходите, соседи из окрестных селений...» — приезжают люди со всей области и из других городов. Дети приходят к поэту с полевыми цветами, которые они собирают по дороге.

Перед своей кончиной Яшин просил родных отвезти на его родину много игрушек, чтобы каждый ребенок в деревне получил радость. Просьбу его исполнили: был привезен целый мешок игрушек. Мир детской души всегда был важен для Яшина, и он был внимателен к детям, многим подросткам помогал найти свое призвание, свое место в жизни.

Александр Яшин был добрым человеком, всегда спешившим на выручку людям, и то, что он поднимал больные вопросы о нашей экономике, нравственности, трудных процессах в сельской жизни, как бы подавая сигналы, говорит о его огромной любви к родине, людям, его гражданственности — тревоге и участии. К его повестям, рассказам нельзя относиться как к развлекательному чтению, беспечному отдыху, когда интерес читателя держит только внешняя фабула. Силой слов своих произведений он и сейчас помогает читателям не сбиться с пути, направляет их по верному пути:

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...

Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

Наталия Яшина

Повести





ВЫСКОЧКА

В плохую погоду даже дым из труб поднимается с трудом — стелется он по крышам, по земле. Люди задыхаются, кашляют, настроение у всех дурное, собаки злые, куры не кудахчут, петухи кукарекают неохотно.

А Нюрка должна вставать рано. Дым подняться не может, а ей надо подниматься и, наскоро умывшись и перекусив чего-нибудь, бежать по узенькой снежной тропке на самую далекую окраину деревни, на свиноферму.

Несколько лет назад, когда в колхозе был выстроен новый свинарник на двести голов, люди радовались: это же дворец, санаторий! А что изменилось? Свинарник новый, можно сказать образцовый, не хуже скотного двора или конюшни, а жизнь-то в нем все равно свинячья. Редкий год не бывает падежа. И хоть бы из-за болезней каких-нибудь, а то ведь просто из-за недостатка кормов, от голодухи.

Нынешняя весна оказалась затяжной, а потому особенно трудной: корма уже все, а земля еще не очистилась от снега.

Нюрка часто жаловалась матери:

— Матынька, родненькая, вся душа у меня изболелась. Мне самой скоро кусок в горло не полезет, так жалко их! Особливо маленьких жалко. Ты только подумай: рождаются, чтобы голодать! Да что же это такое?

— Откуда я знаю, что это такое? — отбивалась мать от ее недоуменных вопросов.— Если бы кто-нибудь знал, что это такое! Ты, главное, гляди в оба. Голодные свиньи — звери!

— Звери, мама, верно, что звери! Они у нас все кормушки деревянные изгрызли, перегородки грызут. Надо же!

— То-то оно и есть! А ты — вон ты какая, от горшка два вершка. И тоненькая, с перехватом, будто оса. Схватят — и все, и домой не воротишься. Выдвинули тоже девчонку в свинарки, совести у них нет.

— Я, мама, каждое утро, как ухожу из дому, со всеми с

вами в уме прощаюсь. Мне один раз во сне привиделось, будто свиньи схватили меня за подол и сперва всю одёжу с меня сорвали да изжевали, а потом и меня стали есть. Я кричу, а они меня едят, я кричу, а они едят. То одно место откусят, то другое. Пробудилась, когда у меня уже ни рук, ни ног не стало.

— Вот я об этом тебе и толкую,— наставительно говорит мать.— Смотри в оба, не поддавайся, отвертывайся от них. Звери — они звери и есть.

— Мне бы хоть подрасти немного дали, а потом бы я ничего, не поддалась бы. Только подрасту ли я, может, уже всё, такая коротышка и буду? Ты, мама, скажи председателю, чтобы поставили на свиней кого-нибудь другого вместо меня, покрепче.

— Я уж говорила не раз, доченька,— сокрушенно вздыхает мать.— Загубите, говорю, мне девчонку до поры до времени. Да ведь что поделаешь, работать-то некому. Не одна она, говорят, на ферме, ничего не стрясется. А намедни председатель как рявкнет на меня: что ты, говорит, пристаешь, как будто твою Нюрку уже свиньи съели! Я говорю: не съели, дак ведь съедят. Ну, говорит, когда съедят, тогда и отвечать будем.

Разговаривая с дочерью, Катерина Егоровна не стояла на месте и не сидела, а либо делала что-нибудь по хозяйству, либо ходила по избе, скорее бегала, чем ходила, и, заправляя подол сарафана с боков и спереди за пояс, высматривала заранее, за какую очередную работу ей следует приняться. Невысокая, быстрая, она напоминала пугливую олениху, готовую в любую секунду сорваться с места и исчезнуть.

Нюрка окончила шесть классов сельской школы, и ей сразу поручили уход за свиньями. Этим назначением гордилась мать Нюрки и сама она: все-таки не часто доверяют колхозное животноводство совсем молоденькой девчоночке. Значит, она чего-то стоит, если доверили.

Нюрка действительно многого стоила, и доверять ей было за что. Тоненькая, ловкая, непоседливая, вся в мать, с неистощимым запасом энергии и выносливости, она всю себя отдавала работе, потому что иначе и не могла, а может, еще и потому, что ничто другое в жизни пока ее не занимало. Она ни в кого еще не влюблялась, на молодежные пляски, на беседки не ходила, книги читать не приучилась.

В Нюрку тоже никто еще не влюблялся: потому ли, что мала была очень да молода, а может, потому что не было в ней той внешней привлекательности, из-за которой парни влюбляются в девушек с первого взгляда: худенькое костлявое личико, носик острый, рот широк не по лицу, никаких ямочек ни на щеках, ни на подбородке, и волосы жиденькие — либо еще не успели отрасти, либо такими на всю жизнь останутся. А ту неброскую внутреннюю красоту, которой было у Нюрки с из-

бытком, тот огонек, который сжигал ее всю, не давая округлиться хоть немножко, люди замечали не сразу, молодые пареньки тем более. Миловидность кидается в глаза с первого разу, а чтобы разглядеть красоту внутреннюю, доброту и свет души, требуется время да время. У пареньков этого свободного времени не было, как и у Нюрки: все работали со школьной скамьи, все куда-то спешили, даже целовались с девчатами по вечерам как-то наспех, торопливо.

И Нюрка не унывала от того, что в нее не влюблялись. Ну, не любят, так не любят, экая важность, не до этого сейчас. Ведь сама-то она тоже никого не любит. Когда придет время да охота — полюбится, и беспокоиться об этом пока не стоит.

На свиноферме у Нюрки было две напарницы: Евлампия Трехпалая, женщина лет сорока пяти, работящая, злая, умевшая криком кричать беспрерывно с утра до вечера, затем молчать по двое, по трое суток кряду; да Пелагея Нестерова, соломенная вдова, брошенная мужем сразу после войны, ленивая, не любившая даже разговаривать без надобности, валовая, как определяют таких медлительных людей в деревне.

Евлампию звали просто Лампией, а Трехпалая — это ее фамилия. Пелагею звали Палагой. Первая имела мужа и трех детей, за которых все время беспокоилась: накормлены ли, одеты ли, не простудились бы, не попали бы где-нибудь под машину... Вторая никого не имела и ни о ком не заботилась, в том числе и о себе самой. Жила в семье брата: день да ночь — сутки прочь.

Первая, Лампия, много кричала, потому что слишком много знала и все колхозные дела и беды принимала близко к сердцу, и молчала часто и подолгу по той же причине. Вторая, Палага, не любила лишнее говорить просто от лени, от равнодушия ко всему на свете, оттого, что ничего не хотела знать и ни во что не хотела вмешиваться.

— Все подохнем в свой срок,— говорила она.— Только бы дали выспаться до той поры.

Молодая, безрассудная Нюрка тоже кричала много. Нюрка надеялась, будто криком можно чего-то добиться, кому-то и чему-то помочь. А мудрая Лампия отлично понимала, что криком ничего сделать нельзя, но не выдерживала и просто отводила душу. Зато уж потом замыкалась не на одни сутки.

К Лампии на свиноферму частенько по хорошей погоде с утра прибегали дети. Старший сын ее, Колька, школьник, украшал для матери стены сторожки цветными вырезками из старых и новых иллюстрированных журналов, потому что увидел однажды на внутренней стороне крышки ее старинного, еще девического, окованного жестью сундука такие же раскрашенные картинки. Кроме репродукций и цветных фотографий, он

развешивал по стенам плакаты и самодельные лозунги, касающиеся подъема колхозного свиноводства.

Вместе с Нюркой на свиноферме по целому дню возились и Лампия Трехпалая, и даже ленивая Палага — вот уж по правде от зари до зари. На ручной соломорезке, а чаще всего топорами, рубили они солому, которую удавалось раздобыть с трудом то на току, то около конюшни или коровника и которую таскали на санках, словно ворованную; затем грели воду в котле, а для этого тоже надо было доставать где-то дрова,— чаще всего они привозили на санках же из лесу колодины, сушинник, сваленный ветрами (лес был рядом со свинарником), распиливали и кололи на мелкие плахи, чтобы они легче разгорались, а вскипятив воду, распаривали рубленую солому в кадке и, посыпав ее несколькими горстями отрубей, перемешивали и ведрами разносили по кормушкам, по корытам.

На каждую свинарку приходилось по двадцать пять, тридцать свиней — точно установить никогда не удавалось, и разъединить их было почти невозможно. Обособленно содержались только свиноматки да хряк-производитель, а все остальное стадо, грязное, вонючее и всегда злое, металось по помещению, нередко ломая дощатые ограждения и затевая грызню.

Когда женщины приближались к изгороди, свиньи рычали хрипло и угрожающе, многие из них становились у заборов на дыбы. Они были тощие, с непомерно длинной щетиной, стоявшей торчком по всему хребту, и казалось, что свиньи содержались не ради мяса и сала, а только ради длинной щетины. Нюрка особенно боялась хряка и называла его Крокодилом. На его хищной тонкой морде обнаженно желтели клыки, как у дикого кабана.

Покормив свиней, Лампия начинала чистить свинарник, насколько можно было, Палага уходила в сторожку спать, а Нюрка считалась за старшую и потому отправлялась на розыски корма и дров для следующего дня. Ходила она к председателю, к бригадиру, чаще прямо к кладовщику. Выпрашивала всего понемногу, чуть не ради Христа.

Свиноферма колхозу была в тягость: доходов от нее никаких, а кормов даже для молочного скота не хватало, поэтому от Нюрки отмахивались все, как от назойливой мухи. Единственным ее помощником в хождениях по мукам был страх, с которым жили все колхозные начальники, что за каждую дохлую свинью с них район шкуру снимет.

Нюрке казалось, что, если б узнал кто-нибудь наверху обо всем, что делается у них в колхозе, сразу бы все изменилось. Только бы выложить все напрямки, все от чистого сердца, а еще лучше показать бы! Но кому? На кого здесь можно положиться? На бога, что ли? Самим ничего не изменить — это уже ясно.

А душа изболелась за колхоз. Районные — те, конечно, все знают, но шумят только промеж себя, втихую: кому дадут выволочку, кого с работы снимут — пересадят из кресла в кресло, кого из партии исключат, а дело ни с места. Боятся сор из избы выносить, потому что с них же самих будут взыскивать, если что обнаружится. Да, наверно, и не понимают ничего. На что же, на кого же надеяться?

Председателю колхоза Бороздину всяческие недостатки и злоупотребления, видно, так уже примелькались и притерпелись, что он перестал отличать черное от белого и, боясь за свою участь, заботится больше о том, чтобы хоть не все вылезало наружу. А участь у него была незавидная.

Гаврила Романович Бороздин стал председателем колхоза в конце войны, когда после тяжелого ранения вернулся в родную деревню одним из первых солдат. Колхозники сами, без подсказов, избрали его своим руководителем, а райком поддержал его кандидатуру. Бороздину польстило это выдвижение. Правда, он не имел ни опыта, ни образования, но рассчитывал, что будет много читать и что в приобретении и практических и теоретических знаний ему помогут разные районные семинары по сельскому хозяйству, и совещания, и заседания.

Но читать ему не удалось; собрания и совещания, как скоро выяснилось, ничего не давали ни уму, ни сердцу; все его время и все силы поглотила так называемая текучка: бесчисленное количество всяких кампаний, заготовок и составление отчетности.

Серьезных организаторских способностей у Бороздина не оказалось, на смену им пришли изворотливость и ловкость. Раз попав в твердый список руководящих работников, он нашел, что надо держаться до конца: это своего рода специальность. Колхозное хозяйство кидало при нем из одной крайности в другую. И Бороздин стал неразборчив в средствах, только бы заставить молчать недовольных, и часто ссылался на то, что пострадал при защите Отечества. Кто смеет теперь подозревать его в чем-то, не доверять ему? По этой же причине он сам многое прощал себе, говоря: «Зря, что ли, я потерял свое здоровье на фронте?» Многое прощали ему и в районе из-за того, что он инвалид войны.

Бороздин полной мерой расплачивался за это снисходительное к себе отношение. От рядовых колхозников его судьба пока не зависела: для всех семи деревень, объединенных ныне в одном крупном колхозе, он был человек свой, не пришлый, знал всех от мала до велика, и его все знали и, как своему, сочувствовали его нелегкой сульбе. Замечания шли только сверху, и он больше всего в жизни боялся, что сверху ему наконец скажут: не можешь руководить — уходи, не мешай партии и народу налаживать колхозную жизнь.

Не велика Нюрка, а многое уже знала и о многом мечтала. Ей хотелось послужить людям, то есть наладить жизнь в своем колхозе, но об этом громко говорить было не принято, неудобно...

Иногда Нюрке казалось, что она знает даже, с чего начинать следует... А вместо этого приходилось выдыхать из себя:

— Помоги, господи!

На ферме Нюрка считалась старшей свинаркой. По закону положено, чтобы у фермы был свой заведующий, но от должности такой она отказалась, а раз нет заведующего, пусть будет хоть старшая свинарка, все-таки вроде начальства над свиньями и над другими свинарками.

Нюрке не легче от того, что ее считают старшей. Не считали бы старшей — может, и не пришлось бы с утра до вечера бегать как угорелой, да ругаться, да лаяться, да кидаться на всех? А ругаться Нюрке приходилось много и часто — и с кладовщиком, и с правленцами, и с конторщиками, да еще и с напарницами своими, такими же свинарками, как она. Им-то чего надо, им-то она чем насолила? Друг друга поедом едят, и ее редко назовут по имени — все «выскочка» да «выскочка». А какая она выскочка? Разве у нее легкая жизнь? Куда она «выскочила»? Конечно, им не по нраву: от горшка два вершка и вдруг — «старшая»! Но разве она меньше других работает? Чины у нее, что ли, какие?

Но особенно обидно было Нюрке из-за того, что и свиньи ее ненавидели, а она их боялась. Надо же! Боялась настолько, что в последнее время даже перестала выпускать их на прогулки. Нюрка ко всяким животным легко привязывалась и умела их понимать и жалеть. Привыкла она и к свиньям, ухаживая за ними не за страх, а за совесть... Но с их стороны не замечалось никакого взаимопонимания и приязни. И это было самое печальное и тревожное. Они же ее и ненавидят, надо же! Совсем некрупные поросята, подросточки еще, почти розовые, и те уже рычат!

В раздражении, бывало, Нюрка жаловалась матери:

— Ты только подумай, мы их поим, кормим, мы за ними ухаживаем, чистим их, все для них — от нас, на нашем горбу держатся, и вот ведь свиньи: вместо благодарности они же нас и ненавидят, они же нас сожрать ладят. И хоть бы для нас польза от них какая. Мы-то сами от них ничего ведь не имеем, только убыток один да выговоры. Ну не свиньи ли?

А иногда Нюрке хотелось приласкать даже борова, почесать у него за ухом, скоблить и скрести его, пока он, блаженно похрюкивая и постанывая, не свалится на бок. Но вместо этого она вынуждена была то и дело проверять прочность дощатой заборки, за которой он бесится,— не вырвался бы! — и, высыпав в его корыто поверх перегородки свежий комбикорм или распаренную рубленую солому, снятую с крыш

сараев и дворов, поспешно отдергивать руки и убирать ноги — не схватил бы!

— У, Крокодил, не понимаешь ты меня! — огрызалась Нюрка каждый раз, как боров, хрипя, становился передними ногами на перегородку и высовывал из своего закутка длинную клыкастую морду.— Разве я виновата?

Предчувствуя недоброе, Катерина Егоровна, провожая по утрам дочь на свиноферму, рассказывала ей всякие страшные истории про зверей и звероподобных животных, нарочно запугивая, чтобы та была осторожнее со свиньями.

— Намедни в деревне Липовой нашли девку в кустах, все груди и живот выедены дочиста. Говорят, будто волки ночью схватили. А кто их знает, может, и не волки. Свиньи — они ведь тоже у человека перво-наперво живот выедают.

Нюрка испуганно и умоляюще останавливала ее:

— Ладно, мама, будет тебе, я и без того вся дрожу.

Но мать не унималась:

— Медведь тоже, когда корову задерет, так сперва все вымя ей выест. После войны у нас тут медведей шибко много собралось, оттуда, от войны сюда бежали. До того избаловались, что летом подходили прямо к деревне в середине дня и все, бывало, коров за вымя хватали. Выдерет медведь вымя коровье и уходит, вся морда в парном молоке, а корова так и стоит на ногах, только дрожит вся. Вот они звери какие! Ты думаешь, свиньи лучше?

— Ладно тебе, мама! — возмущалась Нюрка.— Виноваты они, что ли? Их кормить надо, а мы их чем кормим? Ведь не от хорошей жизни такие они.

— Не от хорошей, конечно,— соглашалась мать,— а все-таки свинья малых поросяток своих съедает, только недогляди.

— Мертвых съедает, верно. Так ведь кошка и та съедает своих котят, если мертвые родятся.

— Свиньи и живых съедают! — не уступала мать.

— Кормить их надо, мама, вот что я тебе скажу. Свиней кормить надо!

●

Нюрка пришла на ферму, в сторожку, служившую одновременно и кормоцехом, чуть свет, но там уже была Палага. Правда, она еще ничего не делала, но все-таки... Так рано... почему?..

— Ты ночевала здесь или что? — удивленно воскликнула Нюрка.— Надо же!

Медлительная Пелагея сидела на скамейке и смотрелась в маленькое круглое зеркальце. Это Палага-то! Но мало этого — на ней сегодня был не обычный грязный домотканый, не имеющий уже цвета сарафан, в котором она приходила на

работу из месяца в месяц, а ситцевый, еще не застиранный, с рисунком в елочку, и такая же кофта, и на голове платок с полосками, желтыми и красными вперемежку.

— А ноги-то не вымыла!

Наряжаясь, она, должно быть, забыла их помыть, а чулок на ней не было, а резиновые башмаки были низкие, и потому грязные толстые икры мелькали из-под сарафана, словно покрытые еловой корой.

Когда Нюрка хлопнула дверцей, Палага подняла на нее глаза, а затем снова стала присматриваться к себе, поднимая зеркальце на уровень глаз.

— Надо же! — сказала Нюрка.— Праздник у тебя или что? Или ты за борова замуж хочешь выйти? Ну скажи что-нибудь.

И Пелагея сказала:

— На крышах больше соломы нет. Где сегодня возьмем?

— Палага — и вдруг о соломе! Что это ты сегодня? — удивилась Нюрка.

— Думаю, в поле надо самим брести, как раньше.

Нюрка удивилась еще больше. Ежегодно часть ржаной соломы после комбайна оставалась на полях даже не заскирдованной. Колхоз для своего общественного стада солому не вывозил, не успевал, а таскать ее для личных коров колхозникам не разрешалось, это считалось расхищением социалистической собственности. И колхозному скоту и личному скоту корму не хватало каждую зиму, о подстилке уже и говорить нечего, но солома эта погибала. Весной при вспашке полей трактористы ее просто сжигали, чтобы не задерживать работу. Нередко уходили под снег и кучи вымолоченного колоса, сброшенного с комбайна. Однажды Нюрка уговорила своих напарниц пойти в поле и принести соломы по ноше на вожжах за спиной, а еще насобирать колосу. Бродили по снегу с павжны до ужны (с обеда до ужина), иногда проваливаясь в суметы по пояс и глубже, разрывали снег лопатами и руками и насобирали все-таки три ноши. В другой раз ходили с носилками и, оставив их на дороге, таскали солому и колос с разных концов поля охапками. Носилки корму, пусть не свежего, с гнильцой,— это не так уж плохо. Все-таки не комбикорм. Но Нюрка проморозила себе колени, а у Палаги мороз прихватил даже срамные места. После этого Нюрка догадалась кормить свиней соломой с крыш, предварительно изрубив ее и запарив, и они стали раскрывать в деревне все соломенные крыши и скармливать их свиньям. Этот корм доставался легче, чем тот, что гнил в полях, но на крыши скоро полезли и доярки, и телятницы, и даже конюх; все сараи, двор и даже старые избы в деревне быстро оголились.

Нюрка не подозревала, что это была не ее выдумка, что еще задолго до ее рождения соломенные крыши русских изб так же ежевесенне шли на корм скоту.

В этом году на полях никто еще не рылся под снегом, и Палага сама — надо же, сама Палага! — предлагала сделать первый выход.

— Твоя ли это забота, Палашка, с чего ты вдруг о кормах стала думать? — допытывалась Нюрка, почуяв, что за этим кроется что-то.

— *Эта* приедет! — ответила Пелагея.

— Кто «эта»?

— Знатная! Смолкина.

— Елена?

— Она. Олена!

— Надо же, прости господи! Кто тебе сказал?

— И тебе скажут, погоди.

Ответив на вопрос, Пелагея замолчала, будто выговорилась до конца и дальше продолжать разговор ей было неинтересно. Нюрка поняла ее и не стала больше ни о чем спрашивать. Только с умешкой заметила все же:

— Тебе-то что от нее ждать? Вырядилась, будто на свадьбу.

Тогда Пелагея огрызнулась:

— Думаешь, все тебе одной, выскочке?

— А мне чего от нее? Наверно, про свой опыт будет рассказывать. Пусть она свиньям нашим про свой опыт расскажет, они послушают.

Пришла Евлампия. Эта была одета, как всегда, в ватник, который в зимнее время с одинаковым успехом служил лесорубам и секретарям райкомов партии, дояркам и свинаркам, учителям и медицинским работникам. Под ватной курткой тот же сарафан и фартук, на ногах резиновые сапоги, на голове теплый платок. Обе женщины, Евлампия и Пелагея, ходили всегда в платках, и лишь Нюрка все еще по-девчачьи носила шапку-ушанку.

Евлампия была возбуждена и очень хотела разговаривать.

— Чуяли? — начала она еще от порога, сметая веником снег с резиновых сапог.

— Чуяли! — ответила ей Нюрка.— Ну и что?

— А то, что ее, Смолкину эту, знатную нашу, уже из района в район возят. Опытом делится.

— Ну и что?

— Вот тебе и что! К нам едет. Уже по всем дорогам в колокола звонят и в ведра бьют.

— И пускай едет. Нам-то что? — всерьез недоумевала Нюрка.— Наших дел она не выправит.

Ламния повысила голос:

— Конечно, выправит! Чтокать чтокаешь, а голова у тебя, девонька, не варит. Сами все выправим к ее приезду. Надо скорей председателя да всю контору на ноги поднимать. Они себе не враги. Расшибутся, а достанут все, чтобы встретить

остью чин чином. Будет теперь у наших свиней, бабоньки, и корм, и подстилка, будет сенная мука и картошка, отруби и турнепс. Все будет, все! Мы этих наших начальников знаем. Они сейчас дорогу к свинарнику коврами выстелют, оторвите мою голову.

Пелагея по-прежнему молчала. А Нюрка вдруг все поняла и оживилась:

— А ведь ты правду говоришь, Лампия. Нам бы только не проворонить ничего. А то обведут вокруг пальца, навозят кормов на один день, пыль в глаза пустят — и все.

— А я что тебе говорю! — все более возбуждалась Евлампия.— Дурой будешь, как есть обведут вокруг пальца. У них опыт. Напугать их надо всех, вот что. Иди сейчас же к председателю и прямо в маленькие в глаза его брякни: все, мол, расскажем, все разболтаем героине, если совесть свою не покажет сейчас же. И как по крышам лазим, и как в поле снег носом разгребаем, собираем по соломинке, по колоску; разрешил бы осенью бабам — на себе всю солому выносили бы за два дня. Помнишь, он говорил: пусть народ учится уважать колхозную собственность! И гниет эта собственность — ни скоту, ни людям. Беги!

Сейчас Евлампию уже трудно было остановить. Беги, и только! — больше она ничего не хотела знать. Беги поднимай на ноги все правление! А ведь рассветало, надо свиней кормить. Чем только?

— Пошли в поле! — сказала вдруг Палага.

— Куда ты в этих гамашах пойдешь, там снегу еще до пупа! — взъелась на нее Лампия.— К председателю надо идти.

Нюрка поддержала Пелагею:

— К председателю идти, а свиньи голодные.

— Не подохнут один день, бывало, подольше голодали. Тогда иди одна, а мы тут чего-нибудь сделаем.

Евлампия сказала это почти тоном приказа, но Нюрка не обиделась на ее слова. «Значит, признают все же за старшую, меня посылают!» — подумала она.

В это время снаружи заскрипел снег под сапогами. Нюрка заглянула в окошечко и торопливо зашептала:

— Председатель! Молчите, бабы, я сама...

Гаврила Романович Бороздин носил белые бурки, снег под ними скрипел так же, как под сапогами. Шуба с каракулевым воротником была распахнута. Круглое полное лицо его горело от мороза, узкие, инициативно поблескивавшие глазки от яркого снежного света сузились еще больше, и председатель выглядел поэтому особенно хитрым и умным. Вошел он неторопливо, как хозяин в свои владения, и, казалось, ничто его не волновало, никаких экстренных событий в жизни не ожидалось — просто шел мимо и заглянул.

— Здравствуйте, хозяйки! Уже в сборе все — молодцы! Сознательность — дело хорошее,— заговорил он со всеми, глядя на одну Нюрку.

Пелагея вскочила со скамьи, обмахнула ее фартуком и услужливо придвинула к председателю. Тот сел.

— Да ведь не рано уже, Гаврила Романович,— ответила Нюрка за всех,— мы собираемся еще на свету.

— Хорошее дело. Я вас знаю, вы народ сознательный, передовой. Если бы все были такие, как вы, колхоз бы наш уже во-он где был! — председатель показал рукой вперед и вверх. Потом спросил, кивнув головой на котел, вмурованный в печь в углу сторожки: — Кормили?

— Нет еще, не кормили. Нечем кормить, Гаврила Романович.

— Да, я знаю, трудно вам, время сейчас такое, перехо́дное. Переходный этап, можно сказать. Весна на подходе, трудности роста...

— Скоту труднее, чем нам,— вставила свое замечание Евлампия.

Председатель мельком взглянул на нее и опять заговорил, обращаясь только к Нюрке.

— Конечно, и скоту трудно. Трудности роста, говорю. Животноводческая проблема в нашем колхозе еще не решена. По мясу и молоку мы еще не на первом месте. Но мы примем меры и догоним. Догоним и перегоним! А корму я вам достал немного для начала. Сейчас, Нюра, явись ко мне, получишь выписку, оформишь наряд.

— Спасибо, Гаврила Романович! — искренне обрадовалась Нюрка, что ей не придется ходить, канючить, ругаться со встречными и поперечными.

— А раньше-то где выписки были? — не удержалась опять Евлампия.

— А ты помолчи! — оборвал ее председатель.— Я не с тобой разговариваю.

— Помолчать можно!

— Вот так-то лучше. Старшая здесь Нюрка, а не ты. К порядку привыкать надо. Тогда во всем порядок будет. И корма будут и все такое. Затапливай-ка печь лучше.

Печь начала растапливать Палага, а Лампия осталась сидеть на месте. Казалось, Палага хотела угодить председателю.

Бороздин сделал вид, что не заметил непослушания Лампии. Он продолжал:

— Конечно, вам нелегко. Были бы корма — может, и у нас бы свои героини были. Я же все понимаю. Конечно, всем вам отличиться хочется. Про Смолкину слыхали? — вдруг задал он вопрос.

Женщины молчали. Бороздин уселся поплотнее на скамей-

ке, распахнул шубу еще шире — в печи показался огонек.

Ответила Нюрка:

— Как не слыхать? Знаем. Не иностранка какая-нибудь.

— Вот-вот, не иностранка. Свой человек, трудовой. Из соседнего района. А как высоко ее подняли! Вот ты, Нюра, тоже могла бы в люди выйти.

— Как это я могла бы?

— А так и могла бы. И можешь! Мы поддержим, поможем. Только захотеть надо.

Палага молчала, а Евлампия опять сказала свое и сказала со злобой:

— Она все может, если совесть потеряет. Она выскочит.

Нюрка чуть не заплакала от обиды:

— Ну что я тебе сделала? Ну что ты опять на меня?

А Бороздин обиделся не за Нюрку, а за Смолкину.

— Вредный ты элемент,— сказал он, тыча толстым коротким пальцем прямо в глаза Евлампии.— Говоришь много, а толку мало. В старое время таким людям, как ты, языки отрезали.

— Так теперь не старое время. Теперь за правду языки не отрезают.

— И как ты смеешь говорить такие слова,— продолжал председатель,— про знатного человека, про товарища Смолкину?

Евлампия повернулась к нему всем корпусом, словно приготовилась к прыжку:

— Разве я что-нибудь про Смолкину сказала? Вы что, товарищ председатель?

— А про чью же ты совесть говоришь?

— Я ее, Смолкину, в глаза не видала.

— А про чью же ты совесть говоришь? — повторил Бороздин.

Но он, должно быть, недооценил характера и ума своей колхозницы, иначе бы не повел разговор с ней в таком тоне. Он пришел сюда совсем не за тем, чтобы отчитывать свинарок, упрекать их в чем-то, вызывать на спор, на брань. Он пришел, чтобы наладить с ними добрые отношения перед приездом Смолкиной, о чем его предупредил телефонный звонок из райисполкома. Бороздину хотелось, чтобы перед приездом делегации — так он мыслил себе появление свинарки Смолкиной в его колхозе, ведь не могло же быть, чтобы она разъезжала одна,— чтобы до этого на свиноферме был наведен порядочек, насколько позволяли возможности, чтобы и помещение, и сами свиньи выглядели более или менее опрятными, приличными, чтобы все было приличным. На свиноферме он бывал редко. Колхоз стал очень крупным, везде не поспеешь. А когда начинались серьезные перебои с кормом, он старался вообще туда

не заглядывать. По текущим вопросам всегда можно было получить информацию от подчиненных, в том числе даже от Нюрки, вызвать ее в свой кабинет. И сейчас председатель хотел вести свой разговор только с Нюркой, как со старшей свинаркой, хотя обращался как бы ко всем сразу. Сбили его злые реплики Евлампии Трехпалой. Такие реплики председатель называл подрывными и старался не допускать их, обрывать их сразу при любых обстоятельствах. А вот не сумел на этот раз.

— Вы слышали, бабоньки, как он повернул все? — громко обратилась Лампия к Нюрке и к Палаге.— Нет, вы слышали? Разве я что про Смолкину Олену знаю? Разве я про ее совесть говорила? А может, она хороший человек, разве я знаю про это? Может, она правдой в люди вышла? Неладно это вы так, товарищ председатель, поймать хотите. Совесть надо иметь. Вот я про какую совесть сказала.

Лампию уже трудно было остановить, она, как говорится, входила в форму. А остановить надо было.

Бороздин снял шапку, вытер лысину — он начал потеть. В печке уже трещали сырые дрова.

— Дрова-то у вас сырые! — сказал он почти с торжеством обвинителя.— Не можете дров для себя наготовить? О дровах летом думать надо! — А затем спросил, обращаясь к Палаге и отмахнувшись рукой от назойливого крика Евлампии: — А вода в котле есть?

Пелагея, с готовностью сделать все для своего председателя, подплыла к печке, подняла деревянную крышку над котлом и опустила в него руку. Вода в котле была.

— Не сумлевайтесь, Гаврила Романович, вода у нас завсегда есть,— пропела она.

— Вот так! — сказал Бороздин.

Евлампия была сбита с толку его спокойствием, и горячность ее сразу улеглась. От запальчивости и крика она могла теперь перейти к длительному молчанию.

Тогда Бороздин заключил разговор:

— Злая ты баба, Лампия. Отчего ты такая?

Евлампии уже ничего не хотелось говорить, и ответила она вяло, без всякого желания спорить:

— Свиньи тоже злые.

Дальнейший разговор пошел мирно. Гаврила Романович не стал сообщать, как намеревался, что ждет приезда Смолкиной, но все же соблюдал тон хозяина и немножко ворчал и покрикивал на свинарок и был заискивающе ласков с ними.

— Все поправим, приходи, Нюра, в контору. Найдем корма.

Он заинтересовался вдруг, что стены сторожки были оклеены плакатами, лозунгами — это понятно! — и разными вырезками из журналов и даже открытками, не имеющими никакого отношения к свиноферме,— а это зачем?

— Плакаты, лозунги — это хорошо! — сказал он.— За дальнейший рост поголовья, за быстрый откорм свиней, за увеличение живого веса — все так! А картинки эти тут по какому случаю? Вот что это: «Иван-царевич и серый волк»? Вы что — маленькие? Или это: «Опять двойка»? Если у него двойка за двойкой, так зачем его рисовать да на стену вывешивать? Это же не способствует! А в углу что за портрет? «Салтыков-Щедрин»,— прочитал Бороздин.— Гм. Он что — за свиней или против? Ученый какой-нибудь или тоже царевич? Откуда вы все это набрали и для чего? Разве такие портреты полагается на стенах вешать?

Нюрка ответила:

— Это старший сынок Лампии для матери своей старается, чтобы она тут от красоты не отвыкла. А портрет очень на его дедушку похож. Говорит: дед, да и только!

Однажды Бороздин выругал Евлампию за то, что в свинарник часто ходят ее дети — негигиенично-де, ребятишки могут инфекцию на ферму занести. Но так как он и сам не верил тому, что сказал, то сейчас решил и не вспоминать об этом случае.

А Нюрка встревожилась:

— Ничего плохого ребятишки здесь не делают, Гаврила Романович. Просто к матери ходят. Лампия их редко дома видит: она домой — они в школе, они дома — она здесь. А старшего учитель даже похвалил за то, что он украшает наш свинарник: это, говорит, школьный вклад в подъем колхозного животноводства.

— И правильно сказал,— согласился Бороздин.— Разве я против этого? Я напротив. Пусть украшает! Способный парень растет...

Лицо Лампии от слов председателя смягчилось, а Нюрка стала рассказывать еще:

— Где ни найдет Колька, сынок ее, журнал какой ни на есть — старый ли, новый ли,— так сейчас же вырезает из него все картинки и тащит сюда, к нам. В сторожке места уже не стало — теперь свинарник украшает: и там скоро все стены заклеит.

— Это хорошо,— одобрил председатель,— это культура! — И опять в его глазах появился некий инициативный огонек.

— Все для мамы, говорит,— хвасталась Нюрка как будто своим сыном или братом.— А лозунги, те сам сочиняет, чтобы складно было, и сам пишет печатными буквами. Вот этот он сам сочинил,— указала Нюрка на две стихотворные строчки, написанные на развороте газеты химическими чернилами жирными буквами.

Бороздин прочел вслух:

Дорожи любой свиньёй
Во славу родины своёй! —

и захохотал:

— Вишь ты, это по-нашему, на «о». У нас «о» завсегда было круглое, будто тележное колесо. Дело хорошее: идея есть и складно.

В свинарник Бороздин не пошел, только дал наказ, чтобы во всем был порядочек, чтобы старались женщины, а Нюрке приказал немедленно явиться в контору, оформить получение кормов.

— Мы вас всегда поддержим, только вы нас не подведите.— И опять в его глазах появился инициативный огонек. Но он тут же потух, как только Бороздин подумал, где возьмет он обещанные корма.

Когда он ушел, Нюрка спросила, глядя на Лампию и Палагу:

— Откуда вы взяли, что Смолкина приедет?

— Неужто нет? — ответила Лампия вопросом же.

— А промолчал?

— Значит, так надо. Молчать-то он научился. Политику с нами разводит.

Затем Лампия спросила Палагу:

— Ты чего лебезишь перед ним? Для чего подлизываешься?

Палага не обиделась, что было на уме — то и выложила:

— К тебе, что ли, я буду подлизываться? Меня не убудет, а жить спокойнее. Начальство, оно все в строку ставит. Надоело мне, бабоньки, все надоело, вот что я скажу.

Вода в котле закипела. Женщины начали колдовать, чем бы накормить свиней, а Нюрка надвинула поглубже шапку на уши да одернула серый засаленный ватник и пошла по вызову председателя.

Гаврила Романович Бороздин в своем кабинете разговаривал с Нюркой, как заговорщик, хотя и на этот раз не сообщил, что ожидается большая гостья.

— О корме распоряжения уже отданы. Ни о чем не беспокойся, все будет сделано,— шепнул он.— А ты сейчас же иди домой и прочитай вот эту книжицу, подумай над ней.— Он взял одну брошюру из целой стопки точно таких же и вручил ее Нюрке. Это был рассказ знатной свинарки Елены Смолкиной о своей работе.

Затем последовали новые указания:

— Сегодня на свиноферму не ходи. Прочитай эту книжку, изучи ее, а завтра проведи воспитательную работу в своем коллективе, чтобы запомнили все и извлекли опыт. Вот так! Я целиком полагаюсь на тебя. И еще раз проверь там у себя, чтоб все было на своем месте и во всем чтобы соблюдался порядочек. Понятно?

Нюрка все поняла.

— Да, вот что еще,— добавил председатель.— Мобилизуй этого паренька, Кольку, сынка этого, чтобы он еще присочинил чего-нибудь и повесил бы. Такое, понимаешь, чтобы подходило к текущему моменту. Если нужны бумага и краски, скажи Лампии, пусть пошлет в контору к счетоводу. Будет сделано.

Нюрка холодно смотрела, как волнуется Бороздин, и так же холодно спросила его:

— А может, она и читать наши вывески не будет, не видала, что ли?

Бороздин, обрадовался:

— Вот-вот, поняла, значит, догадалась. Будет читать, не будет читать — не наше дело. Наше с тобой дело приготовиться. Одна она, что ли, приедет!

●

Деревня стояла на береговом откосе, обращенная всеми своими окнами к реке. Но между домами и рекой издавна стояли маленькие, наполовину втянувшиеся в землю либо сползшие к самой воде черные баньки. Бывало, сидят мужики на крылечке, покуривая самосад и поглядывая поверх гниющих и дымящих бань на заливные заречные луга, и вдруг кто-нибудь скажет, сплюнув со злости под ноги:

— Утопить мало тех, кто первые начали строить бани перед самыми окнами!

— Да, планировочка! — подтвердит другой.

Но всегда находились и трезвые головы:

— Конечно, первый кто-то был. Только какой смысл теперь проклинать их, первых кляни не кляни — они свое дело сделали. И, конечно, их тогда понимали и поддерживали: дескать, не надо далеко за водой ходить.

— Утопить мало! — повторял решительно свое осуждение начавший этот разговор.

— Ну и топи, ему-то что!

Только надо полагать, баньки не всегда были такими неприглядными: на отдельных сохранились еще остатки резьбы по краям крыш и даже выструганные из березовых плах либо из кривых корней причудливые петушки на охлупнях. Наверно, баньки были хороши, красивы, пока не начали гнить и крениться в разные стороны.

То же самое с качелями. Остатки их сохранились на крутом берегу реки в конце деревни — два высоченных столба с перекладиной да пара слег, заменявших когда-то веревки. Самой доски, на которой сидели и стояли качавшиеся, уже не было, и старые, черные от гнилостных грибков столбы напоминали теперь только виселицу. А ведь когда-то здесь, на угоре, каж-

дый вечер, а в праздники с утра до вечера шумела, веселилась неприхотливая к затеям сельская молодежь. Тут влюблялись и сватались, ревновали и дрались... В зимнее время, когда и река и поёмные луга по обоим берегам, и гнилые баньки, и остатки качелей по уши были под снегом, казалось, что все на месте и ничто не портит красоты родной природы.

Нюрка торопливо шла по деревне, размахивая одной рукой, а другой сжимая в маленьком кармане ватника книжку знатной свинарки Смолкиной. Ей не терпелось прочитать эту книжку. Волнение председателя как-то передалось и ей. А вдруг приезд Смолкиной что-то изменит в ее жизни, осмысляя и углубляя ее, вдруг Смолкина подскажет что-то такое, из-за чего свиноферма сразу поднимется, и люди будут довольны, и свиньи перестанут голодать?

Катерина Егоровна, встретившая ее на крыльце своей избы, встревожилась:

— Что рано являешься? Не случилось ли беды какой?

— Ничего, матынька, все ладно. Дай поесть чего-нибудь, читать буду.

— Читать? Замуж пора выходить. А она — читать.

Смолкину Елену Ивановну знали по всей округе. С портрета смотрело широкоскулое молодое лицо в белом платочке с умными веселыми глазами. Нюрке лицо понравилось, только вот тоже — ни на щеках, ни на подбородке ямочек нет, а она, да, наверно, не она одна в деревне, считала, что такие ямочки — главное в женской красоте. Себя Нюрка не ставила почти ни во что именно потому, что ни одной ямочки на лицо бог ей не дал. А вот, оказывается, у Смолкиной тоже их нет, а — ничего, неплохое лицо. Уж за нею-то, наверно, все первые парни сломя голову бегают да не из одной какой-нибудь деревни, а со всего района, а может, со всей округи.

Прежде чем читать брошюру, Нюрка показала смолкинский портрет своей матери и спросила ее:

— Красивая она?

Катерина Егоровна вытерла руки о передник, взяла книжку обеими руками, поднесла ее к окну, к свету и в свою очередь спросила:

— Кто это?

— Да вот она и есть, Смолкина.

— Кто такая?

— Неужто не знаешь? Надо же! Смолкина, Елена, свинарка знаменитая, можно сказать, напарница моя.

— Нашла себе напарницу. Ее, поди-ко, только в красные углы сажают. Ишь какая! — восхищенно всматривалась в портрет Катерина Егоровна.

— Ты мне скажи, красивая она? — настаивала Нюрка.

— Да лишней красоты будто нет, а ребятам, поди-ко, такая по нраву, все за ней гоняются. Только что это у нее на носу, будто дырка маленькая?

— Где на носу?

— А эвон, на самом наконешнике. Как на наперстке ямочка, что ли, какая?

Нюрка всмотрелась — и верно: на самом кончике носа ямочка. Значит, есть все-таки ямочка у Смолкиной. Не зря, значит, красивая такая! — решила она.

А у Катерины Егоровны мысль шла своим путем:

— Это у нее шадринка на носу. Наверно, девчонкой оспу перенесла. Видала шадровитых? Это все из-за оспы. Когда ребенок заболеет, бывало, черной оспой, ему на ночь руки связывают, чтобы не содрал себе коросту с лица. Сорвет коросту — на всю жизнь человек меченым остается, шадровитым. Говорят про таких, что на роже у него черти горох молотили. Родители, бывало, денно и нощно следят, чтобы спасти чистую кожу своему детенышу. Видно, и за ней следили, да не уследили, сколупнула-таки корочку с носу, осталась ямка на самом кончике.

— Что же ты мне, мама, хоть одной ямки не оставила?

— Вот дурная девка! Да разве шадринки для красоты? Это когда человек улыбнется и у него лунка на лице засветится, вот тогда для красоты. И то ежели к лицу идет. У всякого лица, голу́ба душа, своя красота есть. А тебе зачем шадринки? Когда ты росла, оспы уже не было.

День зимний короток, как жизнь человека, особенно если он хочет что-то сделать, а не торопится. Пока Нюрка собиралась сесть за брошюру, наступили сумерки и читать пришлось до поздней ночи при керосиновой лампе. Лампа висячая, но на время чтения Нюрка сняла ее и поставила на стол — читала и боялась, что забудется, двинет столом и неустойчивая лампа свалится.

В избе было тихо. Мать поворчала-поворчала и забралась на печку. Отец зимой работал на лесозаготовках и жил где-то в казенных бараках. Старший брат Нюрки отслужил положенное время в армии и, получив паспорт, в колхоз не вернулся, а устроился для начала разнорабочим на металлургическом комбинате. Ему хорошо, он два раза в месяц получает свое, заработанное, на руки. У него не трудодни.

В трубе выл и стонал ветер. Отчего он никогда не забирается в трубу днем? А может, это мать храпит со сна и посвистывает во все свои завертки, во всю ивановскую? В какую ивановскую? Что такое завертки и откуда они у матери?

Смолкина писала о колхозном животноводстве, о росте поголовья свиней, о их убойном весе, о жирности, о сальности. Рациональное содержание... Рациональное скармливание... Искусственное осеменение...



Нюрка читала и думала: здорово! Только в сон клонит. Грамотная, видно. Куда ей, Нюрке, до такой! А ведь было однажды, председатель Бороздин говорил ей: поддержим! Все тебе дадим! Героиней будешь! Наверно, она неправильно себя вела. «Зазналась я, вот что,— опять начала она сомневаться в своей правоте.— Если б не зазналась, так не лезла бы на рожон, не кричала бы на всех, как будто старше да честнее меня никого и нет в колхозе».

Нюрка хорошо помнит, как росла слава Елены Смолкиной. Об этом много рассказывалось повсюду. В колхозе проездом побывал секретарь обкома и похвалил ее работу. В районной газете появилась заметка, в которой рассказывалось, как Смолкина заявила секретарю обкома, что не пожалеет своих сил, чтобы оправдать его доверие, работать еще лучше. После этого уже другой секретарь обкома похвалил Смолкину еще раз на каком-то областном совещании по животноводству и одновременно спросил, не обращаясь ни к кому персонально: а что знают районные работники об инициативных людях в своих колхозах, поддерживают ли их, выдвигают ли, поощряют ли? В любом районе есть свои передовики, свои герои, надо только уметь их находить. Находить и воспитывать. Нет — значит, не нашли, ленивы...

Областная газета об этом совещании дала целую полосу под общим заголовком: «В каждом районе должны быть свои герои». Так впервые появился портрет Смолкиной. За малейший ее неуспех теперь стали взыскивать с районных руководителей, а те с правления колхоза. И успехи Смолкиной стали расти с каждым годом.

Ходили и всякие иные разговоры.

Однажды при опоросе у Смолкиной будто бы погибла свиноматка. Оставшихся поросят Елена Ивановна пересадила к другой свинье. Приехавший в колхоз корреспондент, кое-что понимавший в свиноводческом деле, подсчитал всех поросят, облепивших постанывающую хавронью, и воскликнул на весь район:

— Это же рекорд! Восемнадцать поросят! И все от одной?

Елена Смолкина на первый раз промолчала. А когда корреспондент повторил вопрос, она рассмеялась и сказала:

— Вот чудной какой, сама я, что ли, нарожала их?

Корреспондент бросился к председателю колхоза. Тот горделиво заявил:

— А вы что думаете, мы не умеем выращивать своих героинь в колхозе? Умеем! При должном руководстве в каждом колхозе могут быть свои героини.

Слава Смолкиной стала гордостью и козырем колхоза, и района, и области. «Мы с тебя за Смолкину голову снимем!» — сказано было как-то председателю колхоза. Конечно, сказано было под горячую руку, но ведь и голову можно снять тоже

под горячую руку — разве председателю от этого будет легче? И он все свое внимание и все силы и средства колхоза направил на решающий производственный участок — на свиноферму Смолкиной. Колхозную свиноферму так и называли: свиноферма Смолкиной. Ходили слухи о незаконных приписках в ее пользу. Но, может, это были только слухи, сплетни?

«Если бы не поддержка, если бы не помощь, если бы не указания и руководство...— пишет Смолкина,— моя бы свиноферма не смогла выйти в число передвых...»

«Дура я, дура и есть! — упрекает себя Нюрка.— Вот всегда у меня так: сначала накричу, а потом кумекать начинаю. И Лампия у меня такая же. Разве Бороздин не обещал нам свою помощь и поддержку? Разве бы я не смогла вот так же... Книжка бы... с портретом бы... Эх, Нюрка ты, Нюрка! — И опять сомнения и самая обыкновенная зависть начинали точить ее сердце.— Интересно все-таки, неужели она это сама все писала? Села вот так за стол и давай сочинять целую книжку? Надо же! Рациональное содержание!.. Рациональное питание!.. Ты бы еще, Елена Ивановна, про диетпитание рассказала, да нашим бы свиньям, они бы тебя послушали! Мы их крышами кормим, вот что я тебе скажу по секрету. У нас вон опять осенью все сенокосы залило водой раньше срока. Сено сгрести не смогли из-за паводка. Да что сгрести! Копны, стога целые смыло, как слизнуло. А не смыло, так насквозь пролило дождями — тоже не лучше. От воды сено загорелось. Дым над стогами стоял. Болотины у нас много — вот наше горюшко. Никакие машины на наши сенокосы не пройдут, а народу поубавилось. Пожни кустами заросли, мохом да кочками их затягивает. Всю свою жизнь деды и прадеды наши с лесом воевали, жгли новины, пни корчевали, пожни расчищали. А теперь лес опять в наступление пошел. И никакие бульдозеры нам не помогут. Как же быть-то? Смолкина ты, Смолкина,— мысленно обращалась Нюрка к Смолкиной.— Неужели ты сама этого ничего не испытала? Вот про бекон пишешь, а что это такое — я ведь даже не знаю, жир, что ли, свиной? Сало, значит? А какое у нас сало от свиней, когда на них только щетина растет! Да и ту мы под заход бросаем».

Постепенно рассказ прославленной свинарки о своей жизни и работе увлек Нюрку. Но все вычитанное ею в книжке казалось каким-то очень далеким от того, чем она сама ежедневно жила, все будто из сказки, ненастоящее, невзаправдашнее. «Неужели и я так могла бы написать? — спрашивала себя Нюрка и отвечала: — Нет, у нас все не так, все не как у людей. У всех дела идут хорошо, только у нас у одних плохо. Как же бы я могла про нас написать?»

И она стала вспоминать, как два-три года назад ее свино-

ферма тоже прослыла вдруг передовой в районе. Так это же что было? Срам!

В передовые ферма попала после того, как весной, при полном отсутствии кормов, свинарки использовали предложение маленькой Нюрки, только что назначенной тогда на эту работу, и добились резкого снижения падежа, а затем и вовсе его остановили. Правление колхоза и вышестоящее руководство были этим чрезвычайно удивлены. По всем расчетам и прогнозам в голодную для животноводства зиму две трети свиней должны были погибнуть от бескормицы, а погибло, вопреки намерениям, меньше одной трети. Как это ни странно, весенний падеж скота у нас совсем еще недавно тоже планировался и планы по падежу чаще всего перевыполнялись. На этот же раз на свиноферме произошло какое-то чудо, которым заинтересовался весь район. В колхоз посыпались телеграммы и письма, хлынули разные уполномоченные и газетные корреспонденты, в конторе правления то и дело раздавались телефонные звонки. Чудо надо было изучать и в случае чего обеспечить распространение передового опыта по всему району, а ежели поступят указания, то и по всей области, а новаторов колхозного производства выдвинуть, прославить и, по крайней мере, премировать.

Чудо действительно было. Маленькая бойкая Нюрка, не раз плакавшая от жалости к голодным поросятам и свиньям, заметила, что выпущенные на прогулку, они грызут голую землю, жрут навоз, и предложила собирать свежие конские шарики, запаривать их и, чуть присыпая отрубями, скармливать свиньям.

Это свиное блюдо колхозники прозвали комбикормом. Под таким названием оно и функционировало в газетных заметках и статьях, пока публикацию их не прервал звонок из обкома партии: «Вы что, с ума сошли?»

Свиньи выжили. К Нюрке постучалась слава. Только Нюрка оказалась недостойной ее: она сама ее высмеяла, сама себя славы лишила.

Больше всего огорчился этим председатель колхоза Гаврила Романович Бороздин. Ему, как всем председателям, очень нужна была в колхозе хотя бы одна героиня. В районе он не раз слышал наставления: «Какой же ты руководитель, если ни одной знаменитости не сумел вырастить? Колхоз должен иметь своих героев!»

Случай, когда Нюрке удалось сохранить поголовье свиней, был самым подходящим, оставалось только провести соответствующие организационные мероприятия — и героиня была бы налицо. Упускать такой случай было недопустимо. И Бороздин, казалось, сделал все, что мог, и линию свою вел правильно. Прежде всего он расхвалил Нюрку на общем собрании колхозников, поддержал ее творческую инициативу и передовой

почин и подробно разъяснил колхозникам, в чем проявилась ее настоящая русская народная сметка. В зале, правда, немножно посмеялись, но председатель сделал вид, что смешков не заметил, не слышал.

Затем он вызвал Нюрку к себе в контору, в свой председательский кабинет. И вот тут-то она и показала себя с неподходящей стороны.

— Есть такое мнение, Нюра,— сказал Гаврила Романович, склонившись над письменным столом и скрестив свои коротконалые руки на массивном мраморном пресс-папье,— есть такое мнение, чтобы выдвинуть тебя. Для начала поставим мы тебя на должность заведующей нашей передовой колхозной свинофермой, дадим тебе, так сказать, зеленую улицу. А там все будет зависеть от тебя самой: окажешься на высоте, оправдаешь наше доверие — значит, дальше пойдешь.

Тоненькая Нюрка одернула юбчонку сзади, шмыгнула носом и села на стул напротив мохнатого толстого председателя, затем осмотрела его малиновый нос, полные щеки, заглянула в маленькие, заплывшие, поблескивающие глазки и ответила:

— А как я оправдаю ваше доверие, Гаврила Романович, коли свиней комбикормом пичкаем? Ведь передохнут все равно.

— Об этом не твоя забота,— заявил председатель.— Всем обеспечим и тебя, и твоих свиней. Главное, нам теперь не упустить счастливого случая и приковать внимание к свиноферме. А потом уж все будет.

— Не понимаю я вас чего-то, Гаврила Романович. Свиньи-то ведь голодают.

— Голодали! — поправил ее председатель.— Больше голодать не будут.

— А что вы сделаете?

— Я тебе говорю: все сделать можем!

— Так давайте корма. У нас свиноматки и те на голодном пайке.

— Вот ты и дашь им корма. Да и весна уже на носу.

— Где я им корма возьму?

— Это опять не твоя забота, говорю тебе.

Бороздин не горячился, гудел спокойно, басовито, как мохнатый шмель, а Нюрка, будто пчелка перед ним, тоненькая, с перехватом, и голосок ее нет-нет да и сорвется на высокие тона, зазвенит знобко, с угрозой.

— Что вы надо мной шутки шуткуете? Будут корма или с комбикормом в передовых будем ходить?

— Все будет, я тебе говорю, как только станешь заведующей, все условия создадим.— Бороздин приподнял мраморное пресс-папье и твердо со стуком опустил его на стол, словно большую точку поставил.— Сейчас дам тебе бумагу в зубы, сядешь на подводу — и в район. Пойми меня, Нюра, как ру-

ководителя,— мне ничего нельзя уже просить в районе, я много уже брал, а тебе можно. Тебе не откажут, про тебя хорошо в газетах написали, тебя похвалили, тебя и должны теперь поддержать. А характер у тебя есть. Только ты пойми меня, Нюра, правильно. В районе передовых людей недостаток, новых выдвигать надо. Тебя обязательно поддержат. Тебя воспитывать будут, с тобой работать начнут, а ты им про свиней про наших, пойми ты это. Все дадут! Героиней будешь!

Гаврила Романович Бороздин был человек свой, не городской, и потому, выкладывая перед Нюркой начистоту свой план, не считал нужным как-то дипломатничать с нею, да, собственно, и не умел этого делать. Хитрости его были доморощенные, понятные.

— Все тебе обеспечим,— гудел он.— На совещания передовиков будешь ездить, выступать начнешь. И колхозу польза: все на виду будем.

Нюрка не сразу разобралась, какой путь к славе он предлагал ей, а когда разобралась — обиделась.

— Зачем на совещания? — осторожно начала дознаваться она.

— Опытом своим делиться.

— Я говорить не умею.

— Мы тебе все напишем, только читай.

— Значит, вместе будем ездить?

— Конечно, вместе, ты ничего не бойся.

— И про комбикорм наш расскажем?

— Ты что это? — насторожился председатель.

— Вместе будем очки втирать, да?..— Голосок у пчелки зазвенел еще выше, еще звончей и со злобой: — Свиней кормить надо, а вы меня заведующей хотите поставить. Аль думаете, одним начальником будет больше, так свиньи дохнуть перестанут? Мало еще у нас всяких заведующих? Набьют кожаные голенища разными бумагами и слоняются от фермы к ферме, ручки в брючки да по совещаниям ездят, опытом делятся. Колхозная интеллигенция!..

У Бороздина глаза расширились от удивления, и вместо инициативного огонька в них появился гнев.

— Ты где находишься, оглашенная? — зашипел он, стукнув тяжелым пресс-папье по столу.— Ты с кем разговариваешь?

Но Нюрку уже остановить было трудно. Молодая, безрассудная, она еще не хлебала горького досыта, еще не знала, что такое страх. От возмущения она раскраснелась, как на морозе, и стала даже интересной, красивой: всю бы жизнь ей возмущаться да гневаться!

— Неправду я говорю, что ли? Хоть кто-нибудь из начальников работает на свой колхоз? Только учитывают, да подсчитывают, да насчитывают. Разве этого от нас требуют? Почему они спиваются? Потому что дела настоящего нет. Почему

воруют? Потому что на водку деньги нужны. На честные деньги не сопьешься!

Гаврила Романович взял себя в руки, кричать не стал, но Нюрку все же остановить сумел.

— Так-то ты оправдываешь доверие? — сказал он строго и внушительно.— Ненадежный ты элемент. Иди работай и не занимайся демагогией! — приказал он под конец и на этом оборвал разговор.

Так и не стала Нюра заведующей свинофермой. И писать в газете о свиноферме скоро перестали.

«А может, я сама во всем виновата? — думает теперь Нюрка, читая смолкинскую брошюру.— Все-таки ведь председатель-то хотел, чтобы свиноферма передовой сделалась. Ведь ему тоже не легко, наверно!..»

И героиней Нюрка не стала. Опять, может, во всем сама виновата? А вдруг стала бы она героиней — посмотрела бы мама, фу-ты ну-ты, ой здорово! Хоть бы для мамы!

А Смолкина вот и героиней, наверное, станет! А что говорили про нее разное, так мало ли чего у нас не наговорят! Будто бы и подслащивали ей, и приписывали чужие успехи. Народ у нас всякий: могут намолоть с три короба, только слушай знай.

Чем больше Нюрке встречалось в смолкинской книжке непонятного, чем больше было там ученых слов, тем с большей почтительностью думала она о Смолкиной, о своей знатной напарнице, тем с большей завистью повторяла: «Неужели я не смогла бы?»

Мать ворочалась на печи, спрашивала:

— Скоро угомонишься, полуношница?

— Не угомонюсь я, мамочка, спи! Ты-то чего не спишь?

— Когда она приезжает?

— Ничего не знаю, председатель не сказал, только велел подготовиться. Спи, мама!

— Что я, не человек, что ли? Спи да спи! Я ведь тоже думаю.

— Ладно, мама!

— Чего ладно-то? Ты вон керосину добавь в лампу, совсем затухает, сожжешь ленту, тогда с чем будем сидеть? Керосин за суденкой в бутылке.

Нюрка нашла бутылку, вывернула горелку, не гася огня, и налила в лампу керосину. В избе стало светлее, а запах керосина донесся даже до Катерины Егоровны. Она поднялась, свесила ноги с печи, но слезать не захотела.

— Приготовиться, значит, велел. А как это — приготовиться? — снова заговорила мать.

Нюрка закрыла книжку:

— Корму всякого обещал отпустить. Где он только возьмет его, не знаю!..

— Он найдет, когда до зарезу надо. Уже корма развозят,

я слышала. И на скотный двор увезли воз сена, от лошадей взяли.

— Надо же! — удивилась Нюрка.— Вот книжку еще велел изучить да почистить все, порядочек навести...

— Ты как с ней будешь разговаривать? — поинтересовалась Катерина Егоровна.— Всю правду выложишь или подсластишь, скроешь кое-чего?

— От нее разве что скроешь? — убежденно ответила дочь.— А уж разговаривать и не знаю как. И правду бы надо выложить, чтобы на пользу пошло, и боюсь, чтобы не навредить кому. Худой-то славы тоже ведь распускать неохота. Вражина я, что ли, какая!

— Худая слава — она худая и есть,— подтвердила мать.— Это верно! А скроешь — тоже пользы не будет. Правда — она всегда лучше кривды.

— А помнишь, ты, мама, говорила мне: не плюй против ветра?

Катерина Егоровна чуть смутилась:

— Помню, как не помнить. Так ведь это когда ветер в лицо. А если ветер попутный — ничего не бойся.

— Сейчас попутный?

— Правда, дочка, всегда лучше кривды. Ржа ест железо, лжа — душу.

— Ладно, мама, давай спать.

— Я, что ли, тебе мешаю? Спи давай ложись.

Нюрка повесила лампу над столом и потушила ее, дунув сверху в стекло.

●

Председатель колхоза Бороздин по телефонному звонку из района выслал навстречу Смолкиной грузовик, чтобы, не дай бог, не застряла ее легковушка где-нибудь в снежной мякоти на волоку, и с утра вся деревня ждала, что вот-вот завиднеется в поле на росстанях какая-нибудь районная «Победа» на прицепе у колхозного грузовика. Но до вечера никого не было, и грузовик все это время торчал на пути, как на посту, километрах в шести от деревни. А к вечеру на росстанях перед деревней показался целый поезд из четырех автомобилей: впереди шел новенький ГАЗ-69, за ним две «Победы» — синяя и ядовито-зеленая, а затем уже грузовик, будто толкач-паровоз, чадил, громыхая кузовом и почтительно притормаживая в нужных местах. Три легковых сразу — такого в колхозе, кажется, никогда еще не бывало, и яркие «Победы» на снежном поле производили такое впечатление, как если бы в зимнем небе вдруг засверкала радуга.

— Вот так делегация! Тебя бы, Нюрка, этак взамуж выдавать! Свадьба, да и только.

— Куда ей, выскочке!

— Какая я тебе выскочка?
— На какой же она машине сидит?
— Кто она?
— Сама-то?
— На всех на трех.
— Будто министра какого везут.
— Ну что ж такого, у нас не часто гости бывают.

Когда легковые автомашины проходили по деревенской улице, старые, перекосившиеся и наполовину занесенные снегом баньки казались особенно неприглядными и нелепыми. Грузовик пронесся по берегу реки и скрылся за перекрестком улиц, а легковушки остановились у конторы правления.

Бороздин, запыхавшийся и раскрасневшийся — не так от морозца, как от волнения, испуганно перебегал от машины к машине, не зная, какую дверь сначала открыть и кому важнее оказать больше чести: гостья гостьей, но ведь районные работники райкома и райисполкома — тоже гости, да еще и хозяева к тому же!

Инструктор райкома Торгованов, молодцеватый, с залысинами на лбу, заметными даже из-под шапки, первый выскочил из «газика» и распахнул правую переднюю дверь ядовито-зеленой «Победы».

— Приехали, Елена Ивановна! — крикнул он на всю улицу, как будто Елена Ивановна сама могла не видеть, что приехали и что надо выходить.

У конторы собрались все, кого приглашал Бороздин, и ждали, что будет дальше, что им делать и что говорить. Были тут работники бухгалтерии, бригадиры из всех отделений колхоза, кладовщик, агроном, зоотехник, одна учительница и все три свинарки во главе с Нюркой...

Смолкина вышла из машины и сказала громко и приветливо только одно слово:

— Здравствуйте!

И все как бы облегченно вздохнули в ответ ей:

— Здравствуйте!

Бороздин, весь красный от напряжения, подкатился к ней и пожал ее руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйте, Елена Ивановна!

— Это председатель колхоза «Восход зари» Бороздин! — назвал его инструктор райкома партии.

— Бороздин Гавриил Романович! — отрекомендовался и сам председатель.

Захлопали дверцы машин, из них стали выходить люди в теплых зимних пальто, в шапках-ушанках. Одна Смолкина была в шляпке. Но шуба на ней тоже была теплая, зимняя, с шалевым меховым воротником и с меховой оторочкой по подолу и рукавам.

— Пожалуйте в нашу контору, Елена Ивановна. Ждем вас, можно сказать, не дождемся.

Смолкина пошла вперед, поднялась по ступенькам на крытое крыльцо и скрылась в сенях. За нею направились все прибывшие из района и председатель.

Кроме лысоватого инструктора райкома партии Торгованова среди прибывших был агроном из райисполкома, робко державшийся в стороне, ни во что никогда не вмешивающийся; горбатенькая женщина, заведующая райпарткабинетом, увязавшаяся за Смолкиной главным образом затем, чтобы навестить в колхозе «Восход зари» своих дальних родственников; паренек из райкома комсомола, пытливо примечающий все, и особенно, как ведет себя инструктор райкома партии, и приобщающийся через него к большой жизни.

Выделялся же из всех, вернее, выделял себя из всех, корреспондент, он же фотограф районной газеты «Дубовиковская правда», Сёмкин, мальчишка, которому казалось, что на земле существует только он один или, по крайней мере, он — главный, вследствие чего он всюду подавал свой голос, неизменно лез вперед и во что бы то ни стало, при всех обстоятельствах старался играть руководящую роль. Инструктор райкома партии Торгованов вынужден был следить за ним не меньше, чем за Смолкиной, чтобы все было правильно, постоянно обрывал его, одергивал, ставил на свое место, держал при себе.

Колхозники расступились перед гостями, затем, замкнув кольцо, двинулись вслед за процессией в избу.

Семкин, опередив всех, взлетел на крыльцо и успел несколько раз щелкнуть фотоаппаратом.

На крыльце Торгованов прошипел Бороздину:

— Хлеб-соль надо было приготовить. Что ж ты?

— Я думал, хлеб-соль — только для иностранцев, а она ведь наша,— ответил Гаврила Романович.— Кабы я знал... предупредить надо было.

Переступив порог конторы, Смолкина быстро осмотрела помещение. В первой комнате она увидела два письменных стола, стулья и табуретки в простенках между окон, радиоприемник в углу, старинный деревянный висячий телефон, похожий на скворечник, ленту обоев, на обратной стороне которой было напечатано во всю переднюю стену: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» (ее напечатал по срочному заданию Бороздина все тот же сын Лампии, Колька), множество ярко раскрашенных плакатов с дородными, хорошо откормленными свиньями самых разных пород — и в стойлах, и на выгоне, и поодиночке, и попарно, и целыми стадами (плакаты эти были присланы на днях из отдела райисполкома с предписанием немедленно развесить их по всему колхозу на видных местах).

— Пожалуйте, Елена Ивановна, в мой кабинет, можно ска-

зать, в председательский! — Бороздин почтительно распахнул перед нею дверь следующей комнаты. (Смолкина сделала движение, что хочет раздеться.) — Пожалуйте, пожалуйте! Там разденетесь,— настойчиво повторил Бороздин.

— Разденемся в кабинете! — сказал корреспондент Семкин и первый ринулся вперед.

Смолкина прошла в кабинет, за нею все прибывшие и председатель. Дверь закрылась. Приглашенные на встречу с гостьей колхозные служащие и члены правления, все одетые по-зимнему, остались топтаться в первой общей комнате наедине с собой. Разговаривали вполголоса. Кто-то восхищенно зашептал:

— Гаврило-то наш, как научился, видали? Что тебе директор театра или министр какой: «Пожалуйте да пожалуйте!» Молодец мужик.

— Да, нахватался образования.

Потом — о другом:

— Три машины, вот как! Кто это с ней приехал?

— Разные, наши все, районные.

— Век живи, а всех районных начальников так и не распознаешь.

Лампия толкнула Нюрку в бок, горячо зашептала в ухо:

— Шубу-то разглядела? Кругом мех.

— Разглядела,— ответила Нюрка.— Трудодни-то небось не такие, как у нас, вот и мех кругом.

— А к свиньям тоже в шубе ходит? Али в ватнике?

— В белом халате.

— Она докторша, чи що?

— Профессорша.

— Ладно тебе,— обиделась Лампия, а немного помолчав, начала спрашивать снова:

— Шляпку-то видела?

— Видела. С вуалькой.

— С какой вуалькой?

— С сеткой.

— Сетка эта — мужиков ловить.

— Болтай больше! — сказала Нюрка.

— А чего болтать? И как только у нее уши не мерзнут под таким ведерком?

— В машине тепло, она в машинах ездит.

Лампия вздохнула.

— Вот это жизнь, бабы! — с завистью зашептала Пелагея.— Мне бы так устроиться.

— Спи больше, устроишься.

В комнате образовались группы по два, по три человека, разговоры возникали самые разные, то шепотом, то вполголоса. Кто-то спросил:

— Чего делать-то будем? Чего ждем?

Ему ответили:
— Раз позвали — значит, надо. Подождем.
— Нам торопиться некуда, чего-нибудь дождемся.
— А угощенье будет?
— Не без этого. Бороздин, наверно, уже водку разливает. Сейчас и тебе вынесет.
— Мне много не надо. И мало не приму.
— Помалу он не наливает, придется пить.
— А вправду, чего они там делают?
— Кто их знает. Наверно, ей хлеб-соль подносят, а может, сговариваются, чтобы все было на уровне. Только угощенье будет не здесь. На вечер ужин готовят.
— Нас-то позовут?
— А не позовут, так из колхоза выйдешь?
Пелагея наклонилась к Нюрке и к Лампии, спросила:
— Слышали, вечером угощенье будет?
Нюрка засмеялась:
— Доклад будет, а не угощенье.
Засмеялась и Евлампия:
— Вытри нос лучше!
Нюрка повторила:
— Для кого угощенье, а для тебя, Палага, доклад да выволочка.
Палага фыркнула:
— Тебя позовут, выскочка.
Так стояли, сидели и переговаривались довольно долго. Наконец дверь из председательского кабинета открылась. Первая вышла оттуда Смолкина — она была раздета, но в шляпке; за нею председатель и кое-кто из районных, но не все. Часть гостей задержалась в дверях, на пороге. Все остановились, словно ожидая, что сейчас скажет Елена Ивановна. А она действительно собиралась, видимо, что-то сказать — это было заметно, но пока раздумывала, с чего начать.
Нюрка, Евлампия, Пелагея уставились на нее во все глаза, рассматривали пытливо и в общем доброжелательно, не пропуская ни единой мелочи. Сейчас, когда Смолкина сняла пальто, ее можно было разглядеть всю, с головы до ног.
Елена Смолкина оказалась гораздо старше той, какая была на портрете, и даже сходство между этими двумя Смолкиными Нюрка обнаружить не смогла. Прежде всего живая Смолкина была рыжая, а не черная, как в книжке, и не круглолицая, а сухощавая — какие уж там ямочки на щеках! И, конечно, на носу не оказалось никакой шадринки: на таком хрящеватом, сухом и сильно заостренном носу, как у нее, шадринке даже и уместиться-то негде. Все это показалось Нюрке очень странным, потому что она думала о Смолкиной как о молодой девушке, о своей сверстнице. Далее: на портрете Смолкина была в платочке, как всякая обыкновенная деревенская

женщина, а на живой на ней красовалась шляпка. Ну и что ж такое, что шляпка? Ну и пускай, шляпка так шляпка! Правда, Нюрка ни разу еще в жизни не встречала напарниц в шляпках, но это, конечно, только ее, Нюркина, отсталость, и ничего больше. А вот зачем она, Смолкина, не снимает свою шляпку? Пальто сняла, а шляпку не сняла. Так полагается, что ли? Ну ладно, не сняла так не сняла. Не в шляпке суть дела. Пускай и спит в шляпке, если так положено, хотя в хороших домах гости должны снимать свои шапки. Странно другое: почему это Смолкина по всему своему виду — и по лицу, и по одёже, особенно по одёже, не походит ни на деревенскую, ни на городскую женщину? Острые глаза бойкой Нюрки и ее подруг немедленно отметили все особенности костюма знатной гостьи, а женские язычки успели даже сделать и кое-какие замечания по нему.

На Смолкиной каждая вещь в отдельности была хорошей: шляпка фетровая, с черной сеточкой-вуалькой спереди и сзади, костюм из нетолстой серой шерсти, кофточка какая-то модная полупрозрачная, нейлоновая, что ли, и туфли — ничего, не плохие, хоть и не на «шпильках», но на каблуках вполне женских, не солдатских... По отдельности — хорошие вещи! А все вместе они как-то не увязывались, не согласовывались друг с другом ни в цвете, ни в фасоне, вещь к вещи не подходила. И к ней, к Смолкиной, ничего не подходило, то что называется — к лицу не шло.

Костюм на ней не сидел, а висел. Сквозь нейлоновую кофточку просвечивала фиолетовая не то комбинация, не то простая трикотажная майка. Вуалетка на шляпке не вязалась с учрежденческой строгостью пиджака и знаками отличия на нем. В общем, создавалось впечатление, что одежда Смолкиной приобреталась в разное время и по частям, в ларьках, распродающих уцененные товары. Особенно не к месту были сережки — замысловатые, позолоченные, со сверкающими стекляшками на фольге, броские, как мишурные украшения. Нейлон и мишура! — действительно ни к селу ни к городу. Потому и сама Смолкина казалась ни городской, ни деревенской.

— Выставка достижений! — шепнула Нюрка на ухо Лампии, пока Смолкина раздумывала, с чего ей начать разговор.

— Нам в этакое не нарядиться,— прошептала в свою очередь Евлампия.

— Когда надо будет, и нас нарядят.

— А чего она ведерко свое не снимает?

— Это тебе не полушалок.

— И губы не накрашены.

— Надо же!..— иронически отозвалась на это Нюрка, но тут же одернула себя и подругу.— Ладно тебе, остановись.

Смолкина смотрела на народ долго и нерешительно, наконец нашлась что сказать и улыбнулась:

— Вот приехала к вам. Надо поразговаривать.

— Милости просим! — ответил кто-то из стоявших в избе. — Поразговаривать можно.

Больше никто ничего не сказал, и Смолкина повернулась к Бороздину:

— Покажите мне заведующего свинофермой, он ведь здесь где-нибудь?

Бороздин вежливо ткнул пальцем в сторону Нюрки:

— Вот она, Елена Ивановна. Нюрка, подойди!

Польщенная Нюрка зарделась от смущения, робко шагнула к Смолкиной, первая протянула ей руку:

— Здравствуйте, Елена Ивановна! Только я не заведующая.

— Здравствуй! А кто же заведующая?

— Свиньи есть, а заведующей нет.

— Как же так? — растерялась Смолкина.

На выручку ей подоспел Бороздин. Он заговорил быстро, словно спешил предупредить возможные возражения:

— Все есть, Елена Ивановна, все как положено. Только Нюрка не хочет называться заведующей, молода еще, горяча, а так все в порядке. С работой своей она справляется, даже в районной газете хвалили, все в порядке.

— Скромность — дело хорошее! — сказала Елена Ивановна.

— А это мои напарницы,— показала ей Нюрка на своих подруг.— Это вот Лампия. Евлампия Трехпалая,— поправилась она.— А это Пелагея.

— Трехпалая? — переспросила Смолкина.— Ну хорошо, значит, вас трое. А дела как идут?

— Дела как? — переспросила Нюрка. И, впадая в тон недавно прочитанной смолкинской брошюры, ответила: — Трудности у нас есть. Много трудностей.

Смолкина посмотрела на нее внимательней, обернулась на Бороздина, на инструктора райкома и сказала раздумчиво:

— Трудности, да... Трудности, они у всех есть. Разные... Это трудности роста. Их преодолевать надо.— Потом спросила: — А работаете как? Дружно?

— Всяко бывает. Не так, чтобы так, и не этак, чтобы этак... Случается, что и грыземся, как собаки.

Евлампия коротко поправила Нюрку:

— Как свиньи, грыземся.

В толпе захихикали. Бороздин вмешался:

— Не верьте ей, Елена Ивановна, у нее такой характер. Дружно работают! Контакт есть! Ничего работают!

— У кого такой характер, у которой? — спросила Смолкина, глядя на Нюрку.

— У нее характер, у Евлампии, у Трехпалой у этой,— ответил Бороздин.

— И у меня такой же! — сказала Нюрка.

Смолкина опять посмотрела на обеих, подумала и посоветовала:

— Работать надо дружно. От дружной работы все идет.— И добавила: — Ну, мы с вами еще поговорим. И собрание проведем.— Она вернулась в кабинет председателя.

Нюрке в этот миг она показалась очень усталой. Нюрка даже пожалела ее, и потому, наверно, в душе ее сразу пропала к Смолкиной всякая зависть. «Ну что ж, поговорим потом. Поговорим так поговорим! — сказала она про себя.— Обязательно поговорим, как же без этого?» И тут же решила, что выскажет Елене Ивановне все, что наболело у нее на душе, всю правду про свиноферму, про то, что никакого к ней в колхозе нет интереса, и про то, за какое такое новаторство считали ферму примерной в районе и как Бороздин хотел ее, Нюрку, двинуть вперед, в знатные, и почему из нее героини не вышло и не выходит. А свиней ей просто жалко, потому что они живые. А то бросила бы она давно всю эту работу, все равно платы никакой, и когда что заплатят, никто не знает. Лампия работает тоже без охоты, только от злости, потому что все равно платы никакой, а не работать в колхозе нельзя. А Палага работает, потому что ей все равно, где спать: она ходит нога за ногу и спит на ходу. И никому до свиней дела нет, потому что колхозу от них ни холодно, ни жарко, ни сала, ни щетины никому не достается, одни убытки, никому никакого интереса. А Бороздин думает только об одном, чтобы под суд не попасть да чтобы всем вовремя глаза чем-нибудь замазать. От него требуют правды, а колхоз наш отстающий, захудалый, потому Бороздин правды боится, боится, чтобы не посчитали его плохим руководителем; ему только бы все планы выполнить, а до того, как люди живут, ему и дела нет. Кроме как на планы, у него сил не хватает. А если планы все-таки не выполняются, тогда он от страха за свой пост начинает хитрить, скупать мясо у колхозников и сдавать его государству будто колхозное. А цены все разные, все по шкале, и колхозу от выполнения планов опять убыток, двойной убыток, тройной убыток. Куриное яйцо Бороздин тоже покупает на стороне да в городских магазинах, чтобы план выполнить. Купит яйцо, сдаст его в магазин, и опять купит то же яйцо, и опять сдаст. И с маслом так же. Потому что колхоз отстает, а планы есть планы, и закон есть закон. Убытки все списываются на колхоз. Богатый колхоз выполнит планы и работает на себя. А наш работает только на планы. Но раз планы выполнены, то и Бороздин хорош для начальства и в отчетах его хвалят: вот настоящий руководитель, даже не ахти какой колхоз, а при умелом руководстве все планы

выполняет! Начальству нашему план дороже всего, потому что у начальства есть свой план сверху, который район должен выполнить. Над нашим начальством тоже ведь есть начальство. И Бороздин стоит на своем месте, пока план выполняется, пока его начальство хвалит. Что о нем народ говорит — это дело десятое. Хулителей и поприжать можно, да и не для всех он плох. Есть кому и слово о нем замолвить в случае чего. Его только бы раз сверху похвалили, а остальное он сам сделает, кое-кому и язык прищемит, если нужно будет. Правда, конечно, всегда одолеет кривду, но пока она доберется до главных верхов, Бороздин на пенсию выйдет либо на другое место переведется. Он теперь ответственный, он руководитель, он кадра, а кадры беречь надо... Конечно, Нюрка, может, в чем-то и ошибается, что-то и неверно понимает, она еще молода, горяча («А будто и вправду я не горяча да не молода!» — думает про себя Нюрка), только ведь у нее душа болит за все, и как можно ей промолчать, если случай такой выпал с этой Смолкиной.

Нет уж, извини-подвинься, Нюрка все теперь выложит, все, что наболело, выскажет, всю душу свою выплеснет. А там будь что будет! Только бы за правду постоять, только бы людям легче жить стало, только бы польза от того была.

Нюрка хотела пользы своему колхозу, своим односельчанам. Она никогда не говорила вслух и даже мысленно, что хочет быть полезной народу, она боялась громких слов. Тем более она не смогла бы нипочем сказать, что ей хочется послужить партии, помочь партии в наведении порядка на земле, в колхозных делах. Но это для нее само собой разумелось: колхозная правда, хорошая обеспеченная жизнь для людей и большая правда партии — это были понятия одного ряда, Нюрка всей душой верила в это. Только почему-то казалось ей, что это большое, светлое было где-то очень далеко отсюда, далеко от ее дома, от ее улицы, от свинофермы, от ее ежедневных, вероятно, мелких обид и горестей, от всего, что заполняло, забивало ее жизнь час за часом, с утра до ночи, год за годом. Это большое, чистое, без ругани, без лжи было где-то далеко, там, в Москве («Боже мой, какая же она все-таки, эта Москва, хоть бы раз побывать в ней!»), а здесь рядом — свиноферма, Бороздин, комбикорм и постоянный страх, что зазеваешься и тебя свиньи съедят. Отчего же это получается так неладно? Наверно, оттого, что поучилась она маловато, и читать она ничего не читает, и радио не слушает — есть один батарейный приемничек в конторе, и то без батарей! — и в кино бывает редко — вот уже второй год показывают «Чапаева» да «Богатую невесту», и вообще кругозор у нее — ох, узок! Узок, и никуда от него не денешься. И как его расширять, Нюрка не знает. И душа у нее болит. Да разве у нее у одной, разве у Лампии душа не болит?

У Палаги вот ничего не болит, она на все рукой махнула. А разве у мамы, у Катерины Егоровны, душа не болит за колхозную жизнь? Как же тут утерпеть, не высказать все этакому известному и почетному человеку, как Елена Ивановна Смолкина? Нет уж, будь что будет. Пускай уж и сор из избы летит, может, чище в избе станет. Да и не такой человек Смолкина, чтобы не разобраться, кто чего хочет — кто добра, а кто корысти. Эх, дойти бы до самой Москвы, как раньше ходоки до Ленина добирались.

●

В кабинете председателя было решено провести Смолкину до начала общего собрания по колхозной улице, по берегу реки, показать ей школу, клуб, а ежели к сроку подвезут фильм, то и картину прокрутить.

Смолкина согласилась и, выбравшись из конторы на улицу, привычно направилась к автомашине. Но ее остановил инструктор райкома:

— Пешком пройдемся, Елена Ивановна, тут недалеко.

— Пешком так пешком! — сказала она.

И они пошли пешком.

Когда Смолкина спускалась с крыльца, Бороздин подоспел сзади и поддержал ее за локоть:

— Осторожно, Елена Ивановна, скользко. Зимой ступеньки завсегда во льду.

Нюрка, увидев это, опять поразилась:

— Смотри ты какой стал. Надо же!

Из конторы следом за Смолкиной и ее свитой вышел на улицу весь колхозный актив, но люди быстро рассеялись по разным концам деревни. Дольше других держалась вблизи гостей Палага. Бороздин осадил ее:

— Ты чего лезешь? Чего лебезишь? Иди по своим делам. Да собрания не прозевай.

Палага на замечание председателя не обиделась, отстала, даже слова не сказав.

— Ну, куда пойдем? — спросил инструктор райкома, обращаясь к Смолкиной.

— Надо будет осмотреть весь колхоз,— заявил корреспондент Семкин.— Пройдемте сначала по главной улице.

— Куда пойдем, Елена Ивановна? — повторил свой вопрос Торгованов.

— Мне все равно,— ответила Смолкина.— По главной так по главной. Пойдемте по главной.

— Потом посетим школу,— продолжал разрабатывать свой план Семкин.— Школу обязательно навестить надо. Потом заглянем на свиноферму. Потом...



— Товарищ Семкин! — прервал его Торгованов.— Зайди вперед и сфотографируй Елену Ивановну на фоне.

— Я хочу всю делегацию.

— Валяй всю.

Смолкину поразили бани, торчавшие на скате к реке вдоль всей деревни. Наполовину занесенные снегом, они напоминали фронтовые блиндажи, притаившиеся в мертвой для артиллерии противника зоне.

— Черные, конечно?..— спросила она.

Бороздин переглянулся с Торговановым и ответил:

— К сожалению, черные. Привычка, знаете, ничего не поделаешь.

— А черные, они лучше, жар вольнее,— сказала Смолкина.— У нас в семье тоже такая банька была, а сейчас переделать заставили. Говорят, вам нельзя отставать, вы передовая, узнает кто-нибудь...

— Дух, это уж точно, вольный,— подтвердил Бороздин.— Особенно хорошо для тех, кто попариться любит, с веничком. Как вы к этому относитесь, Елена Ивановна?

— Можно мне заглянуть в одну баньку?

Бороздин опять пытливо посмотрел на Торгованова.

— Да почему же нельзя? — поспешил согласиться инструктор райкома.— Для вас все можно, Елена Ивановна.

Бороздин оживился:

— Милости просим, Елена Ивановна. Вы же не иностранка какая-нибудь. Для вас все можно. Если захотите, мы даже истопить одну прикажем, с веничком побалуетесь.

Бороздин и паренек из райкома комсомола ногами в валенках разгребли снег перед входом в предбанник и в самом предбаннике, куда снег намело через щели в крыше и в дощатых стенках, и открыли низкую перекосившуюся дверь. Из полумрака пахнуло сыростью, плесенью, как из подполья, в котором гниет картошка. Должно быть, банька давно не затапливалась. Верх печки-каменки наполовину осыпался, две шайки, стоявшие на полу, рассохлись, обручи на них опустились. Все было черно от сажи — стены, потолок, полок, на котором парятся, жердочки, на которых развешивают одежду и белье, даже скоба дверная. Ни к чему нельзя было прикоснуться, все пачкало.

— Осторожно, окрашено! — сказал Семкин.

А Смолкиной банька понравилась. Она умилялась всему — и рассохшимся шайкам, и потрескавшимся от жара булыжникам, образующим свод каменки, и маленькому низкому окошечку, сквозь которое был виден только снег.

— Вот такая же банька и у нас стояла,— радовалась она своим воспоминаниям.— Бывало, охапку дров сожжешь, а воды горячей и пару на пятерых хватает. Воду-то мы камнями кипятили: как только покраснеют — мы их и кидаем вило-

шечками в кадушку с водой. Вода брызжется, и шипит, и визжит, пар под потолком облаками ходит.

Бороздину, видимо, черные бани тоже нравились, он улыбался, иоддакивал, крякал, словно готовился попариться. А Смолкина вспомнила, как в дальнем глухом селе ей пришлось мыться в печке:

— Поначалу было страшно, но все моются в печке, что, думаю, за дело. Дай попробую. Колхоз выстроил не одну большую баню, с парилками, как в городах, а люди все лезут в печь! Печи там широкие, как овины, утром в такой печке хлеб испекут, обед сварят, а вечером постелют соломки по всему поду, поставят шаечку с кипятком за загнетку, заберется человек, будто в преисподнюю, сядет там,— ну, конечно, рослому приходится голову пригибать,— и хлещет себя, старается. Мыльная вода с шестка стекает в таз. Вылезет человек, весь красный, раскаленный, будто крапивой обожжен, да на улицу, зимой прямо в снег, а летом в реку либо из ведра колодезной ледяной водичкой окатится,— стоит, как в заре весь. И стыда там лишнего нет — здоровому человеку, говорят, чего стыдиться? Приехала я туда — как, думаю, не попробовать, не вымыться в печке? Забралась — и ничего, вольный дух. Понравилось мне. Но, конечно, черная банька все-таки обстоятельней будет, удобств больше.

Корреспондент Семкин записывал в блокнот все, что говорила Смолкина о черной бане, о русской печке, записывал и то и дело потирал лоб, который разбил, не пригнувшись достаточно низко при входе в баню. Записывал и восторгался:

— Это у меня обязательно пройдет, это же целый очерк, литературно-художественное произведение. Очень хорошо, Елена Ивановна, продолжайте.

— Ничего у тебя не пройдет,— строго сказал ему Торгованов.— Про черные бани писать нельзя и про печь писать нельзя. Думать надо, о чем писать хочешь. И не вздумай фотографировать!

— А мне нравится! — опять и чуть капризно заявила Смолкина.— О банях хорошо бы написать.

Ей определенно начинал нравиться и сам горячий безрассудный мальчишка из газеты с его блокнотом и фотоаппаратом. Смолкина любила фотографироваться и любила, когда про нее писали что-нибудь в газетах. А нельзя же писать все про свиней да про свиней, разве не забавно будет, если и про бани напишут?

— Пускай напишет! — разрешила она.— Вот только красоту ваши баньки портят, это уж как есть.

Сказав это, она вышла из бани и показала рукой вдоль берега:

— Вон что ведь получается — стоят избы, а перед избами

все одни бани. Перенести надо бани на новые места, вот что я вам посоветовала бы,— обратилась она к Бороздину.— Взять и перенести все до одной на задворки. На задах они были бы на своем месте.

Бороздин посмотрел, как будет реагировать на это предложение инструктор райкома партии.

— Гениально! — решительно заявил Торгованов.— Я вас поддерживаю, Елена Ивановна. Просто и мудро: взять все бани и перевезти на новые места.

Тогда сказал свое слово и Бороздин.

— А что? Действительно мудрое решение вопроса. Правда, бани немножко сгнили, но это ничего не значит, перевезем их. Спасибо вам, Елена Ивановна, за указание.

Семкин так и взвился весь, торжествуя, что нашел наконец материал для газеты, достойный его пера. Он начал быстро щелкать фотоаппаратом, запечатлевая Е. И. Смолкину на новом фоне.

— Вот сейчас снимай! — поддержал его наконец Торгованов.— И напишешь так: «Черные древние баньки, которые по предложению товарища Смолкиной убираются с берега на задворки». Ты понял меня?.. «Открывается пейзаж новой деревни. Все колхозники благодарят Елену Ивановну за инициативу».

Смолкина охотно позировала на фоне старой черной бани.

В школе, куда вслед за этим привели гостью, Смолкина осмотрела черную классную доску с оставшимися на ней от уроков арифметическими вычислениями, стенную газету с вырезками из журналов вместо рисунков — и здесь, наверно, работал Колька, сынок Евлампии,— прочитала лозунги относительно увеличения производства молока, масла и мяса.

Уроки в школе закончились, но группа ребятишек еще занималась в классе какими-то своими делами. За широким учительским столом мальчишка лет тринадцати печатными буквами вычерчивал на бумажной полосе плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» Слова эти были уже написаны карандашом, сейчас он обводил их химическими чернилами и оттенял красной акварельной краской. Для чернил у него вместо кисти была приспособлена хорошо выстроганная лопаточка, расщепленная на конце, как щетка, а для акварели — кисть из беличьего хвоста, тоже самодельная. Язык у мальчишки послушно переходил во рту с одной стороны на другую, выпячивая щеки поочередно: работа была любимая, увлекательная.

Смолкина прочитала плакат вслух, сделав вид, что не поняла, к кому относятся эти слова. Потом спросила, обращаясь к школьнику:

— Как тебя зовут?

— Николай! — ответил мальчик, внимательно вглядываясь в незнакомую женщину. Увлеченный работой, он не сразу догадался, что в класс пришла сама Елена Ивановна Смолкина.

— Это нашей свинарки сын, Колька,— сказал Бороздин Смолкиной.— Он у нас все украшает, картинки развешивает по колхозу, лозунги пишет.

— Я только на свинарнике, для мамы,— засмущался Колька, приняв слова председателя за похвалу.

— Для мамы, для мамы,— ворчливо передразнил его Бороздин.— А почему опоздал? Приехала уже Елена Ивановна, вот она!

— У нас контрольная была, не мог я раньше. Только после уроков. Один такой лозунг уже висит в конторе.

— Ты хоть поздоровайся. Поздоровайтесь, ребята! — приказал Бороздин школьникам.— Это наша гостья, знаменитая товарищ Смолкина, передовой животновод.

Ребята хором поздоровались.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровалась с ними Смолкина и медленно опустилась за парту.

Следуя ее примеру, начали устраиваться за партами и другие.

— Давно я не бывала в школе. Не приходилось как-то,— сказала Смолкина, с трудом устраивая под низкой партой свои колени.

Семкин приготовился ее фотографировать: услужливый парнишечка, никто еще не снимал ее так много, как он! Может, хорошие карточки получатся. Дал бы только для памяти.

Колька и все школьники уставились, как завороженные, в объектив фотоаппарата. Тогда Бороздин подошел к Кольке Трехпалому и, ткнув его легонько в плечо, потребовал:

— Давай, давай, торопись, заканчивай лозунг да неси скорей на место. Нечего глаза пялить на что не следует.

Колька принялся за работу.

— И вы тоже занимайтесь своим делом! — кышкнул Бороздин на остальных ребятишек.— Хвостовики, наверно?

— Отстающие! — весело ответил ему паренек, стриженный без гребешка наголо, как барашек.

— То-то — отстающие. Догонять надо передовиков!

— Догоняем!

— Где ваша учительница?

— Домой ушла.

— Работайте, работайте!

Смолкина сняла с головы шляпку, в первый раз сняла и вздохнула:

— А я мало поучилась. Отчим не дал, работать в колхозе надо было. Только два класса и кончила. А хотелось поучиться. До самой войны все надеялась, что приведется еще, а не привелось.

— Значит, вы самообразованием дошли до всего? — спросил ее комсомольский работник.

— До чего я дошла?

— Вы же книгу написали!

Расчувствовавшаяся Елена Ивановна не смогла сказать неправды:

— Не писала я никакой книги. Другие за меня написали, я только деньги получила.

— Пошли дальше, Елена Ивановна! — сказал Торгованов.

Смолкина медленно высвободила ноги из-под парты, надела шляпку с вуалеткой и встала.

— Да, вот так и не пришлось поучиться! — вздохнула она еще раз.— До свиданья, ребята!

Школьники пошушукались, и один из них осторожно задал вопрос:

— А вы кто такие будете?

— Я-то?..— растерялась Елена Ивановна.

Бороздин рассердился на ребят:

— Я же вам объяснял, это Елена Ивановна Смолкина, знаменитый животновод, новатор. Вон Колька пишет «Добро пожаловать» — это для нее.

— Ну да?! — с недоверием отозвался паренек.

— Вот тебе и ну да! Скажите вот своей учительнице, почему она не была на месте. Пусть на собрание придет.— И Бороздин обратился к Торгованову: — Двинулись дальше, товарищ Торгованов?

— Двинулись.

— До свиданья, ребята! — сказала еще раз Смолкина.— Подтягивайтесь, догоняйте передовиков!

— Догоним! До свиданья!

— А вы теперь куда? — спросил ее стриженый паренек.

— Колхоз ваш пойдем смотреть.

— На свиноферму пойдете?

— Пойдем и к свиньям.

— Ой, что у нас там делается!..

— Ладно. Об этом поговорим потом. До свиданья, ребята.

Снег не скрипел под ногами — под вечер потеплело. На улице сильнее запахло навозом, конским потом, гнилой соломой. Смолкина еще издали заметила, что крыши скотного двора и конюшни оголены, стропила торчат, будто обглоданные лошадиные ребра на скотском кладбище.

— Вот и весна скоро подойдет,— заметила она.— Скорей бы!

— Да, уж скорей бы,— поддерждал ее Бороздин.— Скоту бы легче стало.

— Я про скот и говорю.

— Скот выдержит.

— Скот выдержит, и люди выдержат. Крыши-то скормили?

— Да, не уследил я, Елена Ивановна, скормили.

— Только бы скот выдержал. Падежа еще нет?

— Бывает, Елена Ивановна, но все в норме, в законе. Люди ведь и то умирают.

Торговаиов обратился к Бороздину:

— Кажется, у вас процент отхода не превышен? Если не ошибаюсь.

Бороздин успокоил его:

— Не превышен. Пока все в законе. Вот только крыши...

Смолкина на это тихо сказала, словно боясь, чтобы ее не услышал еще кто-нибудь:

— С крышами не только у вас. Если солому хорошо рубить и запаривать — коровы едят неплохо. Надо лишь добавлять хвою, витамины все же...

— Может быть, заглянем на скотный двор? — спросил Торговаиов, обращаясь не то к Бороздину, не то к Смолкиной.

— Да, можно! — протянул Бороздин.— Там ничего такого... Можно.

— Как хотите, можно и заглянуть,— ответила Смолкина.— До свинарника-то дойдем скоро?

— До свинарника дойдем обязательно. Успеем еще.

Но вечер наступил быстро. Побывали они в коровнике, на конюшне, навестили катальную мастерскую, изготовляющую валенки, осмотрели работу пилорамы,— на два последних объекта затащил всех корреспондент Семкин: индустрией запахло! — а на свиноферму до собрания заглянуть не смогли, поздно стало.

— Ничего, мы после собрания сходим, а еще лучше завтра с утра,— успокаивал Смолкину Бороздин.— Да вам, наверно, и без того на свинарниках все знакомо. Уж чего-чего, а свиней-то вы за свою жизнь повидали немало. Вот валенки катают — это для вас ново, интересно. Верно ведь, Елена Ивановна?

— Да, верно, пожалуй.

Кажется, она и не беспокоилась из-за того, что не успела побывать на свиноферме до начала собрания. И вправду, что, собственно, она может там увидеть? Главное уже ей известно, уже рассказали ей, что даже заведующей на колхозной свиноферме нет. А это обо всем говорит. Ну и кормов, конечно, не хватает.

●

В клубе всегда пахло табачным дымом. Запах этот не выветривался даже в тех случаях, когда от одного киносеанса до другого проходило не меньше месяца. Он только ослабевал, этот запах. Но стоило провести лишь одно колхозное собрание либо какое-нибудь мероприятие, требующее усидчивости, мужицкой сосредоточенности и серьезного обдумывания и обкуривания вопроса, как в печи, на подоконниках, в углах, во всех щелях и пазах стен и пола снова появлялись окурки махорочные и папиросные, и табачный запах как бы подновлялся, усиливался на длительное время. Никогда еще уборщице Фекле не удавалось полностью выскрести и вымести все окурки из избы за один-два дня. Затопит она печь — ну, думает, все пронесло сразу, все выгорело, а станет закрывать трубу, глядь: на печной задвижке несколько окурков уцелело. Даже за плакатами, за портретами, за стенной газетой, даже на рамке Доски почета — во всю длину ее верхней грани — оказывались окурки.

— У, табачники проклятущие, чтоб вам все нутро выворотило наизнанку! — добродушно ворчала старая женщина после каждого заседания колхозного актива. Но, отведя душу бранью, она признавала, что нет худа без добра: ни клопы, ни тараканы зато не могли обосноваться в клубе на долгое жительство. А это обстоятельство настолько убедительно говорило в пользу табакокурения, что даже она, всю жизнь кашляющая из-за махорочного дыма и страдающая головной болью, не считала табачное зло богопротивным. Все-таки клопы и тараканы хуже курильщиков! Только вот зачем они, пакостники, все хитрят, ловчат, лукавят, все норовят засунуть свои ядовитые сосульки куда-нибудь в укромное местечко. Кидали бы уж прямо на середину пола, клали бы в кучу на середину стола, так нет, все кого-то обдурить хотят. И ребятишечки у отцов учатся, сосут из рукавов втихую, к обману привыкают с малых лет.

— О господи, прости меня, грешную,— устало вздыхала старая уборщица.

Когда Бороздин привел гостей в клуб, в зале было уже тепло и душно от табачного дыма. Свежие окурки лежали и на подоконниках, и на спинках стульев, валялись в каждом углу, более того — висели, приклеенные слюной, даже на стеклах окон и на потолке.

В президиум избрали только Елену Ивановну Смолкину, все остальные члены президиума сели за стол сами, в том числе и приехавшие в колхоз районные работники.

Должно быть, не пригласили за стол только молодого корреспондента районной газеты, но он также не растерялся и все

время, пока не фотографировал кого-нибудь, присаживался на сцене за спинами членов президиума.

Председатель Бороздин сказал о Смолкиной несколько теплых слов, о том, что она дочь народа и слуга его, что она — самородок и что руки у нее золотые. Сказав это, Бороздин стал громко аплодировать, почти у самого лица Смолкиной. Начали аплодировать и в зале, при этом все с любопытством уставились на золотые, рыжие руки гостьи. Когда аплодисменты усилились, инструктор райкома Торгованов шумно поднялся со стула, а за ним поднялись все остальные члены президиума. Не сразу, но поднялось и все собрание. Смолкина не смутилась, она привычно смотрела в зал, не задерживаясь ни на одном лице по отдельности, изредка кланялась и привычно прикидывала, что ей сейчас рассказать о себе. Шляпку свою она не сняла и в президиуме, словно стеснялась своих рыжих волос.

Перед самым началом собрания в дверь протиснулась Нюрка — всполошенная, ничего не понимающая: как же так? — Смолкина везде была, а на свиноферму даже не заглянула! Что же теперь будет? Когда же она теперь с нею поразговаривает, когда выскажет все, что наболело на душе? Или нельзя этого делать? Почему нельзя? Ведь не на бога же надеяться?

До самых сумерек Нюрка, Лампия и Палага, как на посту, торчали в своей сторожке на свиноферме и ждали дорогую гостью. Что там ни говори, а настроение у них было праздничное. Палага все эти дни ходила принаряженная, а сегодня приоделась и Нюрка, перетянула свою осиную талию материнским узорным поясом — его хватило на три оборота, и шапку сменила на полушалок. Даже Лампия не выдержала — пришла после обеда на работу не в ватнике, а в старинной шубе-сибирке со сборками на поясе, доставшейся ей по наследству еще от бабушки. Колька, ее сынок, разукрасил не только сторожку, но и свиной двор всевозможными добавочными вырезками из газет и плакатами и надписи повесил везде, как наказывал Бороздин.

Два дня накануне приезда Смолкиной на свиноферме работала целая женская бригада, сформированная опять же по инициативе председателя. В теплой воде с мылом были перемыты все поросята, чего ни разу не успевали сделать сами свинарки, потому что время с утра до вечера уходило у них на добывание корма. Вымытые поросята, хоть и тощие, стали похожи на полупудовички белой муки. Были вычищены и выскоблены полы и застланы свежей соломой. У сторожки выросла поленница готовых, мелко нарубленных дров. Кладовщик выдал свинаркам три синих наскоро сшитых ситцевых халатика.

Свиньи были накормлены. Нашлась картошка, и даже не очень гнилая. Нашелся силос. Обычно силосные ямы раз-

гружались кое-как, лишь из середины, а все, что с боков, что смерзлось или чуть прихватило плесенью, оставлялось до весны, весной же ямы наполнялись водой до краев. Сейчас оказалось, что силос брать из ям еще можно. Нашелся также на одном из гумен ворох ржаного колоса с немалым количеством невымолоченного зерна в нем. Этот колос, запаренный в котле, свиньи поедали с пугающей жадностью даже без всякой присыпки. Кладовщик отпустил даже немного овса и соли. Кто из многочисленных колхозных начальников обнаружил эти так называемые кормовые резервы, Нюрка не знала. Важно, что корм нашелся. Ведь нашелся же! А что будет, когда Елена Смолкина уедет из колхоза? Все пойдет по-старому? А как сделать, чтобы не шло по-старому? Надо открыть ей глаза на все наше очковтирательство. Надо!

Вслед за Нюркой на собрание прибежали и Евлампия Трехпалая с Палагой Нестеровой. Они тоже с трудом освоились с мыслью, что Смолкина почему-то не явится посмотреть свиноферму, а когда поняли, что не явится, то перепугались, что опоздают на собрание, и побежали в клуб, не считаясь ни с чем — ни с обидой своей, ни с работой! Даже обозленная, скептически настроенная Лампия чего-то, должно быть, ждала от предстоящей встречи со Смолкиной.

Все трое, они устроились на свободных местах недалеко от сцены. Когда усаживалась Нюрка, инструктор райкома Торгованов наклонился к Бороздину и что-то пошептал ему. Бороздин кивнул головой и стал напряженно безотрывно смотреть Нюрке в лицо, стараясь поймать ее взгляд. Нюрка почувствовала это и взглянула на него. Бороздин руками и глазами и движением губ стал звать ее в президиум. Кто-то из сидевших рядом ткнул ее в бок и шепнул на ухо: «Иди за стол, тебя зовут!» Нюрка покраснела, мотнула отрицательно головой и отвела взгляд от Бороздина.

К удивлению и огорчению собрания, Елена Ивановна начала читать свою речь. Речь эта была написана, видимо, давно, с расчетом на любой случай, для любой аудитории, и представляла собой краткое изложение брошюры, с которой Нюрка уже сама познакомилась и напарниц своих познакомила.

Сначала в этой речи-брошюре рассказывалось о жизни героини. Где родилась, когда родилась, как жила. Жила, конечно, в бедности; в детстве, до коллективизации, ела не досыта, носила одежонку и обутку — стыдно сказать какие; конечно, пасла скот (раньше это считалось зазорным) и света в жизни не видела. Потом началось все наоборот. Поучиться все-таки не довелось, мать не позволила, работать надо было, сначала младших братьев и сестренок нянчить, потом прясть, ткать, а после и в колхозе впряглась в оглобли на полную силу. Самоотверженный труд был основой и единственным смыслом всей жизни Елены Ивановны, а

направляющие указания руководящих товарищей не давали ей сбиваться с пути.

— Если бы не помощь, если бы не поддержка...— то и дело повторяла Смолкина.— Если бы председатель колхоза вовремя не подбросил кормов, если бы весь колхоз не был повернут лицом... не было бы у меня высоких показателей и не видать бы мне рекордов... как не видать своих ушей.

«Господи, да что это она? — с тревогой думала Нюрка, слушая Смолкину.— С людьми разговаривать надо, а не по бумажке им читать, если ты сама человек. Время это прошло, когда все по бумажкам читали, того гляди и слушать тебя не станут».

— Когда мы готовили показатели для выставки,— продолжала Смолкина,— наш председатель все внимание уделял свиноферме, не щадя сил и времени, работал вместе с нами. Он сам лично бывал в кормоцехе чуть не каждый день. Колхоз не жалел ни средств, ни трудодней...

«Надо же! А наш председатель тоже хотел к выставке подготовиться,— думала Нюрка о своих делах.— Только из меня героини не вышло. А вот из нее вышло. Неужто и они показатели готовили так же, как наш председатель? Надо же! Да не читай ты по бумажке, опомнись!» — чуть не закричала Нюрка.

Смолкина один раз перестала читать по бумажке, когда, рассказывая про свое детство, вспомнила, что была сегодня в школе. При этом глаза ее оживились, заблестели.

— Села я за парту у вас тут и будто маленькая вдруг стала. Только ноги едва-едва заправила под стол. Сижу и думаю: вот ведь судьбинушка какая — и поучилась бы сейчас, а не могу, опоздала, голубушка. Только два класса кончила. Не до ученья было тогда, работа не позволяла. А подросла — опять неладно, кампании всякие начались. Бывало, в клуб тянет,— у нас-то клуб получше вашего,— поплясать, потанцевать хочется, на кругу себя показать, а мама говорит: трудодней у нас еще мало,— выводок у нас был в девять человек,— до нормы, говорит, еще не дотянули. Да по молоку, да по мясозаготовкам отстаем. Приходилось на лесной деляне отцу помогать, не справлялся один. Так и не было молодости. И не научилась я ничему...

«Тоже, значит, хлебнула горя! — обрадовалась вдруг Нюрка, словно Смолкина ей руку на дружбу подала.— Нет, такому человеку можно все рассказать, она поймет. У нее душа еще жирком не подернулась».

И Нюрка, подавшись вперед, крикнула:

— А как же вы книгу написали, Елена Ивановна?

По залу прошел шумок не то одобрения, не то испуга, и люди обернулись в ее сторону. Смолкина, оживленная во-

споминаниями, сокрушенно развела руками и, видимо, хотела ответить на вопрос так же прямо, как ответила в школе, но взглянула на Торгованова и сдержалась. Она не была уверена, на пользу ли пойдет здесь откровенный рассказ о том, как и кем писалась ее книжка, и уместен ли будет такой рассказ перед этими людьми. Но и не отвечать было нельзя. И она ответила:

— Что ж, так и написала! Конечно, не без помощи! Если бы не помощь да не поддержка, чего бы мы с вами все стоили на белом свете?

После этого Елена Ивановна опять обратилась к печатному тексту своей речи и стала читать без воодушевления, монотонно, поднимая голову в местах, которые она уже знала наизусть. А говорилось в этой речи о строительстве нового типа свинарников — дешевых, рентабельных («То есть выгодных!» — пояснила Смолкина) и о переоборудовании старых — дорогих, нерентабельных свинарников под откормочные помещения, под столовые для свиней. Строительство старого большого свинарника на тридцать свиноматок обходилось в сто двадцать тысяч рублей. Новый свинарник на семьдесят голов будет стоить всего рублей шестьдесят.

— Значит, мы зря деньги выбрасывали, когда сооружали нынешний дворец для свиней? — ахнул кто-то в зале.

Смолкина не ответила. Бороздин постучал карандашом по стеклянному графину с водой, и она продолжала чтение.

— Новый свинарник — это простой сарай, сколоченный из обыкновенных досок, с одним входом-выходом, прикрываемым мешковиной. На зиму в этом сарае насыпается резаная солома толщиной метра в полтора, и свиньи лежат на ней вплотную — семьдесят голов. Подстилка всегда сухая, потому что свиньи под себя не ходят.

— Как это под себя не ходят? — спросили из зала.

Смолкина ответила:

— Вот видите, всю жизнь живете со свиньями, а не знаете, что это самая чистоплотная животина.

— Наши свиньи всю жизнь по нужникам мотаются.

— Это единоличные мотались. А я говорю про колхозных свиней,— ответила Елена Ивановна.

— В новом свинарнике-сарае содержатся откормочные свиньи, но в них могут находиться и свиноматки до определенного срока. Откорм свиней при таком содержании обходится очень дешево. Все лето свиньи на подножном корму, в своей поскотине.

— А куда же старый свинарник девать? — спрашивают опять из зала.

— Старый под столовую,— отвечает Смолкина.

— Значит, опять строиться надо?

— Я с вами делюсь передовым опытом,— отвечает Смолкина,— а вы уж смотрите, как вам лучше жить: по старинке или по-новому.

— Дык у нас и старый свинушник порожний.

— Но в старом откармливать свиней нерентабельно, он дорогой.

— Дык он уже выстроен.

— Ну и что же, что выстроен?

— Понятно! — сказала Лампия, и спор на этом прекратился.

Смолкина продолжала чтение.

— В отведенное время, по сигналу, свиньи сами отправляются («Значит, бегут»,— пояснила она) в свою столовую. А насытившись, возвращаются обратно. В летний период у свиней должен быть хороший выгон с зеленой сочной травой, со свежей водой. Хорошая свинарка сама пасет свиней. Это раньше говорилось: «Сегодня в чести, а завтра свиней пасти!» Ныне пасти свиней почетно, а не зазорно. А хороший привес надо обеспечивать одинаково и летом и зимой. Клевер, сенная мука, комбикорм — вот что требуется для быстрого роста свиней.

— Комбикорм у нас тоже дают! — кричат из зала.

— Ну вот видите,— отвечает Смолкина.

Раздается дружный смех, неприятный для нее, но раз людям весело, оживляется и она.

— От нашего комбикорма только щетина растет! — поясняют Смолкиной из зала.

— Щетина — тоже товар, нужный для народного хозяйства,— отзывается на это Елена Ивановна.— Но мясо, конечно, важнее.— И она оборачивается к Бороздину: — К примеру, чем вы сегодня кормили своих свиней?

— Сегодня-то мы их накормили! — громко говорит Нюрка.— И вчера кормили.

— А в чем дело?

— Вы к нам почаще заглядывайте, Елена Ивановна, тогда и свиньи наши сыты будут.

— Дерзко это! — подал голос Торгованов.

— Это Нюрка наша, она такая! — словно извиняясь, заявил Бороздин и постучал карандашом по графину.— Ты, Нюра, не фордыбачь сегодня.

— А когда можно фордыбачить?

Смолкина подняла руку.

— Я вас понимаю,— сказала она.— С кормами плохо? Это наш общий недостаток. Не хватает кормов, да и только. Это наши трудности роста.

— Вы свиньям об этом скажите, они поймут.

— Дерзко! — опять резко бросил Торгованов, а Бороздин постучал косточками пальцев по столу.

Людям стало интересно сидеть в зале и слушать. Речь Смолкиной уже не казалась скучной. Елена Ивановна овладела аудиторией и перестала читать по бумажке.

— Кормов у нас не хватает потому, что мы разучились добывать их,— тоном обвинения заговорила она.— Раньше в хозяйстве ничего не пропадало, потому что хозяева были. Не то что колоса, ни одной соломинки на полях не оставляли. На гумне всю пелёву, всю мякину заметали подчистую, все скоту на корм шло. Мы даже не знали слова такого — отходы. Лен обколотим — весь куколь (кое-где колокольцем зовут), весь куколь — свиньям на еду. Запаришь, подсыплешь мучкой — лопают, да облизываются, да спасибо говорят. А ныне что куда девается?

— Она правду чистую говорит! — шепнула Лампия Нюрке.

— Или про картошку скажу,— продолжала Смолкина.— В хорошем хозяйстве ни одной самой маленькой картофелинки, ни одного орешка на поле не оставляют. Крупная идет людям, да государству, да на семена, а всю мелочь свиньям. Мно-ого ее набирается. А как-то видала я в одном колхозе,— да не в одном видела! — собирают картошку из-под лемеха окучника, схватывают сверху ту, что по кулаку, и готово, и все,— только бы скорей корзины заполнить, а нет чтобы порыться в пласту да все картофелинки до одной выбрать. По полю бегом бегают. Я говорю: «Что же вы, ударницы, мелочь в земле оставляете, чем свиней кормить будете?» — «А нам, говорят, не до свиней, нам себя прокормить надо. Норма-то, говорят, на что? Она корзинами исчисляется. Ее же выполнить надо. Не выполнишь нормы — ничего не заработаешь. Не до мелочи тут».— «Ах вы, говорю, очковтиратели! Не хозяева вы!»

— А ведь она правду говорит! — шепнула опять Лампия.— Выходит, она тоже против обмана.

— Конечно, против. Вот кому надо всю правду выложить,— отвечала ей Нюрка. И громко, на весь зал поддержала Смолкину: — Правду говорите, Елена Ивановна. Вот у нас в колхозе...

— Что у вас в колхозе? — переспросила Смолкина.— По-моему, у вас в колхозе дела могут хорошо идти. У вас такой опытный руководитель — товарищ Бороздин. Мне про него еще в районе говорили.

— Вот-вот, руководитель опытный, а хозяев нет! — раздался чей-то мужской голос из угла.

Бороздин повел головой вправо, влево, но никого не разглядел. Из президиума в зал ответили:

— На трибуну выходить надо, если что хотите сказать, а не демагогией заниматься.

Смолкина продолжала:

— Плохо вы сами работаете, вот что надо сказать. Не

мобилизуете еще внутренних резервов, не болеете душой за порученное вам дело...

Нюрка стала нервничать, она не совсем понимала, в чем ее обвиняют. А Евлампия Трехпалая вдруг зашипела на весь зал:

— Вы у нас не были на свинoферме, а охаиваете. Что мы вам сделали?

Собрание зашумело, похоже было, что оно сочувствовало словам Евлампии. Но Елена Ивановна опять спокойно подняла руку — и люди умолкли.

— Не была еще, не успела, это верно,— сказала она нараспев, с обидой в голосе.— Вот после собрания сходим все вместе. Только мне и без того все ясно. У вас на свиноферме даже заведующего нет, а без заведующего какая же свиноферма? Это ведь не свое, не единоличное хозяйство, а колхоз,— обязательно должен быть заведующий. И еще удивляетесь, что дела плохо идут. Работаете плохо, внимания вопросу не уделяете, вот и не ладятся дела.

Евлампия снова не выдержала:

— Из президиума-то небось не много видно. За нас никто не работает, мы только сами.

— А вы не обижайтесь,— сказала Смолкина.— Я только опытом своим делюсь. Я всю жизнь со свиньями вожусь и знаю, что они уважения к себе требуют. Их уважать надо.

— Людей тоже! — брякнула Евлампия и, кажется сама испугалась того, что сказала. Но Смолкина не обиделась и достойно бы ответила Лампии, если бы ее не перебили из президиума.

— Одну минутку, Елена Ивановна! — сказал Бороздин. И, обращаясь к Лампии, он разъяснил, что Елена Ивановна Смолкина приехала в колхоз не для того, чтобы спорить с каждой, которая тут вести себя не умеет.— Ты чего шумишь? — сказал он Лампии.— Твое дело не спорить, а изучать опыт лучших людей в деле выращивания скота. Елена Ивановна правильно говорит: свиней кормить надо, надо изыскивать внутренние резервы. А мы что делаем? Мы слишком мало уделяем внимания вопросу. И еще: надо увеличить поголовье свиней в два, в три раза, тогда и корма найдутся. Жизнь сама заставит изыскивать резервы...

Затем Бороздин обратился с речью уже ко всему собранию:

— Критику мы не выносим, вот в чем наша беда. А критику уважать надо. Прислушиваться к критике надо. Елена Ивановна правильно критикует нас. Руководить — это не значит командовать. Надо развязывать инициативу простых людей, а не командовать ими, тогда дела пойдут на лад. Надо улучшить руководство нашей свинофермой. Тут я признаю критику и в свой адрес. Правильно, не всегда руки доходили. А без настоящего оперативного руководства ничего с места не сдвинуть.

Все в руках руководителей, все на них держится. Это я признаю.

По-видимому, разъяснение вопроса, сделанное Гаврилой Романовичем Бороздиным, оказалось своевременным. И пусть не все поняли, почему возник разговор о руководстве в таком именно плане, но после выступления председателя собрание пошло по правильному руслу и продлилось недолго.

Спорить больше было не о чем. Мужчины начали усиленно курить. Дым постепенно заполнил все помещение клуба. Женщины же стали кашлять, проклинать махорочников и расходиться по домам.

Маленькая горячая Нюрка чуть не плакала от противоречивых ощущений. Она уже ни в чем не завидовала прославленной Смолкиной. Но порой казалось ей, что Бороздин не дал Смолкиной высказаться до конца, сбил ее, и тогда Нюрка жалела ее, а порой — что Смолкина жирком заросла и ничего не видит и не слышит и что всякие свиньи ей давно надоели, а до чужих тем более никакого дела нет.

Как только Бороздин объявил собрание закрытым, она подошла к нему — обиженная, растерянная — и спросила:

— Как же нам теперь? Ждать ее или нет на свиноферму?

— Ждать, ждать! Все придем! — твердо пообещал Бороздин.— Не сегодня, так завтра придем.

— А у вас, говорят, пирушка приготовлена?

— Какая такая пирушка? Разве что дадим гостье перекусить, если проголодалась, и все. И не твое это дело.

— Так ждать?

— Ждать, ждать!

Нюрка пошепталась со своими помощницами, и все они отправились на свиноферму.

— Хоть бы домой заглянуть: не знаю, ребята сыты ли? — сказала Лампия.

— А ты сбегай, мы никуда не денемся.

— Нет уж, не пойду, не умрут. А то пробегаешь всю обедню...

— Ну, твое дело! — согласилась Нюрка.

Лампия обиделась:

— Мое дело! У меня вся жизнь на свиней ушла, а ты — мое дело! Не поплясала, не погуляла, все свиньи да свиньи, все недосуг. Замуж вышла, детей наплодила, а за поросятами все в первую очередь следить приходится. Потом уж за детьми. Вот тебе и твое дело! Сама себе не хозяйка я.

— Ну, поехала! — сказала Нюрка.— С чего бы это?

— А что поехала? Тебе легко говорить, ты одинокая, куда захочешь, туда и скочишь.

— Да что я тебе сделала? Кидайся вон на Палагу. Она отмолчится. А то потерпи, скоро Смолкина придет.

Евлампия угомонилась.

Женщины прошли приусадебные участки и двинулись в темноте гуськом по заснеженной тропинке, то и дело оступаясь и проваливаясь в заледеневшие суметы. На небе выступили звезды. Нюрка посмотрела на звезды: не летит ли какая-нибудь? Стояли последние весенние заморозки, они всегда бывают особенно звонки.

Пелагея заговорила:

— Все вокруг нее так и ходят, так и кружатся, вы приметили?

— Нет, не видали! — ответила Лампия.

— А председатель-то наш ничего, умеет обращаться...

— Тоже не заметили.

— Умеет!..

— Ну и она ведь не ахти что, не какая-нибудь... Только что шляпка да кофточка, нерлон-нерлон, а тоже все по бумажке читает. С бумажкой-то и далеко можно пойти, ума не надо.

— А я бы хотела, бабы, чтобы все мужики колесом вокруг меня вертелись,— высказала Палага свою затаенную мечту.

— Позавидовала. У тебя один был — и того не удержала при себе. Молчала бы уж!

Скотный двор при бледном лунном свете казался внушительным и благоустроенным.

Подошли к сторожке. Ступая через порог, Пелагея недостаточно низко пригнулась и, стукнувшись головой о верхний брус дверей, вскрикнула, как под ножом.

— Это бог тебя наказывает, чтобы не завидовала! — сказала ей Нюрка.— Сгибаться надо пониже.

В сторожке было еще тепло, но женщины решили затопить печку снова. Разделись, зажгли лампу, напялили на себя новые синие халатики. Евлампия принесла дров, добавила в котел воды, чтобы не распаять его, развела огонь.

— Придет или не придет? — спросила Нюрка как бы самое себя.

— Придет, коли сказала, не такой она человек,— тоже как бы про себя сказала Палага.

— А что сейчас делать, если и придет? Свиньи спят,— продолжала размышлять Лампия.— Не будить же их, она ведь уважает скотину.

— Придет, я думаю,— повторила Палага.

— Только свиней взбулгачим, если придет.

— Она не к свиньям, она к нам придет,— сказала Нюрка.

— Лучше бы уж завтра,— сладко зевнула Лампия.— Спать хочется. Да и надоело все это. Я тоже споначалу подумала, что она душевная, а взглянула на этот хвост за ней, будто за архиреем, так и поняла: толку не будет. Что она со своей колокольни увидит?

От печки потянуло теплом. Зимой печное тепло особенно уютно, человечно, оно не расслабляет, только клонит ко сну.

Вслед за Ламнией зевнула и Нюрка и, почувствовав усталость во всем теле и какую-то отрешенность, прилегла на дощатые нары против печного чела. Как ни молода, как ни резва была она, а за этот день устала настолько, что ни говорить, ни думать больше ни о чем не хотелось. И верно — лучше бы уж Смолкина не приходила. Лучше бы она пришла завтра. За ночь можно было бы и отдохнуть как следует, и разобраться кое в чем. Вот и Ламния замолчала — тоже устала, видно, спасу нет; сейчас с неделю не будет ни с кем разговаривать. И Палага сидит согнувшись, не прихорашивается, в круглое зеркальце свое не смотрится. Уработалась и она, бедная! А Смолкина еще говорит: «Плохо вы работаете!..» До чего же легко мы обижаем друг друга! А за что? Поросенка мы бережем, дыханием своим его отогреваем — каждый поросенок на учете, в сводке, в отчетах колхоза, а свои ребятишки — верно Ламния говорит! — без призора по домам сидят, накормлены либо нет. За них никто не спросит ни с тебя, ни с председателя, их жизнь ни на каких процентах, ни на каких показателях не отражается. Неладно это, неправильно! Не простят нам этого наши высокие руководители, если узнают обо всем. А как бы сделать, чтобы узнали? Обязательно должны узнать! Был тут инструктор командировочный, выговор влепил за утят — рыбьим жиром не кормят, а рахитичных детей у птичницы не заметил... Нет, не придет сегодня Елена Ивановна Смолкина. И лучше, что не придет. Пускай завтра придет. Сейчас отдохнуть надо...

Пелагея уже прикорнула за печкой и захрапела. На лице ее выступил пот — вероятно, от удовольствия, что заснула наконец.

Нюрка толкнула Ламнию под бок:

— Подвинься, а то буду падать и тебя за собою потащу.

Евламния на нарах подвинулась не пробуждаясь.

Только бы не приходил сегодня никто. Спать, спать, ничего, что дома немножко поволнуются! Только бы не приходили...

●

Но Смолкина пришла и выспаться Нюрке не удалось. У нее даже сохранилось ощущение, что она вовсе не засыпала.

Первым протиснулся в сторожку Гаврила Романович Бороздин. Лицо у него было красное, возбужденное, на лбу, как бисеринки, поблескивали капельки пота, глаза инициативно лучились. Он распахнул пальто, сдернул шапку с головы, оголив залысины, широкие, как речные заливчики, и посыпались распоряжение за распоряжением.

— Принимайте гостей, живо! Поинтересуйтесь, понравился ли наш колхоз Елене Ивановне. Почему у вас темно? Сейчас же зажечь «летучую мышь». У вас две? Зажечь обе! Живо! Почему пар из котла валит? Закрыть котел!.. Нюрка, вставай, чего разлеглась? Лампия, Палага, живо!..

Нюрке показалось, что Бороздин даже пнул Лампию, но это, конечно, ей только показалось.

Лампия молча поднялась с нар и стала зажигать фонари «летучая мышь».

Сама Нюрка вскочила как ошпаренная и, стыдясь, что чуть не заснула, начала одергивать и расправлять на себе насколько можно было новенький синий халатик.

Вторым в дежурку влетел молоденький Семкин. Он сказал только:

— Больше света! Еще больше! Посторонитесь!

И, забравшись с ногами на нары, на которых только что лежала Нюрка, торопливо снял крышку с фотообъектива:

— Ах, темно, темно, черт возьми!

Дверь с улицы снова открылась, и в клубах морозного пара в сторожку вошла Елена Ивановна Смолкина, румяная и помолодевшая после ужина. Появлению ее Бороздин обрадовался так, будто сегодня еще не видал ее.

— Пожалуйте, Елена Ивановна! Пожалуйте!

Фотоаппарат в руках корреспондента, казалось, начал щелкать сам.

Из-за печки навстречу Смолкиной вышла дотоле молчавшая Палага и, к удивлению Нюрки, чуть приседая, как в клубе, повторила нараспев за Бороздиным:

— Пожалуйте, Елена Ивановна!

Из-за смолкинской спины появились все районные товарищи, затем главбух колхоза, зоотехник, кладовщик и многие другие — целая делегация.

«Опять со свитой, надо же!» — подумала Нюрка.

— Здравствуйте еще раз! — сказала Елена Ивановна и начала раздеваться. Потом кивнула в сторону Семкина: — Да не снимай ты здесь, темно ведь!

Палага подкатилась к Смолкиной сзади, приняла шубу и повесила ее на гвоздь в углу.

На груди Елены Ивановны, когда она опускалась на табуретку, заблестели и зазвенели, вися на булавках, награды, откинулись на мгновение от пиджачного сукна и опять легли на свои места.

«Чисто иконостас! — подумала Нюрка.— Напоказ все. А чего перед нами-то хвалиться?» — И никакой зависти опять не было в ее душе.

— Ну, хорошо ли у вас дела идут? — начала Смолкина тот самый долгожданный для Нюрки разговор, и начала именно так, как хотелось Нюрке,— с самого главного.

— Очень мы вас ждали, Елена Ивановна! — обрадовалась Нюрка, стряхивая с себя последние остатки сна.— Очень на вас надеемся.

— Я это понимаю, что надеетесь,— сказала Смолкина.— А дела-то как идут?

Нюрка взглянула искоса на председателя и даже удивилась: до чего спокойно устроился он на лавочке — развалился, разомлел, пот со лба выступает. Барин, да и только! Значит, он ничего не боится, либо не понимает, как много может высказать да выложить сейчас Нюрка, на какие паскудные картинки откроет она глаза Смолкиной. А коли он, председатель, ничего не боится, так ей-то чего бояться? Колхоз она, что ли, ославит? Людей своих подведет? Да нет же, не худа, а добра она желает людям! И начала Нюрка говорить.

Испокон веков живет в сердцах русских людей неистребимая вера в правду. Ни цари, ни их наместники, ни разные самозваные защитники народа не смогли истребить этой святой веры. Тысячи и тысячи правдоискателей шли в тюрьмы и на каторгу, а от правды не отступались. И в конце концов она всегда одерживала победу. Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою колхозную правду? Пусть Нюрка — человек не большой, не сильный, не партийный, но правда-то у нее народная, великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она побеждала! И всегда будет побеждать.

— Много начальников у нас, Елена Ивановна,— как на духу рассказывает Нюрка про свой колхоз, рассказывает, будто размышляет вслух.— А ведь они не сеют, не жнут. Не на них земля-матушка держится. В полях да на фермах одни женщины еще хлопочут. И заставляют нас эти начальники делать то, что ни колхозу, ни людям не выгодно. Охота к труду пропадает, руки опускаются. Никаких праздников не видим, душа перестает красоте радеть. Душа в работе не участвует. Будто мы только для того и живем, чтобы обязательства свои выполнять. Земля осиротела, лежит неухоженная, необласканная, последние соки свои теряет. Поросенок в нашем колхозе дороже человека, поэтому и поросятам жизни нет. Люди на свиней обижаются... Вот какие дела, дорогая Елена Ивановна, недопустимые дела! И надо, чтобы обо всем этом Москва узнала. На нее вся надежда. И чтобы скорей узнала. Самим нам ничего не сделать...

— Правду истинную она говорит! — вставила свое слово Евлампия.

Рассказывает Нюрка о своей жизни и смотрит: слушает ли ее Смолкина и что ответит ей на все это?

И Смолкина ответила ей.

— Понимаю,— ответила ей Смолкина.— Только почему ты мне все про плохое, про отрицательное рассказываешь? Ты мне про хорошее расскажи. О плохом мне уже товарищ Бороз-

дин докладывал. Он сам все видит и понимает не хуже тебя.

Нюрка оглядывается вокруг и удивляется: неужели же и верно ничего нового для нее не сказала она? Вон и Бороздин даже улыбается, Торговаиов смотрит на нее снисходительно, как на маленькую, только что провинившуюся девочку, а корреспондент — тот крутится с фотоаппаратом и щелкает, и щелкает без конца — героев запечатлевает.

— Что молчишь? — спрашивает ее Смолкина.

«И верно, что я молчу?» — думает про себя Нюрка.

— А разве я молчу? — говорит она вслух.— Разве я ничего вам не рассказала?

— Ты про хорошее расскажи.

— Хорошее-то, оно всем видно. Хорошее в жизнь входит без обмана, по темным углам не прячется. От него никому вреда нет. А с плохим тягаться надо, выволакивать его на свет, выводить на чистую воду, чтобы оно у людей на глазах было, не пряталось бы, не вредило бы жизни нашей исподтишка.

— Ты обо мне плохо думаешь? — спросила Смолкина.

— Плохо, Елена Ивановна, уж прости ты меня! — Нюрка в разговоре со Смолкиной тоже перешла на «ты», чего не позволял себе даже Бороздин.— Не таким ты человеком оказалась, как я о тебе предполагала. Не настоящая ты, если у тебя только и заботы, чтобы все плохое прикрыть. Чего боишься? Кому глаза замазываешь? Разве мы с тобой не одним делом заняты, не одной жизнью живем? А тебе бы только самой вперед вылезть...

— Но у меня-то свиноферма образцовая.

— Может, и образцовая, но бываешь ли ты на ней? На тебя ведь теперь вся область работает. И свиньи уже на тебя работают, а не ты на них. Знай в президиуме посиживай да речь по бумажке читай — тяжело ли это? Так чего же ты хвастаешься?..

Нюрка говорила Смолкиной обидные слова, а сама побаивалась: что-то ей потом за эти слова будет? Смолкина — приехала и уехала, была да и нет, а ей, Нюрке, здесь жить да жить. И если ничего не изменится в колхозе, съедят ее за такие прямые слова.

А Смолкина слушала, не нервничала, даже удивительно. Может быть, и она что-то передумывала, переживала... А потом вдруг спрашивает:

— Почему же ты, Нюрка, сама не хочешь героиней стать?

Нюрка удивилась:

— Почему это я не хочу? Я хочу! Вон и Лампия, и Палага тоже хотят. Только чтобы не на чужом горбу ездить. Чтобы перед народом не чваниться да иконостасом своим зазря не греметь, где надо и где не надо. Я не хочу получать

ничего вне очереди и сверх нормы,— сказала она.— Я хочу, чтобы у всех была совесть. В детстве как-то бегала я с ребятишками наперегонки, первая добежала до забора и давай выхваляться перед всеми: вы, мол, что? вы — так! а я — вон я какая! Тогда ребятишки, даже не сговариваясь, взяли да и отколотили меня — будь человеком, если ты первая!

Нюрка говорила и сама не верила тому, что это она говорит: как же осмелилась она такого и столько наговорить?

Гости замерли, ждали, что дальше будет. Ламния и Пелагея не двигались, не дышали. А Смолкина даже шляпку с головы сняла.

— Драчливая ты! — сказала она.

Бороздина эти слова вывели из оцепенения.

— Трудный у нее характер, до невозможности,— подхватил он, оживляясь.— Тяжелейший характер! С ей никто не может сработаться.

Смолкина помолчала, спросила:

— Как же ты при таком характере со свиньями ладишь?

— Ни с кем она не ладит! — еще решительней заявил Бороздин.— Было такое мнение однажды — выдвинуть ее, да вовремя спохватились. Хватили бы мы горюшка с нею, если бы выдвинули.

— Значит, ты и с людьми не ладишь? — продолжала допрашивать Нюрку Смолкина.

— Она и сама с собой не ладит,— отводил душу Бороздин.— Выскочка!

Нюрку Бороздин не интересовал. Она смотрела в острые карие зрачки Смолкиной.

— А ты со всеми ладишь, Елена Ивановна? — дерзко спросила она.

Но Елена Ивановна уже не хотела больше неприятных разговоров и пререканий с этой выскочкой и потому оборвала ее:

— Не будем мы больше с тобой разговаривать. Пошли, показывай свою работу!

Все поднялись со своих мест, начали застегиваться. Бороздин запахнул пальто, надел шапку на голову, взял фонарь; корреспондент Семкин закрыл объектив и защелкнул футляр фотоаппарата; Торгованов поправил шарф на шее.

Поднялись и Ламния с Палагой. Обычно говорливая, Ламния не произнесла на этот раз ни слова, замкнулась, сжала губы и лишь иногда стонала, словно ей воздуху не хватало. А молчаливая, равнодушная ко всему Палага вдруг стала разговорчивой и услужливой, рыхлое тело ее напряглось, лицо замаслилось, улыбка сделалась сладкой до приторности.

— Пожалуйте, Елена Ивановна! — бросилась она к смол-

кинской шубе на гвозде, сняла ее, распахнула, набрасывая на плечи дорогой гостьи.— Пожалуйте! — Слово это Палага впервые услышала только сегодня от самого председателя, и оно ей очень понравилось.

Смолкина отказалась надеть пальто. Она даже шляпку оставила в сторожке.

— Пошли!

Нюрка взяла второй фонарь «летучая мышь» и двинулась к свинарнику впереди всех, освещая снежную тропу — узкую и черную от навоза. За Нюркой пошла Смолкина, за Смолкиной — Бороздин, затем Ламния и Палага в своих ситцевых халатиках, а за ними уже все остальные.

Когда створки широких ворот распахнулись и в свинарник вместе со струей свежего воздуха проник свет, за перегородками в разных углах просторного помещения захрюкало, засопело, зачавкало и свиные рыла стали просовываться сквозь жерди и доски. То тут, то там мелькали острые длинные клыки и на мгновение вспыхивали маленькие злые глазки. В отдельном стойле завозился, поднимаясь на ноги, огромный, вечно голодный, с железной щетиной кабан Крокодил.

Во дворе было сравнительно чисто и не душно, и Бороздин, как показалось Нюрке, пожалел, что накануне направил сюда многочисленную женскую бригаду, которая два дня скребла и подметала полы и перемывала поросят: лучше бы уж показать Смолкиной все как есть, как водится в обычное время, во всем была бы виновата она, Нюрка.

А Елене Ивановне ничего в свинарнике не понравилось. И, стоя у барьера, стала она делать замечания — ворчливо, высокомерно,— и все Нюрке, Нюрке:

— Уплотнить надо свиней, чтобы тепла у них больше было!

— А почему воды в стойлах нет? Воду нужно иметь всегда — в избытке и свежую.

— А почему корыта грязные и гнилые наполовину?

Нюрка начала спорить, обороняться:

— Не гнилые они. Не видите вы, что ли? — она снова стала называть Смолкину на «вы».

— Не вижу я, что ли? — повторила Смолкина ее вопрос, но уже с обратным смыслом.— Гнилые!

— Не гнилые они, а съедены! — зло выкрикнула Нюрка.

— Значит, кормить надо свиней вовремя. Есть у вас корма, товарищ Бороздин? — повернулась Смолкина к председателю.

— Есть, Елена Ивановна, есть! — не дрогнув, подтвердил Бороздин.— Теперь есть, но перебои случаются! Случались перебои!

— Надо же! — ахнула Нюрка.

— Вот видишь! — зло упрекнула ее Смолкина, будто схватила за руку на месте преступления.— А ты очковтирательством занимаешься, на свой колхоз и на руководство наговариваешь!

— Надо же! — возмутилась потрясенная Нюрка.— Да что же вы такую неправду несете?

— Свиньи и те неправду не любят,— вмешалась в разговор Лампия.

— Рацион строгий должен быть. Сухое зерно, корнеплоды, витамины,— высокомерно продолжала Смолкина.— Слыхала ты, что такое рацион?

— Рацион? Да знаете ли вы, чем кормятся наши свиньи?

Потревоженные не вовремя животные шумели и хрюкали все больше и больше, зло повизгивали, словно перед наступлением грозы. В дальнем углу завизжали поросята, Крокодил за перегородкой поднялся на дыбы.

— Вы про рацион свиньям расскажите! — крикнула Евлампия.

— Научный подход наши свиньи любят,— поучала Смолкина.— Ласку любят. Уход и ласковое обращение завсегда себя оправдают и прибавку в весе дадут. Свинью хлебом не корми, а приласкай ее, за ухом ее почеши.

— Вон Крокодила почеши за ухом! — снова выкрикнула Лампия.

«Почеши, почеши его за ухом, приласкай! — со злорадством подумала Нюрка, отчетливо представляя себе, что произошло бы, если бы чужой человек, Смолкина, и впрямь захотела пройти за перегородку приласкать свиней.— Они тебе покажут очковтирательство, они тебе дадут прибавку в весе!..»

Но когда Смолкина вдруг приподняла верхнюю жердочку изгороди и опустила ее на цементный пол, потом так же вынула из гнезда и бросила на пол вторую и третью жерди и, ступив через остальные, направилась в глубь двора, Нюрка испугалась.

— Ой, что вы делаете! — закричала она, хватая Елену Ивановну за рукав нейлоновой кофточки.— Ой, не ходите к ним!

— Пускай идет! — оборвала ее Лампия.

— Свиньям доверять надо! — ответила Елена Ивановна, вырываясь из Нюркиных рук.

— Так они же голодные, как им доверять?

— Свиньи ласку любят. Я ли их не знаю? — самодовольно заявила Смолкина.

— Так бессловесные же они!

— Это наши свиньи! — стояла на своем Елена Ивановна.

— Ой, не ходите! — завизжала Нюрка, как визжат и кричат

только от страшных ночных кошмаров, но ничего уже нельзя было остановить.

— Пускай идет! — настаивала на своем Ламния.— Пусть свиньи покажут ей, где правда!

Крокодил первый опрокинул перегородку. Клыки его были обнажены.

Истошный Нюркин визг слился с хрюканьем и хрипением зверей. Трещала распарываемая шерстяная материя, звенело золото и серебро на цементном унавоженном полу.

Бороздин и все гости кинулись из свинарника в сторожку, стуча сапогами, хлопая дверьми...

●

Нюрка завизжала от страха... На этот Нюркин истошный крик и визг в сторожку ворвались Колька, старший сын Ламнии, и Нюркина мать. Уже светало.

Катерина Егоровна с вечера в ожидании дочери прилегла на печи, забылась в тепле и проспала всю ночь, а на рассвете, испугавшись, что Нюрки все еще нет, постучалась в избу к Евламнии, затем, в страшной тревоге, уже вместе с Колькой, бросилась на свиноферму.

Услышав еще издали нечеловеческий крик Нюрки, мальчишка с воплем распахнул дверь сторожки:

— Мама-а!

— Доченька, жива ли ты? — метнулась Катерина Егоровна к лежавшей на нарах Нюрке и принялась трясти и расталкивать ее.— Да проснись! Что с тобой? Не угорели ли вы тут?

На столе чадил фонарь «летучая мышь» — керосин уже выгорел, дымился один фитиль. В протопившейся печке либо в котле, из-под крышки которого шел парок, что-то там попискивало, как в остывающем самоваре.

Нюрка вскочила с нар и бросилась к матери. На щеке ее краснел широкий рубец от жесткого изголовья.

— Матынька, родненькая! — дрожала она, ничего еще не понимая.

— Что с тобой, доченька? Мы уж думали, не свиньи ли вас съели. Угомонись, опомнись! Неспокойная ты моя душа!

Из-за печки с лавки поднялась и во весь рот зевнула Палага. Припухшие веки ее не раскрывались.

Ламния с трудом отодрала голову от столика — она спала уже не на нарах, не рядом с Нюркой, а сидя за столом. Над нею висел свежий плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!»

— Ты что, сынок? — спросила она Кольку.— Отец-то дома?

— Дома. Он сердится, что ты и ночевать не пришла. Пойдем

домой, мама! — Колька уже понял, что ничего плохого не произошло, в глазах его светилось одно любопытство. Он со смешком посматривал то на одну женщину, то на другую.

— Все живы? — спросил он.

— Все живы, чего нам сделается.

Нюрка тоже стала помаленьку приходить в себя.

— Где Елена Ивановна? — спросила она.

— Какая Елена Ивановна? — не сразу поняла ее мать.

— Смолкина.

— Смолкина? Так они же вчера еще уехали. Сразу после собрания. На трех машинах, и грузовик наш — опять сзади. Говорят, из города секретарь позвонил, легковушка потребовалась в область ехать, а другим приказал к пленуму готовиться.

— А сюда, к нам, что же? — допытывалась Нюрка.

Ответила Катерина Егоровна:

— Заторопились они. Пешком было пошли, да до фермы далеко. А на машинах поехали — забуксовали. Пока выкарабкивались из снегу, время-то ушло. Про секретаря вспомнили — и в город. И Бороздин с ними уехал.

Проснувшаяся окончательно Евлампия притянула к себе сына и обняла его за плечи.

— Эх, Колька, Колька, зря ты все эти картинки наклеивал и бумажные полотна печатал. Я ведь думала, что она и верно свиней придет смотреть.

— Нужны ей наши свиньи! — сказала Нюрка.— Она их теперь как огня боится. Дура она, что ли, чтобы к свиньям в хлев лазить!

Сказав это, Нюрка вдруг захохотала.

— А я сон видела, будто свиньи ее сожрали!

— Что ты говоришь! Вот это бы по совести! Только ведь и свиньи знают, кого можно грызть, кого нельзя. Вот ты, Нюрушка, поглядывай за ними в оба. А этой выскочке бояться их нечего.— Никогда прежде Лампия не называла Нюрку так ласково — Нюрушкой! — и не разговаривала с ней так доверительно, как сейчас.

А Нюрка продолжала хохотать. Платье на ней было помято, широкий домотканый материнский пояс свернулся на талии в трубочку, и теперь она не казалась такой тоненькой, как обычно.

— А я-то, дурочка, бросилась ее защищать, думала, и вправду она такая, думала — она настоящая...

Красный рубец на щеке Нюрки исчез, но теперь все лицо ее стало красным от напряжения, от хохота.

Катерина Егоровна встревожилась:

— Опомнись, что с тобой, доченька? Да иди-ка домой! Отоспись после того, что тебе привиделось, а я тут управлюсь за тебя. Идите и вы тоже,— обратилась она и к Евлампии

и к Пелагее,— я за всех вас покомандую. Корму теперь тут на неделю хватит.— И Катерина Егоровна вся пришла в движение.

— Пойдем, мама, домой,— настаивал и Колька, подавая Евлампии старинную шубу-сибирку.

День начинался заново. Солнце с утра предвещало очередную весеннюю оттепель.

Нюрка продолжала хохотать.

1961

СИРОТА

Когда Павлуша понял, что не осилит троих, он испугался и предусмотрительно заревел на всю улицу. Ребята опешили: как так? — сам первый бросился в драку, сам их поколотил, его не тронули, и орет во все горло.

— У, гнида! — с отвращением и ненавистью прошипел ему в лицо кривоногий некрасивый мальчишка, облизнул с верхней губы соленую кровь и сплюнул ее.— Чего вопишь?

— А ты не лезь.

— Мы на тебя лезли? Чего воешь?

— Бабушке скажу-у.

— Драться не хочешь, да?

— Я устал!

— У, гнида! — зашипел опять мальчишка и, размахнувшись из последних сил, ткнул кулачонком, целясь в щеку Павлуши. Но Павлуша ловко отклонился, и тот упал ему в ноги, ударившись лицом о твердую землю. Кривоногому мальчишке было, по-видимому, очень больно, но он не заплакал, а Павлуша пнул его, лежачего, несколько раз и заревел громче прежнего, хотя на него никто не нападал. Двое других супротивников смотрели, раскрыв рты от удивления.

На рев вышел из соседнего дома мужчина, босой, в нижних домотканых портках, с густыми нечесаными волосами и грязной бородой, и еще с крыльца, скороговоркой и нехотя, словно отмахиваясь от комаров, заворчал:

— Что тут у вас, обломоны? Набросились трое на одного — победители! Всем уши выдеру!

Павлуша наспех вытер глаза и приготовился бежать, потому что увидел перед собой отца того кривоногого мальчишки, который валялся на земле,— какая уж тут Павлуше поддержка! Но... услышав слова: «Набросились трое на одного»,— не побежал, а завыл еще пуще.

— Бесстыжие! — кричал мужик, приближаясь к ним.— Чего делите? Из-за чего воюете?

Сынишка его поднялся с земли и, съежившись, ждал трепки, но не плакал.

— Мы не воюем,— стал оправдываться он.

— Как не воюете?

— Он первый полез. Он у Петьки морковку отнял. Мы его еще не били.

Мужик осмотрел ребятишек: у сынка течет кровь из носу; Петька весь в грязи — тоже, видно, валялся на земле; третий держится за ухо, а у Павлуши хоть и незаметно никаких следов побоев, но вся рожа в слезах...

И он сказал:

— Гм!..

Потом запустил руку в грязную бороду, поскоблил ее, поскоблил затылок, что означало глубокое раздумье, и, наконец, вынес решение.

— Не трогайте его, ребята: он сирота.

●

Так в шесть лет Павлик понял, что быть сиротой не так уж плохо. Понял и запомнил.

А осиротел Павлуша в своей жизни дважды. В первый раз во время войны.

Как-то он вернулся с реки — хотелось есть, хотя живот был до отказа набит щавелем и зелеными дудками,— и застал дома мать, плачущую навзрыд. Мать плакала часто, поэтому он не обратил на это особого внимания, к тому же за печкой, захлебываясь слезами, плакал его младший братик Шурка, тоже, наверно, есть хотел. Все же Павлуша не стал просить еды у матери. Но бабушка его удивила.

По правде сказать, Павлик не надеялся, что ему дадут что-нибудь поесть в середине дня, и потому заранее набил живот луговой зеленью, но и не просить поесть он тоже не мог: вдруг перепадет кусок хлеба либо сухарь, намоченный в соленой воде,— ведь всякое случается, а есть ему всегда хотелось. И он подошел к бабушке почти равнодушно, без всякой надежды на успех.

— Бабушка, поись ба!

И вдруг бабушка, ни слова не говоря, чего никогда раньше не случалось, отдала ему половину молока из Шуркиной чашки. Мало этого, она еще обняла его и капнула ему на голову, на самую макушку, теплую слезу. «Вот те на — и бабка заревела!» — с удивлением отметил он про себя.

— Кушай на здоровье, внученька, сиротинушка ты моя горемычная! — сказала бабка с причетом.

И Павлик все понял.

— Али тятьку убили? — спросил он с интересом, но еще без всякого чувства.



— Убили родителя твоего, внучек, кормильца нашего богоданного убили,— запричитала бабка.— Извещение пришло.

Мать в углу на лавке после этих слов залилась еще безутешнее, а перепуганный Шурка перешел на визг.

Павлуша почти не помнил своего отца и, прислушиваясь к реву, безуспешно старался вызвать в душе сожаление о случившемся, но никакого горя пока не испытывал. Наевшись молока с хлебом, он заплакал вместе со всеми, но лишь потому, что знал: так надо!

На рев и причитания в избу стали заходить соседки и соседские ребятишки. Одни женщины останавливались у порога, другие проходили вперед, крестились на иконы и тоже начинали плакать — сначала беззвучно, вытирая слезы концами платков и фартуками, потом навзрыд, закрывая лицо руками либо тычась друг другу в плечо. Сразу в голос начинали плакать женщины, которые сами получили извещения о смерти. Другие, прежде чем поддаться чужому горю, подолгу стояли, суеверно вытянувшись, и в их широко открытых глазах накапливались тревога и страх за жизнь своих мужей и сыновей. От них еще на днях были письма, но письма эти писались месяца два тому назад, и один бог знает, что могло произойти на войне за это время. Быть может, от солдат еще письма идут, а может, на почте лежат уже извещения о «павших смертью храбрых» и не сегодня завтра почтальон сунет их в окно и кинется к следующей избе со своей черной сумкой.

На причитания бабушки и на крик Шурки женщины не обращали внимания, и если проходили вперед, то становились поближе к матери либо к Павлику и молча гладили его по голове. Наверно, они думали, что Павлик уже понимает свое горе, и жалели его. А он еще ничего не понимал, ему было только хорошо оттого, что его все жалеют. И когда соседский мальчишка шепнул ему на ухо: «У меня что-то есть, пойдем!» — Павлик выскользнул из избы.

— Половину мне!

— Все отдам! — с готовностью согласился мальчишка.

— А чего?

— Там увидишь.

Павлик смутно чувствовал, что ему теперь все можно, что никто ничего для него теперь не пожалеет, и радовался этому.

●

Спустя два года Павлуша осиротел вторично. Война к тому времени уже закончилась, но жить было еще трудно. И он, и его братишка Шурка часто недоедали — корова в личном

хозяйстве была, но молока в доме не оставалось, потому что колхозная молочнотоварная ферма плана своего из года в год не выполняла. Недоставало и хлеба, своего, собранного с приусадебного участка. Не досыта ели ребята, не досыта ела и бабушка Анисья. Но больше всех голодала мать. Что бы ни появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже сыта. А работа была тяжелая, и она не жалела себя. Весной она заболела. Особенно истощали и мучили ее чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни поднимать, ни опускать рук.

— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсоветский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне.— Организм истощен. От работы на время освобождаю, справку дам.

Мать мучилась долго, и все это время семья бедствовала. В правлении колхоза чирьи не считали серьезным заболеванием, от работы ее не освободили. Председатель Прокофий Кузьмич говорил так:

— Если из-за каждого нупыша будем руки опускать, то весь колхоз по миру пустим.

Бабка Анисья сама не хуже любого фельдшера лечила в деревне всех скудающихся: снимала переполох с малых и старых, правила пупы, заговаривала гнилые зубы, чтобы не ныли, выпаривала из тела простуду и ревматизм.

Бывало, напугается чего-нибудь мальчонка, потеряет сон, вскакивает в полночь, кричит не своим голосом. Анисья наденет на него потный хомут, только что снятый с лошади, да повторит трижды немудреный заговор: «Страхи-переполохи, идите в хомут!» — и вся болезнь исчезает, спит мальчонка спокойно, ест в охоту. А ежели какой ребенок еще мал, сосунок еще, и сам на ножках стоять не может, просовывает его Анисья в хомут всего, как есть, а мать принимает его с другой стороны, и так трижды, с тем же причетом — польза наступает сразу почти всегда. Редко кто не верил в Анисью, не обращался к ней. Взялась она лечить и невестку свою: сначала пользовала разными травами, потом стала прикладывать к нарывам лепешки из свежего конского навоза. Но облегченья больная не чувствовала.

Через несколько дней мать умерла от заражения крови.

Прощаясь с Павлом, она долго внушала ему, старшему, как себя вести надо:

— Ты теперь сирота, сынок. Не возвышайся зазря, чтобы люди на тебя не обижались. Людей обижать не будешь — они тебя не оставят. А без них вам не прожить. Бабушка — она гордая, а вам теперь гордиться нельзя. Помни: сирота ты теперь круглая, сиротинушка вечная. Поцелуй маму. Прощай! О Шурке заботься. Ты — старший, понял?

— Понял, мама. Прощай! — ответил Павлик, думая, что мать разрешает ему бежать с ребятишками куда вздумается.

И он убежал с дружками на весь день. В поле они собирали пистики — молодой хвощ, на Мокрушах пили березовый сок, в сосновом мелколесье вырезали пищали.

Домой возвратился Павлик уже круглым сиротой, когда бабушка выла и причитала:

— Сироты мы теперь все, сироты-сиротинушки. Без отца, без матери как жить будем? Умрем все с голоду або что?..

Как это ни странно, а после смерти матери и детям и бабушке стало жить сразу намного легче. Председатель колхоза, должно быть, посчитал себя в чем-то виноватым и потому поставил на правлении колхоза вопрос «О положении дел в семье бывшего фронтовика».

— К сиротам мы обязаны проявлять свое внимание! — сказал председатель.

После этого кладовщик сам принес им полпуда ржаной муки и корзину картошки. «Семенная»,— сказал он. А дня через два послал овсяной крупы — заспы да бутылку льняного масла. Павлик вместе с ним ходил в колхозный продовольственный амбар и после долго рассказывал бабушке, как много там всего.

О сиротах вдруг все начали заботиться.

Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет освободил от молоконалога.

Бабушка ахала и охала.

— Все это нам за отца, ребятушки! — говорила она.— Бог дает!

А ребятушки ели, пили и не спрашивали, кто им все это дает и за что.

Иногда сердобольные соседки несли им то кусок пирога, то горшок каши, либо обноски какой-нибудь детской одежонки, или старые обутки. Но это уже походило на подаяние, и бабушка обижалась.

— Мы не нищие! — говорила она.

Шурка подрос быстро, не по годам вытянулся и окреп, и теперь два брата повсюду носились вместе, как равные товарищи, почти одногодки.

Если сверстники обижали одного из них, другой вступался:

— Не трогайте его, он сирота!

●

Вскоре после смерти матери колхозный пасечник Михайло Лексеич позвал ребятишек к себе на первую выемку меда.

Пасека находилась километрах в трех от деревни, на цветистой луговой полянке близ старого русла реки, которое давно превратилось в озеро. Крутой спуск к озеру зарос мелким березнячком и осинничком, но эта молодая поросль не закры-

вала горизонта. Сверху, с поляны, от избушки пасечника, хорошо была видна даль.

— Что там? — спросил Павлуша, когда немного осмелел.

— Там-то? — переспросил старик.— Там все есть. На крутизне в мелколесье тетерки, конечно, водятся и зайцы бегают, осинку грызут; чуть подальше на озере, в камышах да в осоке, утиные выводки всяких пород; а в самом озере, конечно, рыба, тоже всякая; еще дальше, за озером — ну, там уж луга, сенокосы, а на лугах в траве тоже, конечно, всякая живность таится, там мои пчелки мед добывают; потом идет лес, во-он темная полоса, а в лесу, как положено, конечно, и волки, и лисицы, и даже медведи есть, из птиц — рябчики больше да глухари. Ну и, конечно, нечисть всякая лесная, как положено во всяком темном лесе. Вот ужо подрастете...

Михайло Лексеич разговаривал с ребятами в первый раз и теперь показался Шурке человеком необыкновенной доброты, у него даже глаза были синие, ласковые и теплые, и борода тоже теплая. В этой бороде ему, должно быть, всегда было жарко, но он не снимал ее: жалел, наверно. Двигался Михайло Лексеич неторопливо, говорил тихо, медленно, немного нараспев. А пчелы горячились, но Михайло Лексеич не обижался на них, он словно не замечал, что одна или две пчелки все время возились в его теплой бороде и надоедливо, нудно зудили, жужжали, чтобы вывести его из терпения. А он не выходил из терпения: видно, он всегда был спокоен.

— Вот подрастете, ребятушки, и дам я вам свое ружье, и пойдете вы в темный лес,— говорил нараспев, будто сказку рассказывал, Михайло Лексеич.— И найдете вы не одну колоду диких пчел, и переселим мы их сюда, на нашу пасеку, и будут они, новые пчелы, выносливые, добычливые, и зальемся мы медом по уши, и заживем все богато...

— А ружье для чего? — спросил Шурка.— Пчел отгонять?

— Ружье для медведей — медведей отгонять, пчел охранять.

— А зачем по уши?

— Чего «по уши»?

— «Зальемся медом по уши...»

— А вот дам я вам меду, и будут у вас в меду и носы и уши.

— Поглядим! — весело сказал Павлик.

— Пойдемте в сторожку,— пригласил их дед.

— А когда мед доставать будем?

— Мед не достают, а качают.

— Как это качают?

Они вошли в избушку пасечника, маленькую, как банька, с одним окном, с маленькой печкой. Между печкой и сте-

ной лежали доски, прикрытые старым полушубком,— дедова постель. На полушубке спала, тихо и смешно посапывая, маленькая курносенькая девчонка, внучка Михайлы Лексеича, Нюрка. Губы и круглые щеки ее были перепачканы медом, к кончику носа прилип клочок шерсти, и шерсть шевелилась от Нюркиного дыхания. На стенах висели дымогары и сетки, которые пчеловоды надевают на голову, когда идут к ульям,— Михайло Лексеич не надевал их никогда. Посреди избушки стояла бочка-медогонка, по краям ее ползали пчелы. Пчелы бились и на оконном стекле — сытые, ленивые. От всего пахло медом, только от дымогаров — чадом, дымком.

— Так вот и качают,— начал объяснять Михайло Лексеич, подойдя к медогонке.— Видите, в бочке вроде ветряной мельницы. Вставишь в эти крылья рамки с сотами и крутишь и крутишь, мед разлетается по стенкам бочки и стекает на дно.

Дед взялся за металлическую ручку и раскрутил мельницу до свиста, до стука.

Ребята отступили.

Павлик заметил:

— Значит, не качают, а вертят.

— А сейчас я вас медом угощу! — сказал Михайло Лексеич и, подняв западню, неторопливо спустился в подполье.

— Ну и старик! — прошептал Павлик Шурке.— Никогда бы он нас раньше сюда не пустил.

— Он добрый! — не согласился Шурка с братом.

— Добрый!

Михайло Лексеич вынес из подполья подойник со старым, засахарившимся медом вместе с обрезками вощины и поставил перед ребятишками.

— С батькой-то вашим мы на охоту вместе хаживали. Хороший был парень! И матка ничего, бог ее прибрал.— И дед вздохнул.

Ребята начали сосредоточенно жевать сладкий воск, складывая выжеванные куски на подоконник.

— А мед качать будешь?

— Сейчас начну. Только вы домой пойдете, а то пчелы искусают.

— Мы ничего не боимся.

— Хвастунишки,— ласково сказал старик.— Ничего не бояться нельзя. Надо бояться.

За стеной избушки послышался говор. Старик насторожился, встал и открыл дверь. Прямо против входа стояла кучка ребятишек, сверстников Павлуши.

Некоторые, что потрусливее, тотчас шагнули в кусты.

— Вам чего надо? Опять пришли? — крикнул им Михайло Лексеич, и вся ласковость в голосе его исчезла.

— А им чего надо? — дерзко ответил кривоногий, худосочный мальчишка лет семи-восьми в солдатской пилотке и кивнул головой на Шурку и Павлушу.

— Не твоего ума дело.

— Моего!

— Трепки захотел, разбойник? — спросил дед.

— Меду захотел!

— А потом разговоров не оберешься. Давно ли я давал тебе меду?

— Давно!

— Ну и хватит, а то брюхо заболит.

— Дай меду!

— Вот я тебе дам меду. Штаны спущу да крапивой!

Ребятишки скрылись в лиственной рощице.

На полушубке завозилась курносенькая Нюрка, привстала, потерла ручонкой глаза, нос, и медовые пальцы ее склеились в кулаке.

— Спи, спи, чего ты, внученька? — снова ласково заворковал дед.

— Не хочу спать,— сказала Нюрка.

— А меду хочешь?

— Не хочу меду.

— Так приляг еще. Разбудили тебя эти разбойники?

Скоро ушли с пасеки и Павлик с Шуркой. По дороге Шурка думал и говорил только о пасеке.

— Я бы всю жизнь пчел обхаживал и спал бы здесь!

— Ну да? — сказал Павлик.— Нажрался бы раз до отвала меду и — все.

— Тут жить хорошо, красиво,— продолжал Шурка.— Выйдешь из избушки и смотри во все стороны.

— Ну да, во все стороны,— опять не согласился Павлик.— Видел, как он ребятишек во все стороны?

— Он добрый! — твердо заявил Шурка.

— Ладно, добрый,— не стал спорить Павлик.— Мы теперь всегда мед есть будем!

●

В школу Павлик и Шурка поступили одновременно — Павлуша с запозданием года на два, а Шурка на год раньше, чем следовало, и учиться Павлуше было легко, а Шурка отставал. Зато, не в пример Павлику, он рос крепышом, круглолицым, устойчивым на ногах, почти никогда не простужался, не болел ни насморком, ни гриппом. Павлик же был длинен, худ, часто кашлял, из-за постоянных насморков привык держать рот открытым, отчего видом своим вызывал жалость и казался иногда простачком, хотя не был ни глуп, ни простодушен. Незаметно сложилось мнение, что Павел создан для ученья, для умствен-

ного труда, а Шурка — для земли, для деревни, и когда братья окончили свою деревенскую начальную школу, все решили, что старший должен учиться дальше, а Шурка будет работать в колхозе: нельзя же бабушку оставлять одну. Шурка смирился с этим.

Павлика отвезли за двенадцать километров в село, где была семилетняя школа. Отвез его сам председатель колхоза, устроил на постой у своих дальних родственников, сказал, чтоб не сомневались — никакая услуга за ним не пропадет, а в крайнем случае бабка Павлуши будет платить им по десятке в месяц за хлопоты; потом отвел Павла к директору школы и от имени правления колхоза попросил, чтобы директор не оставлял сироту без присмотра и без своего человеческого внимания.

— Смену себе готовлю! — сказал он.— Нам самим поучиться как следует не довелось, так пусть хоть наши ребятишки выучатся. Вот о них и хлопочу.

— Тэк, тэк, понимаю, Прокофий Кузьмич,— сказал директор.— Хорошее дело — забота о смене.

— А как же! И о людях заботу проявляем. Это уж как положено. Семья бывшего фронтовика...

— Хорошо это,— повторил директор и улыбнулся.— Только, надо полагать, у вас есть ко мне еще какое-нибудь дело? Попутное, так сказать?

Директор был широкоплечий мужчина, усатый и загорелый настолько, что казался прокопченным насквозь. Он достаточно хорошо знал председателя колхоза Прокофия Кузьмича и не поверил, что тот может приехать за двенадцать километров только ради устройства на учебу какого-то сироты. В течение многих лет учителя и старшеклассники каждую осень проводили на колхозных полях, а не в классах,— жали рожь и овес серпами, теребили лен, копали картошку, вывозили из скотных дворов навоз и раскидывали его под плуг, делали многое такое, что требует простой физической силы. Нередко работа находилась для них и весной. Председатели колхозов и в первую голову Прокофий Кузьмич утверждали, что это и есть соединение учебы с производственным трудом, учителя же объясняли все проще: в колхозах не хватает рабочих рук. Сам директор школы любил физический труд больше, чем занятия у классной доски — он преподавал математику,— и охотно соглашался выводить на поля всю школу.

Гостя он принимал в своем кабинете: над письменным его столом широко раскинулись зеленые листья фикуса.

— Так какое же попутное дело привело вас в нашу даль в уборочное время? — спросил он Прокофия Кузьмича и потянул себя за усы книзу — такова была его привычка.

— Попутное дельце, конечно, есть, нельзя без попутного

дельца,— согласился Прокофий Кузьмич.— Вы нас выручали частенько, я не отрицаю. Может быть, и в этом году выручите?

— А кто будет смену вам готовить? — улыбнулся директор, хотя обоим уже было ясно, о чем и как нужно договариваться.— Самим поучиться не довелось, так пусть хоть ребятишки поучатся, так ведь?

— Так-то оно так, Аристарх Николаевич, конечно. Но все-таки и без практики ребятам не ученье. Да и вам что за жизнь без работы — вон вы какой детинушка! А я бы грузовичок послал за вами немедленно.

— На сколько вы человек рассчитываете?

— Да сколько грузовик подымет.

— С райкомом договаривались? Или с районо?

— Вот ведь вы какой, Аристарх Николаевич! Неужто мы сами не сумеем столковаться: вы — директор, я — председатель?.. Сумеем и должны, я так полагаю.

— Тэк, тэк, тэк! — все еще как бы упорствовал директор.— Вы — председатель, я — директор, все так. Только односторонние у нас обязательства, вот что плохо. Мы вам — рабочую силу, а вы нам — ничего. А на заре революции в школах наших горячие завтраки и даже обеды были.

— Ну что вы от нас хотите? — удивился Прокофий Кузьмич.

— Может, помогли бы организовать горячие завтраки? Овощей бы подбросили, продуктов, одним словом.

— А разве наши овощи не государству идут? Все сдаем государству, чего вам обижаться? Вы с государства требуйте.

— Все — еще не значит много. За вас, дорогой Прокофий Кузьмич, всю жизнь другие расплачиваются.

— Что поделаешь, Аристарх Николаевич, мы слабые, нам и должны помогать. Отстающих вытягивать надо.

— Тэк, тэк, тэк! — раздумчиво повторял директор.— Не такие уж вы слабые. Лучше бы вы не прибеднялись.

— Кто знает, лучше ли? — засмеявшись, возразил председатель колхоза.— К сильным вы на выручку не пойдете, верно ведь? А слабому да отстающему вы обязаны помочь. Советская власть не позволит обижать сирых. Неправду я говорю?

Председатель колхоза говорил о вещах весьма серьезных, но так, что при случае все свои слова мог обратить в шутку. И директор понял это.

— Да, действительно в слабых ходить иногда легче,— мрачно сказал он,— с них меньше спрашивается. Ну, где ваш сирота? Ему ведь тоже помогать надо будет? — завершил он разговор и потянул усы книзу.

— А как с уборочкой-то, Аристарх Николаевич? — не сдавался председатель.

— Буду ждать директивных указаний из района,— сказал директор. Но это означало, что он соглашается с председателем.

●

Бабушка часто рассказывала внукам об отце.

Шурка отца помнить не мог, но, по рассказам бабушки, представлял его солдатом, увешанным с головы до ног разным оружием: на спине крест-накрест две винтовки, на груди автомат, на поясе гранаты вроде бутылок и серебряная сабля, из каждого кармана торчат отнятые у немцев пистолеты, за голенищами сапог тоже пистолеты и гранаты.

Павлик спрашивал бабушку:

— Хороший он был, бабушка, наш батько?

— Кабы не хороший был, не так бы вам сейчас и жилось. Храбрый был, работящий был, справедливый. Курицы не обидит, а медведь в лесу лучше ему на глаза не кажись, живо спроворит: застрелит або топором зарубит. Когда на войну пошел — вся деревня в голос ревела. А он и говорит: буду так воевать, что вся грудь в крестах — в орденах, значит,— або голова в кустах. Вот оно так и вышло.

В Шуркином представлении постепенно сложился образ былинного богатыря. И стало ему казаться, что он даже запомнил, как провожала отца на войну вся деревня. Ранним утром высыпал народ на улицу, и все смотрят в сторону поля, чего-то ждут. Петухи давно с насестов послетали, солнце вылезло из-за крыш, над землей плывет музыка — либо гармони играют, либо радио в домах включили на полную катушку. Из конторы вышел на крыльцо председатель колхоза Прокофий Кузьмич, поднял руку и начал кричать:

«Пойте все! Пойте все!»

Музыка заиграла еще громче, и все запели:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Широкие ворота распахнулись, и в деревню, по дороге из города, вошел танк, огромный и медлительный, будто слон, и с таким же слоновьим хоботом, вскинутым на уровень избяных коньков.

Народ расступился на обе стороны, танк подошел к конторе, и Шуркин отец в полном своем вооружении переступил с крыльца правления колхоза прямо на броню танка. Музыка усилилась, песня загремела так, что даже ветер поднялся в палисадниках, а отец поклонился народу и сказал: «Або грудь в крестах, або голова в кустах!» — и танк медленно развернулся и понес отца на войну. «Откройте ворота в поле, шире откройте!» — закричал Прокофий Кузьмич, потому что ворота

в поле, через которые ездили в город, всегда были закрытыми.

Но никто не решился бежать впереди танка, и он, черный, тяжелый, под песню и музыку раздавил эти ворота, будто их не было вовсе. Когда танк вышел в поле, отец-богатырь, стоявший на броне и державшийся одной рукой за поднятый хобот орудия, махнул саблей, и деревянные остатки изгороди вспыхнули ярким пламенем. За этим пламенем и дымом танк исчез. Вместе с ним исчез и отец Шуркин. А в деревне все еще пели «Вставай, страна огромная...», и гремела страшная и радостная музыка, и ветер гнул деревья до земли.

Все происходило именно так, иначе и быть не могло. Смутные представления об этом событии отложились, должно быть, в каком-то дальнем уголке Шуркиной детской памяти и становились все яснее и яснее по мере того, как он взрослел.

Шурка решил, что он обязательно должен вырасти таким же, каким был его отец,— защитником родной земли: бесстрашным, вооруженным с головы до ног, всеми любимым,— и ни перед кем не кланяться, и за всю жизнь не обидеть ни одной курицы.

Конечно, он подражал старшему брату во всем и тоже иногда плаксиво ссылался на свое сиротство, но делал это, лишь когда требовалось поддержать брата или защитить его. Если б у него была такая же сила, как у отца, он, конечно, защитил бы брата не жалостливыми словами. Только вот оружия у него не хватало, особенно если иметь в виду оружие настоящее, а не самодельное. Главное — надо было вырасти. Важнее задачи на сегодняшний день он не знал.

— Бабушка, а где батько оружие доставал? — спрашивал он не раз, требуя все больших уточнений.

— Оружие-то? — раздумывала Анисья, как бы ему ответить получше.— Время такое было, что всем храбрым людям оружие на руки выдавали, под расписку. А батько у тебя был знаешь какой? Вот какой! Никому слова «наплевать» зря не говаривал, все ласково да обходительно, ни одной мухи за всю жизнь не раздавил, а силушкой владел непомерной.

— Верно, что его на танке из дому увезли?

— Все верно, внучек! В ту пору в селе храбрым по танку давали. А кабы не это, разве бы одолеть нам нечисть эту поганую? Нипочем бы не одолеть.

— А он был ученый? — вмешивался в разговор Павлик.

— Кто?

— Тятька наш.

— Лишнего ученья не было, только ведь не одним ученьем ум человеку дается. Кому-то надо и землю пахать. Вот ты у нас будешь учиться, а Шурик будет дома, он младший, его судьба такая.

Однажды бабушка нашла в сундучке среди отцовских треугольных писем обыкновенный конверт, и в нем фотографию.

— Вот он, кормилец наш! — кинулась она с находкой к свету.— Ну-ко, смотрите, ребята!

— Кто это? — спросил Шурка.

— Ты что, ополоумел або как? Батько это!

Солдат без оружия, в кирзовых сапогах, в помятой гимнастерке без погон, без орденов совершенно не походил на праздничного паренька в белой вышитой рубашке с поясными белыми кистями до колен, снимок с которого висел на стенке около божницы, и на того отца-богатыря, проводы которого на войну запомнились Шурке, как ему казалось, на веки вечные. Солдат походил на пахаря, на колхозного бригадира, только не на воина.

Это был обыкновенный и очень понятный деревенский мужик, свой хлебороб, а не тот полусказочный Илья Муромец, которого ясно видел в своем воображении Шурка.

— Кем он был, бабушка? — спросил Павлик, пристально разглядывая своего отца.

— Как это кем был?

— Что в колхозе делал?

— В колхозе-то? Все делал. Что надо было, то и делал. Колхозник ведь!

— А снимался где? — спросил Шурка.

— На войне снимался або где, не знаю.

— Без оружия?

Бабушка рассмеялась.

— Тебе бы все ружья да ружья, экой какой! А он положил ружье свое на землю и снялся — вот и все тут.

Шурка это понял: и верно, почему солдат должен быть всегда при оружии? А на отдыхе у ключа с живой водой? А на пиру за дубовыми столами, за скатертями самобранными? Правда, вид у отца не такой уж могучий, каким он представлялся,— в плечах, пожалуй, не косая сажень, но это был его отец, и он вправду был солдатом и защищал советскую землю и, наверно, дошел до Берлина вместе со всеми. Значит, все так, все правильно! И до войны он был колхозником и не гнушался никакой работой, делал все, что требовалось, и его любили.

Шурка ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь в колхозе помянул отца недобром, напротив, его только хвалили. А плохого человека даже после смерти не будут все хвалить в один голос. Павлику и Шурке нередко ставили отца в пример. Но Павлик пошел в ученье и не мог во всем подражать отцу, у него жизнь началась совсем иная. А вот Шурка мог подражать отцу во всем, потому что сам стал заниматься тем же, чем занимался всю жизнь его отец. И Шурка очень хотел походить на своего отца.

●

Интересно менять места на земле. Сменишь место, и будто все в жизни твоей начинается заново.

Изба, в которой Павел должен был прожить несколько лет, была совершенно такой же, как все деревенские избы: при входе, над головой,— полати; от входа справа — большая русская печь, при ней лежанка-подтопок на время зимних морозов; за пекаркой — кухня, кое-где ее зовут кутьей; там чело — там стряпают, варят, разливают парное молоко, стирают белье; там же вход в подполье, в го́лбец,— это либо дверь между стеной и печкой, либо западня прямо на середине пола и спуск под пол, как в трюм парохода. В кухне же — судёнка, вроде низкого посудного шкафа, набитая до отказа блюдами, глиняными плошками, алюминиевыми тазиками и чайными чашками, а чуть повыше — полицы с глиняными горшками и кринками, с подойницей, с чугунками. От главной половины избы кухня отделена дощатой заборкой (в иных избах — занавеской). В этой главной половине напротив входа — сутный угол, в котором вперемежку с иконами висят портреты разных больших и небольших людей, а по обе стороны от обеденного стола тянутся вдоль стен массивные сосновые лавки-скамьи.

Изба как изба. Но для Павла все в ней казалось новым и необыкновенным, потому что это была изба не своя, и, поскольку Павел считался в ней квартирантом, у дощатой заборки выделен был для него особый уголок, куда хозяин дома Иван Тимофеевич поставил даже нечто вроде столика, чтобы постоялец мог сидя заниматься своими науками. На заборке Павел повесил листок из тетрадки с расписанием уроков да вырезанную из газеты фотографию лыжника, а на столик положил несколько учебников.

Спал он на полатях вместе с хозяйскими сыновьями — Васюткой и Антоном. Васютка был пареньком плутоватым, озорным, дерзким, примерно одного возраста с Павлом, и учиться стал с ним в одном классе, а вялому и простодушному Антону едва исполнилось восемь лет, и он больше всего на свете гордился тем, что стал наконец учеником первого класса: значит, как-то поравнялся со своим старшим братом.

На полатях ребята познакомились друг с другом.

— Ты уроки учить будешь? — спросил Васютка Павла.

— Как? — раскрыл Павел рот от удивления.

— Так! Я никогда не учу. Лучше на реку бегать, рыбу удить. А зима начнется — на лыжах ходить будем.

— Разве уроки не задают? — поразился Павел.

— Задают. Тятьке тоже в колхозе много задают, а он чего делает?..

Павлу на первых порах учеба и в этой школе давалась легко,

и они подружились с Васюткой. Школьные отметки у обоих были хорошие, и ребята ждали только окончания уроков, чтобы схватить удочки да убежать на реку. Дома они почти ничем не занимались.

Отец Васютки тоже не много занимался делами, хотя среди начальства считался неплохим работником. Он состоял в разных комиссиях, был то бригадиром, то каким-нибудь учетчиком, много выступал на собраниях и даже на районных активах, следил за тем, чтобы работали другие, постоянно кого-то хвалил и выдвигал, кого-то отчитывал — словом, руководил. Время от времени он признавал и свои ошибки, и это производило на всех хорошее впечатление. Здоровье у Ивана Тимофеевича было выдающееся, он мог подолгу и помногу пить в нужной компании и не напиваться, а приходил домой и принимался рассказывать о своей жизни сыновьям и квартиранту Павлуше.

— Главное — не завалиться! — говорил он для начала, имея в виду количество выпитого.— И вообще надо не заваливаться. А на жизнь заработать всегда можно. Вот приехал я как-то в Москву. То-се, туда-сюда — деньги идут. Не стало денег. Как же так: нужный человек, а без денег? Поговорил с одним, с другим. «Колхозник?» — спрашивают. «Колхозник, говорю, руководящий!» — «Член партии?» — «Член».— «Иди, говорят, на такой-то этаж, в такой-то отдел, скажи — приезжий, руководящий колхозник, поиздержался, денег на дорогу нет, там очень чутко к этому относятся». Я пришел. Так и так, мол... И не успел я поговорить как следует, подают бланк: пиши заявление. Я стал писать. «Покороче»,— говорят. Я покороче. «Распишитесь, говорят, и получите деньги». Я расписался и тут же получил. Фу-ты черт! А им все равно, у них фонды. Очень мне это понравилось — никакой волокиты. Конечно, для них я — капля в море, но у меня-то впечатление осталось хорошее. Одного себе простить не могу: мало попросил. Ну что мне стоило написать цифру покруглее? Им-то все равно, а для меня — заработок. Ну, в общем, понравилось!

Павел слушал и удивлялся: как все просто — зашел, написал заявление и получил.

Васютка начинал спрашивать отца:

— Как там в Москве, тятя, расскажи?

— Разве я мало рассказывал?

— Расскажи, тятя, как там?

— Что тебе Москва? Ты смотри, как здесь. Учиться, ребята, надо, вот что я вам скажу. Без ученья никуда. Только и с ученьем можно в дураках всю жизнь проходить, а на дураках воду возят. Активность надо проявлять, вот что я вам скажу, выступать надо, заинтересованность показывать. Говорить не научишься — жить не научишься! Ты чего рот раскрыл? — вдруг обращался он к Павлу.

А Павел слушал. Все в этом доме для него было интересно, и он не тосковал ни по своим родным, ни по своей деревне. К тому же Шурка чуть ли не каждую неделю навещал его, не считаясь ни с какой погодой, возил ему пироги, картошку, мясо, молоко — все, что скапливала и приготовляла бабушка. Павел, видимо, понимал, чего это ей стоило, и умел быть благодарным: передавал бабушке поклоны и даже писал письма. А бабушка частенько с надеждой говорила:

— Вот выучится — за все отплатит, все возворотит! — Правда, при этом она добавляла иногда: — Все возворотит, коли совесть не потеряет.

Шурка нередко навещал Павла и пешком, если в колхозе не оказывалось свободной лошади, либо пересылал еду с попутчиками.

В общем, Павлуша не голодал. Но все же, когда хозяйская семья садилась за обед, за ужин, он торчал в стороне и вздыхал, пока не приглашали за стол и его.

После ужина подвыпивший Иван Тимофеевич хвастался своей силой. Он становился раскорякой посреди избы, выпячивал живот и подзывал либо Васютку, либо Павла:

— А ну, давай!

Васютка брал от печи сосновое полено и привычно, со всего размаха бил поленом по отцовскому брюху. Иван Тимофеевич, даже не покачнувшись, выдыхал воздух и говорил Павлу:

— Теперь ты!

Павел первое время боялся бить изо всей силы, ему казалось, что случится какое-нибудь несчастье. Тогда Иван Тимофеевич обижался.

— Осторожничаешь? Эдак из тебя никакого толку не выйдет. Давай еще! Только ребром не ударяй, держи полено так, чтобы попало круглой стороной. Ну!

Павел бил снова. Раздавался мягкий, невыразительный звук, полено отскакивало от бригадирского брюха, как от туго надутой резиновой подушки, и Иван Тимофеевич снова садился за стол, чтобы выпить еще два-три стакана чаю. В зимнее время ребята приносили ему из сеней с мороза огромный матрас, набитый соломой, ватное одеяло и делали еще что-нибудь по его требованию, иногда просто чудачили, читали таблицу умножения шиворот-навыворот, а он хохотал.

Однажды Павел ударил поленом неудачно, выше, чем следует, и Иван Тимофеевич задал ему трепку.

— Бей, да знай, кого бьешь, дурак!

Позднее дружба с Васюткой у Павла разладилась, хозяйский сын невзлюбил квартиранта. Но это произошло не сразу. Неторопливый Павел не мог все же угнаться за смышленым и быстрым своим дружком. Способности его оказались хуже, чем у Васютки, и, когда он перестал заниматься на дому, ученье стало даваться ему с трудом. Павел не всегда успевал запи-

сывать, что говорили учителя на уроках. Поначалу Васютка охотно давал ему свои тетради.

— Ладно, списывай, потом сам не зевай!

Но Павел зевал снова и снова.

— Ты рот не раскрывай, раззява! — обижался Васютка.— Списывай, на!

Павел переписывал Васюткины тетради и постепенно стал подражать ему во всем, даже почерк его перенял. Он повторял Васюткины поговорки и прибаутки, копировал его повадки, походку. Васютка увлекался рисованием — и Павел стал рисовать, Васютка набросился на Майн Рида — и Павел тоже. Но Павел все делал медленно. Пока он читал «Всадника без головы», Васютка успел прочитать и «Отважную охотницу», и «Мароны», и «Охотников за черепами». Мало этого, в школе выяснилось, что и домашние задания у Васютки все готовы, а Павел то с одним не справится, то другое что не выполнит.

Пришло время, классный руководитель поручил Василию Бобкову взять шефство над отстающим Павлом Мамыкиным.

— А если он всю жизнь будет отставать? — спросил Васютка.

— Это твоя общественная нагрузка,— разъяснил ему учитель.— Твой общественный долг!

— Ничего я ему не должен!

— Бобков, я призываю тебя к порядку.

Бобков подчинился.

Вернутся они с занятий, Васютка наскоро поест — и на лыжи. Павел — тоже.

— А уроки сделал? — спрашивает его Васютка.

— Когда? Мы только пришли.

— Тогда садись решай задачи.

— А ты?

— А я пойду покатаюсь.

— А задачи?

— Я решил за уроком.

— Я перепишу потом у тебя.

— А сочинение по русскому тоже мое сдашь?

— От тебя же не убудет? — искренне удивлялся Павел.

Но Васютка все-таки злился всерьез и все чаще.

— Ты так и будешь всю жизнь на чужой шее ездить? — спрашивал он.

Васютка стал охотнее проводить свободное время со своим младшим братом, чем с Павлом. Антона уроками еще не загружали, и его можно было таскать с собой и на лыжах и на санках. Павел обижался и обиды свои вымещал на добродушном Антоне. Он прятал Антошкины лыжи, пачкал его тетради, однажды положил ему в карман несколько папирос из пачки, забытой Иваном Тимофеевичем на подоконнике, и Ва-

сютка, найдя эти папиросы, пожаловался отцу, решив, что его братишка уже курит. Отец без долгих расспросов и следствий выпорол парнишку.

— Кто тебя плохому учит, кто тебя воровству учит? — кричал он, совершенно рассвирепев от одного предположения, что в доме от него, от большака, что-то скрывают.— Разве я учу тебя воровать? Пусть все воруют, а ты не смей! Не смей себя марать, у тебя еще все впереди, тебе жить надо.

Настоящий виновник переполоха так и не был обнаружен.

●

Лишившись Васюткиной поддержки, Павел стал учиться плохо и в пятом классе просидел два года. В насмешку над его великовозрастностью одноклассники да и старшие ученики то и дело спрашивали его: «Когда женишься?» Если обидчик был не очень крепок, Павел шел на него с кулаками в открытую, в противном случае действовал исподтишка. Школа со всеми ее порядками, даже здание ее — деревянное, двухэтажное, с большими барачными окнами,— стала ему немилой. Иногда Павел утешал себя, вспоминая слова Ивана Тимофеевича, что и с учением можно всю жизнь в дураках проходить, и пробовал «проявлять активность» на школьных собраниях.

Однажды это помогло. Поставили ему двойку по русскому языку, а на школьном совете нашелся защитник: «Надо ученика рассматривать в комплексе,— сказала о нем пионервожатая, она же преподавательница истории СССР.— Мамыкин — человек с общественным сознанием, растет в активисты. Это качество для нашего времени великое. Надо оказать Мамыкину моральную поддержку по всем линиям!..»

Преподавательницу истории поддержали, отметку Мамыкину повысили. Но это случилось только один раз. Больше общественное сознание Павла на оценке его успеваемости не сказывалось. И немилым стало ему даже село, где находилась школа: шумное, многолюдное, на высоком берегу реки, открытое всем ветрам зимой и летом. Павел на воскресные дни все чаще стал уходить вместе с другими учениками пешком в свою родную деревню, к бабушке, домой, где всегда для него были и горячие блины, и картофельные тетери с маслом и где его никто не обижал.

Павлуша тоже старался угодить своей бабушке, как мог. Во время весенних оттепелей ученики собирали граблями для школьного участка навоз на базарной площади близ сельпо и на местах коновязей. Павел на эту работу ходил охотно, потому что в вытаявшей коричневой кашице нет-нет да и мелькали серебряные и медные монеты, оброненные зимой приезжими колхозниками. Как многие другие, он искал эти деньги, но собирал их не для себя, а для бабушки. Когда в

фанерной копилочке, сколоченной им самим, набралось до двух десятков рублей, Павел разложил монеты стопками по их достоинству, завернул в бумагу каждую стопку в отдельности, перевязал нитками и передал бабушке сам, из рук в руки, как первый в жизни подарок. Анисья сначала испугалась, не начал ли ее внучек воровать, но, узнав, откуда деньги, обрадовалась им несказанно, показывала их и Шурке и соседкам, хвалилась:

— Понимающий растет человек, справедливый. Вот подождите, то ли еще будет!

Наевшись и отоспавшись, Павел ходил по улице, задрав голову, и, как в строю, высоко поднимал свои длинные ноги: знай наших! Вместе с ним маршировали и его товарищи по школе. Их никто не спрашивал, какие у них отметки,— достаточно того, что учатся, значит, не зря хлеб едят, выйдут в люди и не будут носом землю рыть. Взрослые смотрели на них с уважением, разговаривали по меньшей мере как с равными, а некоторые даже с оттенком подобострастности, словно с будущими светилами: кто их знает, может, все в начальники выйдут, и если не устроятся где-нибудь на районных постах, то в своем колхозе все равно сядут в контору, и с этим шутить нельзя. Ребята чувствовали, какое им отведено место на земле, и держали себя с достоинством, ни в какие драки не вступали, скандалов не затевали, да никто из сверстников и не посмел бы скандалить с ними. Подростки смотрели на выдающихся земляков с завистью и почтительностью, на какие только способны были в своем неустоявшемся возрасте.

А в последний год Павел начал даже посещать молодежные беседки, подсаживался к взрослым девушкам, привыкал разговаривать, шутить.

Беседки устраивались в избах то у одной девушки, то у другой понедельно. А иногда целую зиму в одной и той же избе у каких-нибудь бессемейных стариков, которым каждая девушка оплачивала свою очередь. Парни помещения не нанимали — так было заведено издавна.

Девушки собирались на беседки с вечера с рукодельем — вязаньем, вышивкой, чаще всего с прясницами — и, рассаживаясь на лавках вдоль стен, крутили веретена, пряли лен и льняную кудель. Парни же толкались без всякой работы, переходили от девушки к девушке, иногда садились к ним на колени — тоже так было заведено от века.

Павел, конечно, не думал еще ни о невесте, ни даже о любви. Чаще всего он садился рядом с Нюркой, внучкой пасечника Михайлы Лексеича. Она подросла, считала себя уже взрослой, хотя на взрослую еще не походила. Невысокая и чересчур тихая, она была принята в круг взрослых девушек-невест несколько раньше обычного лишь потому, что слыла в колхозе работящей и была старшей дочерью в семье.

В деревне Нюрку прозвали Молчуньей за ее необыкновенную стеснительность и немногословие. Может быть, Павел потому и сидел подолгу рядом с нею, что можно было ни о чем не говорить. Она молчала, и Павел молчал. Она часами сидела, пряла и ни о чем не спрашивала Павла, разве что только молча, глазами, которые изредка поднимала на него, и Павел, в свою очередь, ни о чем не спрашивал ее, и не дразнил, и не щипал, и не садился к ней на колени, как это делали другие, менее робкие ребята. За эти его великие достоинства Нюрка Молчунья прощала Павлу даже то, что у него часто был приоткрыт рот.

Летние каникулы Павел проводил дома в своем колхозе, но в полную силу не работал, да никто и не заставлял его работать, потому что ему была уготована иная жизнь. Сходит он, бывало, вместе со всеми на дальний сенокос и косу и грабли с собой возьмет, но не столько косит и гребет сено, сколько держится поближе к бригадирам, бродит по пожням да по перелескам, ест красную смородину, спугивает рябчиков и тетерок, гоняется за только что появившимися на свет зайчишками. Вечером он заберется в бревенчатый шалаш-избушку на душистое сено, отдыхает, пока не вернутся работники, а если они слишком задерживаются, нарубит сухих дров, разложит костер посреди избушки, повесит чайники и котелки с водой, а порой даже картошки для щей начистит, если старик кашевар тоже на работе, и опять лежит отдыхает. Уже в сумерках сойдется на ночлег вся сеноуборочная бригада: десять — пятнадцать девушек и баб, усталые, по шумные, радостные, да два-три старика, да молодой бригадир и его заместитель — учетчик, и начинается для Павла самая развеселая жизнь. Пока готовится ужин, он возится с девушками, бегает за ними в темноте по кустам, играет в кошки-мышки, затем поест вместе со всеми из общего котла, хотя все лето бабушка собирала для него еду на особицу — поест, послушает шутки-прибаутки да разные бывальщинки, сам расскажет какой-нибудь проезжий анекдотец, опять поиграет с девушками и засыпает позже всех, прикорнув между ними, отдыхая от своих наук и от трудов праведных.

Нюрка Молчунья неизменно оказывалась на этих дальних сенокосах, особенно когда узнавала, что там будет Павел. Что бы она ни делала, она делала хорошо, споро и на покосе становилась в голове всей колонны. Одно было плохо и беспокойно: работая на пожнях вместе со всеми, она почти по целому дню не видела Павла, а видеть его почему-то хотелось. Когда же Павел появлялся и даже становился с косой в один ряд со всеми, она беспокоилась еще больше: его ли это дело? А вдруг обрежется? Все-таки косить — не пером по бумаге водить.

Как-то Нюрка сказала Павлу:

— Сходи на пасеку.
— Зачем?
— Дедушка говорит: чего это мамыкинские ребята не зайдут, я бы, говорит, им...
— Чего — им? — заинтересовался Павел.
— Ну, медом накормить хочет,— застеснялась Нюрка.
— А ты ходишь?
— Я не хожу, чтобы разговоров не было.
— А нам можно?
— Другие-то ходят...
Шурка на пасеку не пошел, сослался на недосуг, Павел пошел один.
Разговорчивый Михайло Лексеич обрадовался ему, начал со старого:
— С батькой-то твоим мы, бывало, зайчиков били. Метко стрелял мужик, ничего не скажешь. И маховитый был характером, не жадный: двух зайцев несем — поровну, а если одного — мне отдает, широкая душа! Вот она, судьба, какая: метко стрелял, а не воротился с войны, царство ему небесное. Хорошие, совестливые люди завсегда раньше гибнут. А мы тут живем, прости господи!..— Старик тяжело вздохнул.— Пойдем-ка давай в сторожку, у меня там под полом, конечно, запасец есть.
Михайло Лексеич старел, длинная борода его поседела и поредела, сквозь нее был виден незастегнутый ворот рубахи. Так поздней осенью начинает просвечивать лесная опушка. А брови разрослись и загустели еще больше, и глаза стали еще синее, только из-за бровей они редко показывались.
— Голову-то пригни,— сказал он Павлу, открывая дверцу в сторожку.— Ну и вытянулся ты, паренек, дай бог здоровья! Батько твой тоже был немалого росту, а ты, видно, еще выше пойдешь. Кедра, да и только!
В сторожке ничего не изменилось: слабый свет, бочка-медогонка, тихое жужжание пчелок на оконном стекле. Казалось, это были те же пчелки, что и много лет назад, они так же сверлили стекло: сверлят, сверлят, а просверлить никак не могут.
Густой запах меда защекотал Павлу ноздри.
— А зайцев нынче мало стало,— продолжал напевать дед.— Говорят, будто от авиации на них порча идет. Рассевает она всякие вредные порошки, крошит сверху, куда надо и не надо, а зайцы питаются травой да озимью, вот и дохнут.
Павел обиделся за авиацию:
— От авиации только польза, дедушка. Самолеты землю удобряют, а от этого урожаи растут.
— Ну что ж, растут так растут! — не стал спорить дед.— Тогда, стало быть, красный зверь зайца портит. Красного зверя

развелось ныне видимо-невидимо, изничтожать его некому, собак подходящих нет.

— Что это за красный зверь? — спросил Павел.

— Лисица. Для кого лисица, а для охотника — красный зверь.

Михайло Лексеич слазил в подполье, вынес горшок меду с вощиной, зачерпнул стакан холодной воды из ведра, вытер о штанину деревянную ложку; все расставлял и раскладывал перед Павлушей на скамье, а сам говорил, говорил:

— Вот и с медом нынче худо стало. Пчел поубавилось, а может, изленились и они — никак настоящего взятку нет. Я так полагаю, что и пчелы гибнут, конечно, от порошков, от удобрений этих. Совсем ослабели семьи. Да ты ешь, ешь, не сумлевайся!..— вдруг перебивал он свой рассказ.— Тебе не грех, ты много не съешь, можно. Другие вон бидоны сюда присылают: председателю дай, кладовщику дай, бухгалтеру дай! И все — пока на весы взяток не ставили... Кушай на здоровье!

Павлу нравилось, что дед разговаривал с ним теперь, как со взрослым.

— Не иначе как от авиации и пчелки гибнут,— повторил старик.— Семьи ослабели, меду не стало, а меня, вишь, во всем обвинить хотят. Слыхал, наверно? Всем дай, да меня же и винят, вот, брат, какое дело. А попробуй не дай — беда! Лучше бы совсем пасеку закрыли. Так нет, под меня подкапываются...

Михайло Лексеич внимательно посмотрел на Павла, словно задумался, рассказывать ли ему все до конца, синие глаза его блеснули из-под бровей, посмотрел и договорил:

— Меня винят во всем. «Твои-то ульи, говорят, сильные!» Что я им скажу на это, прости меня, господи? Конечно, свои — они свои и есть. Только и моим в этом году несладко приходится. Для своих-то я на черный год запасец меду оставляю. А колхозных зимой сахаром кормим, мед по бидонам расходится. А сахарный сироп для пчел все равно что веточный корм для коров.

Павел слушал, как Михайло Лексеич доверчиво жаловался ему на какие-то несправедливости, но вникнуть ни во что не мог и только аппетитнее выжевывал вощину да запивал мед водой. А дед, выложив все свои обиды, опять начинал угощать его.

— Нюрке я давно говорю: посылай, мол, парня ко мне, он учится, ему мед на пользу. Один выучится, другой выучится — глядишь, везде лучше дела пойдут. Тогда и меду всем хватать будет, и воровать люди перестанут: что без нужды воровать? Да ты ешь, ешь! И за батьку своего ешь! Уж я бы его накормил ныне, да, вишь, не привелось. Погиб человек. Вот совестливый был мужик...

Павел зачастил на пасеку. Дед встречал его по-разному:

то приветливо, почти по-родственному, то начинал ворчать и жаловаться и тогда не угощал медом. Все чаще говорил он о бессовестных людях, расхищающих пчелиное добро, а не об охоте, не о красоте окрестных лесов и лугов. И о своей совести что-то поговаривать начал, вздыхая и обращаясь при этом к своему богу, словно чувствовал перед ним какую-то большую вину...

А когда Павел уезжал из деревни, Нюрка Молчунья навещала его бабушку. Придет, скажет:

— Я просто так.

— Ну, коли так, садись.

— Шла мимо, дай, думаю, зайду, и зашла.

— Так садись.

— Да я так.— А сама стоит у порога и приглядывается, нельзя ли чем помочь старой Анисье по хозяйству, не нуждается ли она в чем.

Однажды принесла полкринки меду, сказала:

— Это дедушка прислал в поклон. «Передай, говорит, Анисье, она, говорит, не дурная, не откажется». Только ты, бабушка, не подумай чего-нибудь: у него свои колоды есть, этот мед из своих ульев.

Бабушка обрадовалась меду, она сама любила его больше, чем сахар, и для здоровья внуков считала его шибко полезным, а потому приняла и поблагодарила:

— Коли свои колоды, то можно, принимаем! Скажи дедушке спасибо. Вот Пашута выучится, он его добро не забудет.

Подружилась Молчунья с Шуркой, с ним и разговаривала больше, чем с кем бы то ни было. Как-то вышила ему кисет для табаку. Шурка удивился:

— Ты чего? Я ведь не курю.

— Я просто так. Не куришь, а все равно будешь. Все курят, никуда от этого не уйдешь.

— Ну ладно, коли так,— согласился Шурка и взял кисет.

А бабка Анисья узнала, крик подняла:

— Ты мне парня с ума не своди! Ты еще самогонки принесешь або водкой будешь спаивать?

Нюрка с перепугу проговорилась:

— Это я для Паши, коли Шура не курит,— сказала она и перепугалась еще больше.

— Паша тоже не курит! — закричала Анисья и вдруг впервые как-то очень внимательно посмотрела на Нюрку.— Ах, ты для Паши это?..

Никто еще ничего не замечал за Нюркой, и никто ни на что не намекал ей, но сама-то она уже догадывалась, что дело ее неладно: влюбилась она.

Оставаясь одна, Нюрка припадала головой к теплой печи и плакала:

«Ох, неладное мое дело! И что же ты задумала, головушка моя непутевая! На что же ты, сердечушко мое несуразное, полагаишьси? Я-то ведь неграмотная, как была, так и есть темная бутылка, а он — вон он какой! Выучится да нахватается всего, войдет в пору и уедет на города — только его и видели!»

На угоре и на беседках она все чаще пела свою любимую частушку-коротышку:

Голова моя не дура,
Голова моя не пень,
Только думает головушка
О дроле целый день.

●

Председатель колхоза Прокофий Кузьмич все же считал, что из всех ребят его деревни, обучавшихся в семилетке, самые серьезные надежды подает Павел Мамыкин. «Что-то в нем такое имеется, умственное что-то...— думал он, когда видел Павла на гулянке.— Этот своего не упустит, цепкий. Вот, скажем, Нюрка. А что? Нюрка — девка работящая, даром что с виду никуда. Для жизни такая именно и нужна. А у самого Пашки и вид подходящий, и рост есть. Главное — не дуролом, горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из такого может человек получиться. В кадры может пойти, руководителем стать...»

— Я тебя, Павел, приобщу,— говорил он ему не раз.— Учись только, а уж я тебя поддержу. Раз начал тянуть, так и буду тянуть до конца. Своих сынов у меня нет.

Прокофий Кузьмич с умилением вспоминал, как привез Пашуту сам к директору школы, и устроил его на квартиру, и бабке Анисье помогал, и начинало ему казаться, что он сделал так много для этой семьи, особенно для Павла,— так много, что отступать было уже нельзя.

— Дорого, брат, ты мне достался, потому должен оправдать доверие, вырастешь — послужишь колхозу. Возлагаю на тебя надежды! — И Прокофий Кузьмич похлопывал Павла по плечу.

Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работяга, земляной человек. Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться. А и возиться будешь — никто тебя за это не похвалит. Ломит он спину, как и отец ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученье не для него. А ныне для руководства образование необходимо, горизонт. И характер! Так считал Прокофий Кузьмич.

— А как ты считаешь? — спрашивал он у Павла.

Никакого мнения на этот счет у Павла еще не было, он стеснялся, робел и, кроме «спасиба», ничего выговорить не мог.

Но лестные намеки Прокофия Кузьмича относительно своей будущности выслушивал с удовольствием.

Руководить? К этому Павел готов был приобщиться хоть сейчас. Только почему в деревне? Ведь это значит — так и не выбиться в люди. Для чего же тогда учиться? А может, и верно не стоит учиться?

Часто бывая в селе, где находилась семилетняя школа, Прокофий Кузьмич навестил как-то своих дальних родственников, у которых Павел стоял на квартире.

— Ну, как вы тут? Как мой сирота пригрелся у вас?

— Парень ничего, толковый,— ответил ему Иван Тимофеевич,— пальца в рот не клади! Только вот с моими ребятишками чего-то не поладил. Грызутся из-за уроков.

— Кто кого грызет?

— А разве поймешь? То-се, пятое-десятое, глядишь, уж переругались. Васютка мой — на него, он — на Васютку: «Не помогает, говорит, ничего».

— Почему не помогает? Это нехорошо. Выручать надо друг друга, тянуть! — наставительно заговорил Прокофий Кузьмич, раздеваясь и усаживаясь за стол, на котором уже появились водка и еда.

Васютка вышел из кухни, сказал:

— Вот он и тянет. Списывает все время.

— Что значит списывает?

— То и списывает...

— Ты подожди, малец, помолчи! — обиделся Прокофий Кузьмич.— Чего списывает? Что плохого, что списывает? Жалко тебе, что ли? Пускай списывает! А ты у него списывай. Что ж ты, брат Иван Тимофеевич, просветить их не можешь? — обратился он к хозяину не то всерьез, не то в шутку.

— Просвещаю! — засмеялся Иван Тимофеевич.— Так и сяк просвещаю. Тоже про взаимную выручку им говорю. Не воспринимают. И водку не могу научить пить, сукиных детей. Может, ремнем попробовать? Давай, Прокофий Кузьмич, просветимся сами!

Иван Тимофеевич налил водки, и они выпили как бы между прочим.

— А где Пашка? — заинтересовался председатель.

Павел тоже вышел из кухни, поздоровался.

Прокофий Кузьмич осмотрел его с ног до головы, спросил:

— Ну что?

Павел переступил с ноги на ногу, промолчал.

— Если что нужно, говори, я тебя всегда поддержу,— сказал председатель.— Вытяну! Другие не помогают — я помогу. Советская власть поддержит. А вырастешь, тогда мы посмотрим. Ты им еще покажешь!

Иван Тимофеевич с готовностью поддакивал председателю:

— А я что ему внушаю? Учись жить у Прокофия Кузьмича — вот что я ему внушаю, он сам это может подтвердить. «Вот твоя главная школа»,— говорю я ему!..

— Ладно, ладно! — прервал его Прокофий Кузьмич.— Пьянеешь ты, что ли?

Но Иван Тимофеевич пьянел не от вина.

— Что «ладно, ладно»? Разве я неправду говорю? Ты, Прокофий Кузьмич, оборотливый и знаешь, что выгодно, что нет. Продал петушков по базарной цене, курочек купил у соседнего колхоза по дешевке. Выгодно? Выгодно! Потом совсем птицеферму ликвидировал — значит, так выгоднее, хлопот меньше. Мы все у тебя учимся, Прокофий Кузьмич! Вот был я в Москве, поиздержался, то-се, пятое-десятое, написал заявление, и дали мне на дорогу двести двадцать пять: сколько попросил — столько и дали. Прогадал я? Прогадал! А Прокофий Кузьмич не прогадал бы...

— Ладно, ладно, не мели. Наливай лучше! — опять попробовал остановить его Прокофий Кузьмич, хотя похвалы в свой адрес обычно принимал благосклонно.— Я же не о своей выгоде беспокоюсь.

— А если бы и о своей, что ж такое? Почему грех о своей выгоде побеспокоиться?

Прокофий Кузьмич взял бутылку сам и налил водки в две стопки.

— Пил ты сегодня, что ли? — спросил он Ивана Тимофеевича.— И почему для хозяйки стопки нет? Анна, выпей с нами!

Жена Ивана Тимофеевича, Анна, рано и быстро постаревшая женщина, увядшая уже настолько, что Васютку и Антошку можно было принять за ее внуков, не успела ничего ответить, как муж ответил за нее:

— Зачем Анне пить, ей здоровье не позволяет.— И добавил, обращаясь к жене: — Делай свое дело!

Прокофий Кузьмич возражать не стал, и мужики выпили вдвоем.

Анна, сидевшая перед этим на лавке возле стола, встала и ушла на кухню. Она всю жизнь делала свое дело: с утра до вечера возилась по хозяйству, что-то стирала, сушила, что-то варила и стряпала, собирала на стол, убирала со стола, и молчала, и довольна была уже тем, что муж часто освобождал ее от тяжелой колхозной работы.

Васютка и Павел тоже пошли на кухню, но Иван Тимофеевич остановил их:

— А вы сидите с нами и слушайте, что будет говорить Прокофий Кузьмич.

Ребята послушно сели: даже озорной Васютка знал, что с захмелевшим отцом можно шутить, но спорить нельзя.

Прокофий Кузьмич налил еще по стопке.



— Ты из меня профессора не делай,— сказал он своему родственнику.— Чего я им буду рассказывать? Мое дело к пенсии идет. Я все свои копья уже обломал. Вот дотяну как-нибудь до возраста и сдам дела, пусть теперь молодежь орудует. Молодых приобщать надо, им виднее, куда что движется.— И он посмотрел на Васютку и Павла.

— У нас никуда не движется. Вот в Москве движется.— Ивана Тимофеевича опять понесло на воспоминания о Москве.— Денег там, конечно, идет много, зато и добывать есть где. Там базары, то-се, пятое-десятое, обороты, а у нас тут вонючее болото. Но и чудят там больше. Вот, скажем, магазины продовольственные — хлеб, булки всякие, бакалея, то-се, пятое-десятое. Входишь, берешь корзину, идешь по кругу, накладываешь полную корзину, круг кончается, тут тебе, голубчику, насчитывают, корзину отбирают, и ты идешь домой как миленький, с полной охапкой товара — быстро и здорово.

— Здорово! — воскликнул Васютка, которого возбуждали любые рассказы отца о Москве.

Оживился и Павел.

— У нас бы такой магазин — все булки по карманам бы рассовали,— сказал он.

— Да что ты понимаешь! — зыкнул на него Васютка.

— А что, неправда, скажешь? Народ у нас несознательный.

— Много ты понимаешь — народ, народ!

Прокофий Кузьмич посмотрел на ребят и хитро заулыбался.

Павла поддержал Иван Тимофеевич:

— Правду, Пашка, говоришь! Мыслимое ли дело, чтобы наш здешний человек сам за себя отвечал? Вот если бы он по трудодням получал полной мерой!

Поддержал Павла и председатель:

— Народ воспитывать надо, а потом уж по трудодням, Пашутка правильно мыслит!

Павел не очень понимал, за какие мысли его похвалили, но раз хвалят старшие, значит, он сказал то, что надо, и Васютка оказался в дураках.

Окончить семилетку Павел не смог. Хотели его оставить на второй год и в шестом классе, но не решились: Мамыкин считался уже переростком. Тогда учителя договорились устроить его в ремесленное училище в ближнем городке и попросили Павла вызвать на совет кого-нибудь из родственников.

Приехал Шурка.

●

Здоровый, сильный Шурка постепенно втягивался в колхозную работу на положении взрослого и становился как бы главой семьи, хотя сам признавал за старшего во всем только

Павла. Шурка не удивлялся, не обижался на то, что вот он и зимой и летом делает все, что положено по хозяйству и по колхозным нарядам, а Павла зимой дома нет, а летом он хоть и живет дома, но вроде как на курорте. Более того, Шурка теперь относился к своему старшему брату даже почтительнее, чем раньше. Он не только уважал его, он даже восхищался им. А то, что брат имел право ничего не делать с утра до вечера и день за днем, вызывало в нем какое-то даже особое расположение к нему и особую предупредительность в отношениях. «У каждого своя судьба,— думал он,— не всем же быть образованными. Зато уж когда брат выучится, он сразу изменит всю мою жизнь — и мою и бабушки».

Просить и ходатайствовать за своего брата — в этом никакого унижения для себя и для своего отца Шурка не видел. Если бы речь шла о нем самом, Шурка никогда не ссылался бы ни на какие семейные и хозяйственные затруднения, а о своем собственном сиротстве он вообще не думал. При чем тут...

Шурка прошел в кабинет директора, куда показал ему Павлик, в конце длинного светлого коридора с желтым, протертым изрядно полом, искоса оглядывая на ходу яркие стенные газеты, географические карты и лозунги о борьбе за молоко и масло, за лен и силос, о подготовке к весеннему севу на колхозных полях. Он не робел, не пригибал голову, не сторонился встречных ребят и девушек, шел свободно в своем рабочем пиджаке и кирзовых сапогах, держа кепку в руке. Он даже не спрашивал себя, зачем идет к директору школы, в которой обучается его брат. Раз позвали — значит, надо. А робеть? Что ему робеть — он же не учится здесь и никогда не будет учиться, это не его доля. Его доля землю пахать. Он же пробовал учиться... А землю он любит. Да и нельзя оставлять ее совсем без хозяина. Бесхозная земля рожать не будет. Надо, чтобы земля не осиротела.

— Тебе что нужно? — мельком взглянув на Шурку, спросил загорелый, прокопченный директор.

Шурка его сразу узнал — директор школы много раз приезжал в деревню в роли уполномоченного райкома и райисполкома либо от сельсовета по разным кампаниям и налоговым обложениям и сборам.

— Почему не на занятиях?

Шурка прикрыл двустворчатую дверь, обошел широколистый фикус, возвышающийся в кадушке на табурете, и предстал перед зеленым письменным столом, на котором были и стопки тетрадей, и книги, и глобус, и микроскоп, и желтая из деревянных палочек модель типового скотного двора.

— Я Мамыкин.

— Что Мамыкин?

— У вас учится мой брат. Меня приглашали.

— Простите... Тэк-тэк-тэк. Вы старший брат Павла Мамыкина? Тогда давайте поразговариваем.

— Я его младший брат,— смутился Шурка.

Директор стал медленно подниматься со стула, словно откуда-то издалека возвращался на землю.

— Тэк-тэк-тэк... Значит, вы его младший брат. Очень хорошо! Ну что ж, очень хорошо!

— Вы меня приглашали?

— Да! А бабушка?

— Бабушка не может — стара, слаба.

— Тэк-тэк, очень хорошо! А как у вас дела идут предвесенние?

— Да ничего, идут. Только семян придется прикупать. Недавно стали проверять сусеки, а там — мыши, много семенного овса поели. И льносемян не хватает. Сейчас вся надежда на лен. Ставку на лен делаем!

Директор начал разглаживать свои усы, оттягивать их книзу, словно они мешали ему получше разглядеть стоящего перед ним гражданина.

— Тэк-тэк... Очень хорошо! А со скотом как? Падеж в этом году был?

— Падежа не было,— отвечал, как на уроке, Шурка.— Мы что в этом году сделали? Мы на зиму наготовили возов пятнадцать веточного корму. Помогло!

— Тэк, очень правильно сделали!

— Да что уж тут правильного, если скот приходится хворостом кормить, а трава нескошенная под снег уходит?

— Это интересно! — вроде как обрадовался директор.— Не успели скосить?

— Каждое лето не скашиваем. А и скосим, так сено гниет на месте, неубранное. Бабушка моя говорит, что бог наказывает. Лучше бы уж разрешили для своих коров хоть понемногу корму заготовить, а то и свои коровы голодные стоят всю зиму.

Директор потянул усы книзу.

— Выходит, что вы хотите в первую голову кормить своих личных коров? — спросил он.— А как это называется на нашем языке, товарищ Мамыкин? Слыхали вы что-нибудь о частном секторе в народном хозяйстве?

Шурка не смутился, ответил:

— Коровы не виноваты, что они в частном секторе. Они ведь не в чужом государстве, все советские. И молоко от них пьют не буржуи какие-нибудь, а свои люди. А получается, что ни колхозных, ни своих коров не кормим. Вон какие они стали теперь, от овец не отличишь, разве это коровы — выродки. Сердце кровью обливается, как посмотришь на их жизнь.

— Это у кого сердце кровью обливается, у вас, что ли?
— И у меня. Что я, не человек?
— А председатель ваш куда смотрит?
— Что председатель? Он все помощи ждет. Если б он меньше на Советскую власть надеялся, может, лучше было бы. Сам бы думать начал, и скот бы меньше скудался. И свиньи у нас голодают, жалко смотреть.
— Тэк-тэк!..
— Есть у нас такая Нюрка, маленькая девчонка, Молчунья. Ее поставили на свиноферму. А зимой свиньи от голода — совсем как дикие звери. Все деревянные кормушки изгрызли. Нюрка каждое утро уходит из дому и с матерью прощается, потому что боится: схватят ее когда-нибудь свиньи и съедят. И падеж каждую зиму. Тогда что Нюрка придумала? Стала собирать конские свежие яблоки и кормить ими свиней. Навалит полное корыто, чуть посыплет отрубями да перемешает, и свиньи жрут на доброе здоровье. Падеж прекратился. В районной газете — читали, наверно? — целая страница была напечатана, как в нашем колхозе свиное поголовье сохранили. Нюрка делилась своим опытом.
— Изобретательная девушка! — восхищенно сказал директор.— Правильно сделала, молодец!
— Конечно, правильно сделала. И молодец — тоже правильно. Только про такую правду лучше бы в газете не печатали. Свиньям и то стыдно было...
И вдруг директор спросил:
— Вы случайно не бригадир, товарищ Мамыкин? Не председатель колхоза?
Шурка сразу осел, застеснялся.
— Почему вы не учитесь, молодой человек? Как тебя звать?
— Александр.
— Так почему же ты, Александр, не учишься?
— Павлик учится.
— Павлик?
— Да.
— А ты что?
— А я уж буду на земле.
— Вот для земли-то и надо бы учиться.
— Нельзя мне, Аристарх Николаевич.
— Тэк! Не понимаю. А ну-ка, садись, Александр!
Шурка сел на стул под фикусом.
— Не понимаю,— повторил директор.
— У нас так ведется, Аристарх Николаевич: если всем учиться нельзя — старший учится. И бабушка хочет, чтобы Павел выучился, скорее помощь придет.
— Значит, бабушка за Павла стоит?
— Да! И Прокофий Кузьмич, председатель наш, на него очень надеется. А я — чтобы земля не осиротела.

— Как ты сказал? — переспросил директор.

Шурка смущенно промолчал.

— Значит, чтобы земля не осиротела? Тэк-тэк! Хорошо сказал! — Директор подвинул к себе тетрадку и записал что-то на чистой линованной страничке, словно поставил Шурке отметку за хороший ответ.— А Прокофий Кузьмич ваш... что ж, Прокофий Кузьмич, он действительно все на кого-нибудь надеется. Не просчитается он с Павлом, не ошибется, как ты думаешь?

Шурка опять промолчал.

— Я хочу сказать,— пояснил директор,— будет ли ваш Павел потом работать в колхозе?

Что мог ответить на это Шурка? Разве Павел учится для того, чтобы работать в колхозе? Бабушка об этом думает совсем иначе. А как думает об этом сам он, и думал ли он об этом когда-нибудь и как следует?

— Прокофию Кузьмичу виднее,— сказал он невнятно.— Надо же кому-то и в люди выходить.

Директор удивился.

— Вот это, батенька мой, что-то не то. По-моему, ты говоришь не свои слова. На тебя это не похоже.— И Аристарх Николаевич потянул усы книзу.— Прокофий только и ждет, чтобы на пенсию выйти, а ты говоришь — ему виднее. Да что ему виднее? Все ли он видит, твой Прокофий Кузьмич? Видит ли он тебя, например?

И на это Шурка не мог ничего ответить.

Директор опять что-то записал в тетрадку и заговорил словно бы о чем-то другом, очень спокойно:

— Отец твой — я же его хорошо знал! — обязательно бы стал тебя учить. Тебя, а не Павла.

— Почему не Павла?

— Да вот так: тебя, а не Павла!

— Пускай уж лучше Павлик учится,— тихо сказал Шурка.

— Вот именно: если бы лучше! Не получается что-то у твоего Павлика, дорогой мой Александр. Не получается!

— Что не получается? Как?

— Да вот так, не получается.

Шурка заволновался, оперся руками о стол, словно раздумывая — встать ему и уйти сразу или остаться и слушать, что скажет директор еще.

И директор сказал еще:

— Опять на второй год остается ваш Павлик.

Тогда Шурка понял и испугался.

— Не оставляйте его, пожалуйста! Он у нас старший... и сирота,— торопливо стал просить он.

— Старший, да! Годиков ему многовато. А насчет сиротства — ну сколько же можно? Подрос уже... Выходит, он сирота, а ты его покровитель? Нельзя ему больше оставаться на второй год.

— Нельзя, бабушка очень худа стала,— подтвердил Шурка.— А мы с ним поговорим, он все поймет. Он же у нас... Мы на него так надеялись... Как же это он?..— Говоря так о старшем брате, Шурка пока недоумевал больше, чем негодовал.

— Тэк-тэк, понимаю,— снова раздумчиво затэкал директор.— Бабушка, значит, не в курсе дела, ничего не знает?

— Бабушка ничего не знает. Но мы поговорим с Павликом.

— Ну хорошо!

Директор рассказал Шурке о школах фабрично-заводского обучения, о ремесленном училище, куда он рекомендует направить Павла,— как раз будет очередной набор. Шурка ничего не слыхал об этом обучении, но, по словам директора, выходило, что это прямой путь в инженеры, и он успокоился: чем инженер хуже любого районного начальника? Значит, в судьбе брата ничего не меняется? Но что же он, Павел, думает все-таки?.. Как же он все-таки мог?..

— А тебе, Саша, еще раз говорю: хорошо бы поучиться самому. На себя надо больше надеяться! — заключил Аристарх Николаевич, поднимаясь с кресла и доброжелательно глядя ему в глаза, отчего Шурка покраснел.— Конечно, без отца, без матери плохо жить. Иные с пути сбиваются, растут вкривь и вкось. Но ведь это не со всеми случается... А отец у вас был настоящий работяга. Не думаешь же ты, что он в люди не выбился? Поучиться бы тебе...

Шурка понял, что понравился директору школы, и это ему было приятно. Из кабинета он вышел в хорошем настроении, даже о Павле не стал думать плохо. Но через несколько минут он вернулся.

— Извините, Аристарх Николаевич, я воротился... Бабушка у нас очень плоха, я ничего не буду ей говорить. Пожалуйста, не передавайте ей ничего...

Аристарх Николаевич пожал Шурке руку.

●

Все лето Павел провел дома. Он радовался, что больше не надо возвращаться в семилетку, где приходилось драться из-за того, что его дразнили «женихом». Драться он уже стыдился: с кем ни свяжись, все ему до подмышек. И сила появилась мужская. Чуть толкнет, бывало, одноклассника, а тот летит поперек коридора, того гляди, стукнется головой о подоконник. Слегка возьмет кого-нибудь за ворот, чтобы только припугнуть, а у того, смотришь, ни одной пуговицы на рубашке.

Все-таки в семилетке трудная была жизнь для Павла. Приходилось то и дело хитрить, изворачиваться, чтобы не получать частых взысканий от учителей. Других держит в страхе и сам постоянно дрожит: вдруг увидят, застанут, застукают. Только,

бывало, выпрямится во весь рост, сожмет кулачишки, оскалит зубы, чтобы образумить обидчика, как возникает перед ним учитель математики, словно восклицательный знак, или погрозит скрюченным пальцем сладкогласая учительница пения в узкой юбке. И Павел, грозный, с авторитетными кулаками, вдруг сгибается весь и начинает униженно улыбаться, словно милостыню просит: не обижайте, Христа ради, круглого сироту!

Бабушка ухаживала за Павлом как только могла: она его кормила с утра до вечера и все спрашивала: «Не голоден ли, Павлуша?» Наверное, все бабушки одинаковы. Пашута еще спит, а она уже затопит печку, подоит корову, приготовит для него молока, и парного и топленого с коричневой, чуть подожженной жирной пенкой, положит в чашку простокваши с добавкой нескольких ложек кисловатой густой сметаны, в другую чашку положит гущи вместе с сывороткой: этот домашний деревенский творог, полученный в печи на вольном духу из простокваши и разрезанный еще в кринке на четыре дольки, Пашута особенно любил; кроме того, прикроет бабушка от мух на чайном блюдце колобок только что взбитого сосновой мутовочкой сливочного масла; выставит все богатство на стол и ждет, когда внук проснется. А в большом глиняном горшке уже затворены блинки, а на сковородке в свином сале шипят для блинов ошурки-шкварки: Павлуша любит свернуть широкий горячий блин в трубочку, вывалять его целиком в кипящем сале, прихватить ложкой несколько ошурков и есть по целому блину сразу, не разрывая. А с огорода уже принесены и лучок, и свежая редька, и свежая картошка.

Любит еще Павлуша студень из свиных ножек — светлый, со снежными блестками, только что из подвала, с ледника. Он как-то сказал — пошутил, наверно, озорник! — что любит все такое, чего жевать не надо. А студень — что его жевать? Он во рту тает.

Для Павла каждый день праздник. Просыпается он поздно, потому что до полуночи и дольше гуляет на угоре, шутит с девушками — большой уже стал внучек, дай бог ему здоровья! Вот полюбовался бы на него отец, если бы жив был, царство ему небесное!

Проснется Павлуша, спустится с сеновала, сделает зарядку на дворе — попрыгает, помотает руками, умоется на колодце, придет в избу, глянет на стол и ахнет:

— Ну, бабушка! Как бы я без тебя жил? И откуда у тебя все это берется?

И бабушка старается еще больше: благодарность внука ей дороже всего. Шурку корми не корми — он молчит, а Павлуша рассыпается.

Так каждое утро.

А как бы она сама жила без Павлуши, без того, чтобы думать о его большом пути, надеяться на него, кормить, обхаживать его, угождать ему?

Конечно, младшего внука, Шурку, она тоже любит, и не меньше, но Шурка — он привычный, на земле родился, землей и живет. А Пашута пошел дальше, этот учится, от него всего можно ожидать. Поэтому все, что есть лучшего в доме, в бабушкиных чуланах и в погребе, в поле и на огороде,— все для старшего внучка, все для Павлуши. Ему лучший кусочек, ему рубашку поновее да попригляднее, и шапку заячью, и сапоги покрепче, на него идет бо́льшая часть отцовской пенсии, ведь и на карманные траты все рублевочку-две ему положено, не откажешь,— слава богу еще, что хоть не курит, не пьет, в карты не играет!

Павел принимал все, хотя о будущем своем пока много не задумывался. Знал только уже, что в деревне ему жить не придется, что хорошее будущее у него будет. Бывало, правда, что он стеснялся есть отдельно от своего брата и от бабушки, есть не то, что едят они. Как-то бабка достала у соседей по дешевке молочного поросенка-ососка, вымыла его, вычистила, опалила, нафаршировала гречневой кашей да молоком со взбитыми яйцами и зажаренного, с хрустящей золотистой корочкой подала Пашуте в плошке, как к престольному празднику или к свадьбе, целиком. Павел втянул в себя воздух и смущенно оглянулся: у порога стоял Шурка, проверяя пальцем остроту серпа,— он только что поел вареной картошки на кухне и готовился снова идти в поле; бабушка поставила в угол ухват, которым достала плошку с поросенком, и сметала хлебные крошки и картофельные очистки с кухонного стола, сама она еще не обедала,— посмотрел на них Павел и совестливо забормотал:

— Не буду есть один. Такого поросенка на всех хватит. Давайте вместе!

— Что ты, что ты, Пашута! Мы сытые, мы всегда дома, а ты будто гость у нас. Мы едали всего. И не выдумывай, садись давай. У тебя голова вон как должна работать. Что ты, родной!

Шурка повернулся от порога и выжидательно глянул на своего старшего брата.

— Ты думаешь, мы голодные, да? Мы ничего сами не едим, да?

— Знаю, как вы едите. Садитесь, а то и я не буду есть.

Павел настоял на своем, поросенка они съели вместе. Шурка был этим растроган, а бабушка не раз после хвалилась:

— Вот он какой у меня, Павлуша-то!

Но бывало и по-другому. Павел приносил рыбу с реки — окуньков, плотичек, пескарей: с удочкой он мог сидеть над

заводями по целому дню. Бабушка наварит в горшочке ушицы с лучком, с красным перчиком и жаркое из плотичек приготовит такое, что пальчики оближешь.

Павел опять обижается:

— Все одному? Шурка, садись со мной!

Бабушка кидается сразу на обоих:

— Что вы, что вы, много ли тут рыбки, что с ней двоим делать, на одного не хватит.

Павел поломается немного и начинает есть один.

Иногда Шурка искренне удивлялся, что Павлика может что-то смущать. Зависть или иное какое недоброе чувство еще не проникало в его сердце. Казалось, разговор с директором школы ничего не изменил в его отношении к брату. К тому же это был все-таки его старший брат!

Лето выдалось слишком хорошее, жилось слишком легко, и Павел опоздал с представлением необходимых документов в ремесленное училище. Когда он приехал в город — а привез его опять же Шурка,— там занятия уже начались, в общежитии не было ни одной свободной койки, и Павел в списках учащихся не числился.

В первый раз он испугался, что не будет учиться и придется вернуться домой, работать в колхозе. За него опять стал действовать Шурка. Он попал к заведующему учебной частью, объяснил, в чем дело, ссылаясь на то, что Павел Мамыкин — сын солдата, погибшего смертью храбрых в Великую Отечественную войну, и завуч согласился сделать для него исключение, если будет написано соответствующее, хорошо аргументированное заявление. «Правда, возраст уже на пределе, ну да как-нибудь...»

Шурка передал разговор брату, и Павел написал заявление:

«Прошу не отказать в моей просьбе. Вырос я без отца, без матери. Отец мой погиб смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, а мать умерла на колхозной работе. Я хочу честно трудиться для Родины, вырастившей меня, и, если потребуется, отдать за нее свою молодую жизнь. Пожалейте сироту, не откажите!

К сему *Павел Мамыкин*».

— Силен! — сказал завуч, прочитав это заявление, должно быть имея в виду его слог, и включил Павла в список учащихся дополнительно.

Койка в общежитии тоже нашлась.

●

Озимые вымокли еще осенью. Яровые посеяны были слишком рано, задолго до окончания заморозков,— Прокофий Кузьмич очень хотел отчитаться первым,— и проку от яровых тоже

не предвиделось. Колхозники могли надеяться только на лен.

Лето выдалось мягкое, влажное, лен шел хорошо. Не раз менялись цвета ржи, овса, а лен до поздней осени оставался ярко-зеленым. Во время цветения участки его превратились в бирюзовые озерца, и перед этим нежным сиянием даже леса окрестные казались черными.

Шурка посоветовался с бабушкой и сам напросился в льноводческое звено. Женщины приняли его охотно, не посмотрев на то, что он парень, хотя льном парни обычно не занимались. Шурка был у них на особом счету. Если бы не Шурка Мамыкин, может быть, и не было бы такого льна в этом году — так думали многие.

Но Шурка-то знал, что все сделала бабушка, а не он. Ранней весной, когда в колхоз поступила команда начать сеять лен, бабушка Анисья спросила внука:

— Неужто правду про лен люди судачат?

— А что? — спросил, в свою очередь, Шурка.

— Будто сеять приказано?

— Сегодня начинали, да трактор забуксовал, грязно.

— Ну, слава богу!

— А что? — спросил снова Шурка.

— Что, что!.. С ума они посходили, вот что! Где это видано, чтобы лен по грязи сеяли?

— А как же, бабушка, говорится: сей в грязь — будешь князь.

— Разве это про лен? Это про зерно говорилось.

Шурка бабушке поверил, тем более что слышал в поле, как один тракторист ругался: «Опять головотяпите! Обсуждали, обсуждали, а вы опять за старое!» Тракториста оборвал полеводческий бригадир: «Сей, тебе говорят! Указание есть».— «Не вырастет ведь ничего».— «А что я могу сделать? Пускай не вырастет...»

И Шурка сказал бабушке:

— Заставят сеять все равно.

Анисья сразу подняла крик:

— А ты чего слюни распустил? Сколько вас там, эдакие ребята, а сдобровать не можете! Взяли бы по батогу або что — да на поле: не дадим колхоз разорять! Теперь не война, самим думать надо. Иди-ка позови мне председателя! — вдруг приказала она.

Шурка подумал и ответил:

— Не пойдет он.

— Конечно, не пойдет,— согласилась бабушка.— А ты скажи: бабушке, мол, худо, карачун настает, проститься хочет, он и прикатит со вниманием со своим.

Председатель пришел, но договориться ни до чего они не смогли. А чтобы Прокофий Кузьмич не обижался, Анисья поставила ему бутылку водки.

Шурка отправился к трактористам, авось они что-нибудь придумают, помогут.

— Ты чего от нас хочешь? — удивился парень в промасленном ватнике.— Наше дело маленькое, понял? Сказали в МТС: сеять! — и будем сеять.

— Вы же сами ругались, что трактор не идет.

— Ну и что?

— Вот и пускай трактор не идет,— улыбнулся Шурка. Он делал вид, что шутит.

Тракторист засмеялся.

— Ты слыхал его? — обратился он к своему напарнику.— А кто деньги нам платить будет? На нашем горбу хочешь выехать? Собери деньги, тогда и трактор будет стоять.

— Лен не вырастет! — вздохнул Шурка.

— Все сеют, не вы одни. Да кто ты такой? Иди к своему бригадиру, его уговаривай. А нам что...

Шурка пошел к бригадиру.

— Бабушка говорит, что на лен вся надёжа, а теперь и льну не будет.

Безрукий бригадир, инвалид войны, не смеялся над Шуркой и не кричал на него, только сказал:

— Не в свое дело лезет твоя бабушка. Голова не у нее одной на плечах, есть и посветлее, соображают.

И все. Шурка решил, что ничего у него не вышло. Но на другой день председатель колхоза Прокофий Кузьмич уехал на какое-то совещание, а оттуда на железную дорогу добывать гвозди для строительства скотного двора, и до его возвращения о посеве льна никто не заговаривал. Трактор ушел в другой колхоз, а из конторы в район сообщили, что лен посеяли.

Вернувшись в колхоз, Прокофий Кузьмич поднял крик:

— Самоуправство? Государственная дисциплина вам что? А того не знаете, что с меня голову снимут? Всех под суд отдам!

Кричал он долго, пока бухгалтер не сообщил ему:

— А лен-то за нами не числится, Прокофий Кузьмич.

— Как так?

— Мы его в сводку включили.

— Передали?

— Передали.

— Ну, то-то! — сказал председатель и успокоился.— Смотрите вы у меня!

Земля к тому времени подсохла, и лен посеяли вручную под конную борону. Поле зазеленело дружно.

Встретившись с Шуркой, Молчунья сказала ему:

— А тебя, Шура, бабы хвалят не нахвалятся.

— Вишь ты! За что это? — заулыбался довольный Шурка.

— Говорят: «Кабы не этот парень, так и льну бы нам не видать».

— Да это не я — бабушка,— признался он и покраснел.
— Может, и бабушка, только тебя хвалят.

Больше разговаривать было не о чем, и они замолчали. Потом Шурка спросил все же:

— Кто им сказал, будто это я сделал?
— Не знаю, кто сказал, только тебя хвалят.
— Не ты ли уж сказала?
— Не знаю кто,— ответила Нюрка,— может, и я.

Шурке хотелось верить, что именно он весной помешал высеять лен раньше времени. Как бы то ни было, похвалы ему пришлись по душе, и после он почувствовал какую-то особую свою ответственность за эту культуру.

Вступив в льноводческое звено, Шурка стал работать наравне с женщинами с утра до ночи. Он первый пошел и на прополку сорняков, с яростью вырывал васильки, про которые в детстве думал, что они для красоты. И все жалел, что мало, слишком мало посеяли льна. Ведь и семена, кажется, были.

— Да ты маленький, что ли? — рявкнула однажды на него звеньевая, толстая неопрятная Клаша, вдова-солдатка, переставшая следить за собой с тех пор, как потеряла надежду снова найти себе мужа.— Будто мы сами не знаем, что мало. А план на что? Кто бы нам позволил не по плану сеять?

Еще не закончилась уборка зерновых, а бабушка Анисья уже начала тормошить Шурку:

— Лен-то когда теребить будете? В августе его разостлать бы надо, августовские росы слаще меду.

— Машину ждем, бабушка.

— Не прогадайте с машиной-то. Машина — она машина и есть. Не столько льну, сколько мусору всякого нарвет. Попробуй потом отбери руками. А деньги какие!

Анисья всю свою жизнь, почти с детства, возилась со льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла, трепала, чесала... В каждом хозяйстве были обязательно две-три полоски своего льна. Наготовив кудели, девки и бабы, и Анисья тоже, в долгие зимние вечера сидели за пряслицами либо за прялками. У Анисьи и прялка была. Льняную нить с веретен перематывали на мотовила, делили на чисменицы, на пасмы, готовые моты бучили, отжимали, отбеливали на снегу, красили, если надо было, в разные цвета, растягивали на воробах, перевивали на трубицы, сновали, затем уже по ниточке продевали основу в бёрда... Господи, чего только не делалось с этим ленком — сейчас и слова-то многие забываться стали. Наконец, уже в середине зимы, а то к весне в избу заносили по частям ткацкий самодельный стан со всеми его крюками, бабурками, подножками, сколачивали, выверяли, и начиналось тканье. День и ночь дрожали оконные стекла в избе. Фабричная мануфактура — ситчик, сатин — была тогда доступна далеко не всем и шла только на праздничную одежду. Холст для половиков и по-

стелей, для мешков и онуч, полотно для нижних рубах, для штанов и рукотерников, всякая цветная пестрядина для верхнего белья и верхней одежды, даже радужные кушаки и пояса из шерстяной пряжи — все изготовлялось на дому, на своем деревянном стану́ золотыми, многотерпеливыми бабьими руками. Каторжная это была работа! А вот не стало своего льна, и затосковала Анисья по этой каторге. Много лет стан валяется на повети, ни для чего не нужный, молодым даже незнакомый, по ночам сидят на нем куры, зимой косы да серпы висят на крюках.

Давно уже лен сеют только на колхозной земле и трестой сдают на завод. И хоть лен этот колхозный, и прясть его Анисье не доведется, и масла льняного от него не будет, а все-таки это лен. Не может Анисья спокойно смотреть, если обходятся с ним не по-хозяйски, без души, без соображения.

— Пришла машина-то? — спрашивала она Шурку чуть ли не каждый день.

— Нет еще, бабушка.

— Начинайте, нечего тянуть! А там видно будет.

С разрешения Прокофия Кузьмича лен начали теребить вручную. И только тогда полностью обнаружилось, до чего же он был засорен. Соломку выбирали по щепотке, а когда оборачивались, казалось, будто на полосах ничего не изменилось: по-прежнему густая сочная трава, осот и всякие колючки до колена покрывали землю густым зеленым слоем.

Работа шла медленно, женщины нервничали, ждали из МТС льнотеребилку. А пришла льнотеребилка, зашумели еще пуще: старая, проржавевшая, плохо налаженная машина больше путала, чем теребила. Соломка перемешивалась с сорняками и ложилась на полосу в таком неприглядном виде, что к ней страшно было подступиться.

Машину остановили.

Шурка сказал:

— Артель «Напрасный труд». Да еще натуроплата. Вот и получится: с одной рожи сдерем по две кожи. Надо бы председателя сюда.

— А что председателя? — наперебой заговорили женщины.— Он сам против. «Только деньги, говорит, выбрасываем. Лучше бы, говорит, ребятишек из школы, которые постарше, привезти на подмогу».

— Не управимся руками, бабы,— встревожилась звеньевая Клаша.

— Так и эдак не управимся, зато хоть лен цел будет.

Механизаторы из МТС, молодые ребята, стояли рядом, курили, слушали.

— Что будем делать? — спросил их Шурка.— Сами видите.

— Видеть-то видим, только наше дело маленькое.

— Может, где почище участки есть, поищите.

— Нам приказано, будем теребить все подряд.

— Не дадим! — сказал Шурка.

Ребята заглушили трактор и ушли в деревню, в магазин. Женщины разобрали остатки льна после теребилки и, не отдыхая, принялись за работу вручную.

В это время в поле заскочил на мотоцикле корреспондент районной газеты — бойкий парнишка в кожаной куртке, в защитных очках.

— Здорово, бабы! — закричал он, еще не успев слезть с мотоцикла.— Как трудитесь?

— Здорово, мужик! — ответили ему.— Становись, помогай.

Корреспондент бросил мотоцикл на пласт у обочины дороги, подошел и со всеми поздоровался за руку. Руки у женщин были зеленые по локоть. Весело пожимая ладони, корреспондент называл себя всем поочередно: «Вася!», «Вася!», «Вася!». Только Шурке отрекомендовался иначе: «Василий Вениаминыч!»

— Ты бригадир? — спросил он Шурку.

— Вот звеньевая,— указал Шурка на Клашу.

Василий Вениаминыч повернулся к Клаше, расставил ноги, как перед утренней зарядкой, шире плеч и спросил коротко:

— Прогнали механизаторов?

Клаша испугалась.

— Мы их не трогали, они сами ушли.

— Я из газеты! — сказал Вася.

Клаша испугалась еще больше, стала оправдываться:

— Пальцем не тронули. Только вы сами видите, лен-то какой и машина, видите, какая.

А Шурка вдруг взял да и брякнул:

— Верно, прогнали!

Василий Вениаминыч резко повернулся к Шурке, повторил:

— Я из газеты!

Но на Шурку это не подействовало.

— Вот и поезжайте к ним,— сказал он.— Ребята теперь в деревне с горя, наверно, водку хлещут.

Через три-четыре дня в районной газете появилась Васина статья: «Антимеханизаторы в колхозе «Красный Боровик».

●

Директору школы Аристарху Николаевичу было предложено из района срочно выехать в качестве уполномоченного в колхоз «Красный Боровик», ознакомиться на месте со всем, что там происходит, принять исчерпывающие меры и доложить.

Аристарх Николаевич с удовольствием передал свои уроки другому преподавателю и в седле на сельсоветской расхожей лошаденке приехал к Прокофию Кузьмичу.

С тех пор как колхозная деревня подверглась организованному нашествию всякого рода уполномоченных — районных,

областных, республиканских — и всевозможных заготовителей, агентов, толкачей, прошло времени немало, и Прокофий Кузьмич хорошо научился ладить с ними. Поначалу, когда уполномоченные еще отличались горячностью, неудержимой страстью вмешиваться не в свои дела, проводили общие собрания, а на худой конец — собрания актива, давали нагоняи, писали докладные, в общем, добросовестно и решительно выполняли все поручения, с которыми их посылали,— хлопот с ними было много. Приехав в деревню, такой уполномоченный обычно устраивался на жительство не у председателя колхоза и не у секретаря партийной организации, не у главного бухгалтера или кассира, а в неуютной колхозной конторе, в избе-читальне, спал на раскладушке либо на жесткой скамье, прикрываясь собственным плащом, питался чем попало, расплачиваясь наличными за каждый съеденный кусок хлеба, а то еще находил приют в какой-нибудь крайней избе рядового колхозника, обязательно рядового, да выбирал который поразговорчивее, поотороватее, чтобы сразу выведать от него все колхозные новости, и чем народ живет, и чем дышит.

Трудные это были времена для Прокофия Кузьмича.

Но с той поры жизнь в районе изменилась, нервозность улеглась, и уполномоченные стали иными, многие из них пообтерлись, да и сам Прокофий Кузьмич стал мудрее и опытнее в делах руководства — и ему, как правило, удавалось избегать былых резкостей в отношениях с ними. Теперь Прокофий Кузьмич заранее определял для себя, с какими уполномоченными как следует ему держаться. При одних он был спокойно-строг, немногоречив, соблюдал достоинство, даже напускал на себя важность, на других просто ворчал, что мешают работать, ссылался на перегрузку, а кого-то сразу усаживал с собой в тарантас, катал по полям, завозил на пасеку отведать колхозного медку, а дома поил водкой.

Директора школы Прокофий Кузьмич всегда немного опасался. Но на этот раз Аристарх Николаевич подъехал не к конторе колхоза, а к его дому — значит, никаких причин для тревоги не было.

Завидев из окна верхового и опознав его, Прокофий Кузьмич вышел из дому, застегивая на ходу широкий пиджак на все пуговицы. Вслед за ним на крыльцо выкатился злобный лохматый комок — комнатная собачонка — и с лаем метнулся под ноги лошади.

— Колхозный привет шефу! Здравствуйте, Аристарх Николаевич! — заговорил Прокофий Кузьмич, спускаясь с крыльца навстречу гостю и протягивая ему руку издалека.— Брысь, проклятая! — крикнул он на собаку, как на кошку.

Аристарх Николаевич легко приземлился с седла и передал председателю повод коня. Собачка не унималась, кидаясь то на директора школы, то на его лошадь.

— Опять не узнает меня, песик-то ваш,— сказал директор.

Прокофий Кузьмич засмеялся.

— Тишка мой вас, наверно, за уполномоченного принимает. Не любит он уполномоченных.

— Мудрый песик.

— Породистый! — похвастался председатель.

Засмеялся и Аристарх Николаевич.

— Породистый — помесь половой щетки с гусеницей! Завели бы лучше охотничью, гончую.

— Охотничьей собаке корму больше надо. А я — какой я охотник! Зато Тишка служить умеет.— Прокофий Кузьмич переложил повод уздечки в левую руку, а правую поднял вверх и крикнул собачке: — Тишка, служи!

Тишка мгновенно перестал лаять, вскинулся на задние лапы, вытянул волосатую морду кверху и начал кружить на одном месте, подпираясь лохматым хвостом.

— И верно — служака! — похвалил Тишку директор.— Ну, что у вас тут?

— Что у нас? Живем, работаем. А что же вы: директор без армии? Сейчас бы самое время поддержать нас.

Аристарх Николаевич посмотрел на круглого, розового председателя.

— Зачем вам армия? У вас машины стоят.

— Были бы машины, стоять не дадим. А дела всякого и для вашей армии хватило бы.

Прокофий Кузьмич привязал коня к изгороди около двора, сказал, что сейчас подкинет травы, и повел директора в дом. Собачка метнулась в сени.

— Прошу в горницу, Аристарх Николаевич!

В избе председателя было много перегородок, занавесок и половиков. В прихожей на клеенчатом столе — самовар, прикрытый узорным полотенцем, а на стене — крупные в рамках портреты, как в конторе правления. Горница же, оклеенная бумажными обоями, напоминала больше квартиру районного служащего, чем деревенскую избу. В горнице полумрак — все окна снизу доверху зашторены тюлем. В простенках и по углам, на полу и на табуретках много цветочной зелени — в горшках, в кадушках, обернутых газетной бумагой. Целый лес зелени — если бы только в этом лесу хоть немножко шевелились и шелестели листья. Цветочные горшки виднелись и на подоконниках за тюлевыми занавесками. После войны Прокофий Кузьмич накупил в деревнях многоцветных немецких картонок с рельефными изображениями ветвистых оленей, тигров, готических замков и прудов с лебедями. И теперь эти картонки красовались на стенах и заборках его горницы.

Аристарх Николаевич прошел в горницу, сел к столу и начал привычно потягивать усы книзу. Присел к столу и Про-

кофий Кузьмич, расстегнул пиджак на круглом животе, потер лысину.

— Ну, что будем делать, дорогой гость? Жалко, хозяйка у меня где-то на работе, но мы можем сообразить и без хозяйки.

— Соображать не будем,— сказал директор.— Давайте лучше поговорим насчет антимеханизаторов.

— Каких это, о чем?

— А вы разве не читали в газете?

— Нет, мне не докладывали,— встревожился председатель.

— Отказались вы от льнотеребилки?

— Ну что вы, Аристарх Николаевич, мы же друг друга понимать должны...

— Что понимать должны?

— Ну как же? Вы же меня знаете?

— Ну, знаю. Вы о чем?

— А вы о чем? — спросил, в свою очередь, Прокофий Кузьмич.

— Что-то я вас не понимаю! — удивился директор.

— А вы думаете, я вас понимаю?

— Тэк-тэк!..— затэкал сбитый с толку директор школы.

— Что «тэк-тэк»? — не сдавался Прокофий Кузьмич.

— Льнотеребилка у вас не работает? Скажите прямо.

Прокофий Кузьмич не хотел отвечать прямо.

— Вы лучше скажите, с чем ко мне приехали? — спросил он.

Аристарх Николаевич достал из кармана свернутую газету.

— Почитайте, если не читали, и давайте не будем морочить друг другу голову.

Прокофий Кузьмич взял газету, но не стал разворачивать ее, а поднялся со стула, постоял, подумал и неожиданно для директора пошел за занавеску на кухню. Там загремела посуда.

Аристарх Николаевич прислушался, сказал:

— Не надо, Прокофий Кузьмич! Это от нас никуда не уйдет, успеем.

— Покушать надо с дороги,— сказал хозяин.

— Дорога не велика, я еще не проголодался. Читайте газету!

Прокофий Кузьмич вернулся с кухни, сел к столу и развернул газету. Читал он долго, читал и вскидывал время от времени глаза на директора. А директор сидел, ждал и все хотел понять: читал ли до его приезда председатель статью об антимеханизаторах или не читал.

Наконец Прокофий Кузьмич отложил газету и вспылил:

— Подвел, прохвост, это его дело!

— Кто подвел?

— Да молокосос этот. Видали, как за добро платят?

— Кто это?

— Да мамыкинский парнишка. Сирота этот.
— Павел?
— Павел что! Шурка, прохвост, подвел.
— В чем же он провинился?
— А вы читали газету?
— Я-то читал...
— Так вот это его дело.
И Прокофий Кузьмич дал волю своим обидам.
— Я ли не проявлял заботу о них, и о Шурке об этом! Выкормил, выпоил, на лен поставил. И вот благодарность. Дисциплины нет, никакого почтения к старшим нет, руководства не признает. А ведь молокосос! Весной также навредить мог. И бабка, эта старбень, не в свои дела лезет. Конечно, льнотеребилку увели с поля из-за Мамыкина, правильно корреспондент подметил. Обиделись ребята и уехали. Мне рассказывали об этом деле, факты подтверждаются.
— Тэк-тэк! — раздумчиво потягивал усы директор.— Нашли зверя! Какие же вы меры приняли?
— Поздно было меры принимать. Да меня и дома не было. Слово они дали, что весь лен руками уберут.
— Однажды приходил ко мне этот Шурка,— сказал директор.— Понравился мне паренек: умный, самостоятельный.
— Вот-вот, самостоятельный! — опять вскинулся Прокофий Кузьмич.— Знаете, к чему такая самостоятельность приводит? Сегодня он меня не признает, завтра вас, потом секретарю райкома нагрубит, а там, гляди... Молодые!
— А Павел? Смена-то ваша?
— Что — Павел? Пашка — он тоже... Черт его знает, что еще из него получится. Может, я зря за него душу отдаю.
— Да разве вы отдаете душу, Прокофий Кузьмич? — сказал директор.— Если бы душу отдавали, другой бы разговор был. Не ошибаетесь ли вы с Павлом? А младшего не видите!
Прокофий Кузьмич внимательно посмотрел на директора: шутит он или не шутит? Потом сказал:
— Быть председателем колхоза — дело тонкое, Аристарх Николаевич! Тонкое это дело — меж двух-трех огней стоять. Надо знать, кого слушаться, кому приказывать. Тут дуроломам делать нечего. Дуроломы разные, чуть что, меня под удар подводят, сами видите. А такой вот Шурка подрастет, да волю ему дай, да власть, весь народ разболтается, сами править начнут, колхоз распустят.
— Тэк-тэк! Выходит, что младший эту кашу заварил?
— А кто же еще? Женщины такого не выкинут, сами понимаете.
— Да-а! — сказал директор. Так и сказал: «да-а!», а не «тэк-тэк», значит, согласился с Прокофием Кузьмичом.— На чем же мы порешим?

— Пойдемте в поле, там картина будет ясная,— поднялся от стола председатель.

В сенях опять зарычала собачка. Прокофий Кузьмич зыкнул на нее: «Тишка!» — и собачка кинулась вперед, с крыльца, на улицу. На улице она каталась колобком от дома к дому, перепрыгивала через лужи, бросаясь на кур, на овец, на жеребят, на мальчишек с лаем, то злобным, то веселым, и от нее все сторонились, убегали.

— Редкий песик! — сказал директор.— Раньше в деревнях таких не держали.

Не испугались Тишки только козы: в конце деревни они запрудили улицу — целое стадо, и Тишка сам сбежал от них к полевой изгороди.

— Порядочно у вас развелось этих коровок. Тоже корму меньше надо?

— Враги колхозного строя! — сказал на это Прокофий Кузьмич.— Корму меньше — верно, но и молока от них ни себе, ни государству. Козы людей из повиновения выводят. Выродки! И все это послевоенные годы: вместо коров — козы, вместо дворов — хлевы. Избы тоже перестраивают, от старых пятистенков остаются половинки.

— А вместо гончих эдакие вот Тишки?.. Сколько же времени продлятся ваши послевоенные годы? — мрачно спросил директор.

Прокофий Кузьмич помедлил с ответом; ответил только, когда они уже вышли из деревни в поле.

— Вам видней, Аристарх Николаевич. По-моему, пока не начнется новая война, все будут послевоенные годы. Разве не так?

Аристарх Николаевич нахмурился еще больше.

— Не умеете вы шутить, председатель! — сказал он и замолчал.

Тишка в поле не побежал — он шумел и наводил порядок только в самой деревне.

●

На полосах работало все льноводческое звено — шесть женщин и девушек и Шурка. Около Шурки, не разгибаясь, теребила лен Нюрка Молчунья. Заметив председателя колхоза и директора школы, она поспешно, стараясь не обнаружить себя, шмыгнула в сторону звеньевой Клаши.

Невытеребленного льна было еще так много, что, казалось, конца-краю ему нет. А на убранных площадях стеной стояли зеленая трава, хвощ и колючки, похожие на кустарники, из-за чего Аристарх Николаевич подумал вначале, что весь лен не тронут.

Подойдя к работающим, он шутливо поздоровался: «Помо-

гай бог!» — на что звеньевая Клавдия серьезно ответила: «Спасибо!» А Прокофий Кузьмич ничего не сказал, но, завидев Нюрку Молчунью, набросился на нее:

— Ты чего здесь околачиваешься? Жениха нашла?

Нюрка разогнулась, посмотрела на Шурку, на председателя и тихо ответила:

— Я-то?

— Ты-то.

— За травой пришла.

— За какой такой травой?

— А вот возьму косу да и выкошу весь мусор для коров. Меня теперь на коров поставили.

— Так коси!

— А я косу не взяла.

— Ну и топай за косой.

— А я помогаю лен рвать.

— Не будут коровы такие колючки есть,— сказал председатель.

— А я на подстилку.

— Ну и коси.

— Я-то бы выкосила, да вот...— Молчунья взглянула на Шурку и замялась.

— Что вот?

— Ничего, я так.

Тогда Прокофий Кузьмич взялся за Клашу:

— Не пропололи лен, а теперь мучаетесь!

— Мы пропалывали,— ответила Клаша,— только не весь. Снова наросло везде.

— Если бы пропалывали, лен был бы.

— Мы пропалывали,— повторила Клавдия.

Пока Прокофий Кузьмич нагонял страх на всех, директор натеребил снопик льна. На загорелых руках его появился зеленый налет, медная кожа будто окислилась.

Кинув снопик на полосу и потерев ладони о брюки, Аристарх Николаевич повернулся к Шурке:

— Ну, что у вас тут произошло, Александр?

Шурка тоже бросил на межу только что затянутый сноп и подошел к директору. Бросили работу и женщины.

— Что с механизаторами вышло? — пояснил свой вопрос Аристарх Николаевич.

— Вот звеньевая, ее спрашивайте! — ответил Шурка, указывая на Клавдию.

Клавдия одернула подол замусоленного ситцевого сарафана, вытерла фартуком спекшиеся губы и тоже подошла к директору. За ней потянулись остальные.

— Что у нас вышло? Ничего у нас не вышло! — сказала Клавдия.

— Прогнали их, что ли?

— Кто их прогонял! Видите, лен-то какой.

— А в газете написано, что вы прогнали их.

— Мало ли чего в газетах пишут! Это Шурка вон пошутил, будто мы их турнули.

Молчавший Прокофий Кузьмич сразу оживился:

— Вот, пожалуйста! А я что говорил?

— Ну, давайте присядем, что ли,— предложил Аристарх Николаевич, словно не слышал слов председателя, и первый опустился на межу.

Стали рассаживаться и женщины. Председатель и Шурка не сели, стояли друг против друга: один рыхлый, приземистый, другой плотный, рослый.

Аристарх Николаевич поднял голову к Шурке:

— Выходит все-таки, что ты здесь тон задаешь, а не звеньевая?

Шурка не смутился.

— Турнуть их и надо было.

— За что?

— Да ни за что. Механизаторы тут ни при чем.

— Тэк, что же дальше?

— А что дальше? Руками будем рвать.

— Послать вам машину?

— Не надо машину.

— Слыхали? — опять обрадовался Прокофий Кузьмич.— Вот из-за кого весь район взбулгачили!

— Подождите, Прокофий Кузьмич,— остановил его директор.— Давайте разберемся. Говори, Александр!

— Что ж говорить? Вам звеньевая уже сказала. На такой лен пустить машину — одни убытки будут. Да и машина тоже — только название от нее осталось: мнет, путает, елозит. Разве это механизация?!

Прокофий Кузьмич еще раз не выдержал:

— Вот видите! Все факты имели место!

Аристарх Николаевич, казалось, не слышал его, он разговаривал с Шуркой.

— Осень поздняя, Александр, не справитесь вы со льном, много его.— Директор повел рукой вокруг. С земли ему были видны только желто-зеленый с коричневым оттенком спелый лен да мутное осеннее небо, лен и небо — ничего больше.

Шурка тоже посмотрел вокруг. Его лен не пугал своей бесконечностью: стоя он видел границы поля — лесные опушки, стога сена на клеверищах, холмы перед спуском к реке.

— Справимся, Аристарх Николаевич,— уверенно сказал он.— Не беспокойтесь за нас.

— Шурка тут такое навыдумывал! — прыснула вдруг молодая девушка, прятавшаяся за спиной Клавдии.— «Завтра, говорит, вся деревня к нам сбежится лен теребить».

— А что, и сбежится! — поддержала Шурку звеньевая.

— Чего он навыдумывал? — почти встревожился директор.

Ответила Клавдия:

— А вот мы объявим, чтобы косы с собой брали, кто хочет: пусть всю траву из-подо льна для своих коров скашивают. Вот и сбегутся. Сена для своих коров никто не заготовил, а колючки все-таки не веточный корм.

— Здорово! — вырвалось у директора школы.

А Прокофий Кузьмич возмутился, начал кричать:

— Опять самоуправство! Кто разрешил? У кого спросили? Козами обзавелись, чтобы с колхозом меньше считаться, а сейчас новую лазейку изобрели!

— Надо же и своих коров чем-то кормить, товарищ председатель,— сказал Шурка.— Молоко от них и государству идет.

— Хитрить стали, на кривой все запреты хотят объехать! — шумел Прокофий Кузьмич.

— И будут хитрить, коли запретов много.

— Я тебя научу, молокосос, как хитрить! Нюрка, коси все подряд!

Когда председатель закричал, женщины и девушки, сидевшие на земле, повскакали с мест. Клавдия испуганно заморгала глазами. Кто-то тяжело вздохнул.

Нюрка перепугалась больше всех: ведь если бы она первая не брякнула об этой поганой траве, может, и крику бы такого не было. Во всем она виновата — молчала бы да молчала!..

Шурка хотя и старался держаться как подобает взрослому мужчине, каким он хотел быть, но все лицо его покраснело, и он начал поглядывать на директора школы, словно ждал от него защиты.

А директор сидел себе на земле да тэкал, будто дразнил кого:

— Тэк-тэк! Тэк-тэк!

И поглядывал снизу то на председателя колхоза, то на занятного подростка Шурку.

— Не буду я косить! — вдруг сказала Нюрка Молчунья.

— Что, что? — искренне удивился Прокофий Кузьмич.— И эта туда же? Ты кому здесь подчиняешься? Обоих из колхоза выгоню и участки отберу! Видали, что делается? — обратился он к Аристарху Николаевичу.— Ославили на весь район да еще голос подымают, антимеханизаторы проклятые! Я этот дух из вас вышибу.

Нюрка заплакала.

Директор школы решился наконец вмешаться в разговор.

— Прокофий Кузьмич,— начал он тихо и спокойно,— с травой никакой хитрости, по-моему, нет. Все честь по чести: люди теребят лен, за это им колхоз оплачивает, а трава, как

премия за тяжелую работу, вроде дополнительной оплаты. Лен засорен сильно, это же верно?

— Верно или не верно,— не унимался Прокофий Кузьмич,— только здесь косить никто не будет. План по кормам для колхоза не выполнили, а своих коров кормить хотят. Не позволю!

— А вы успокойтесь, Прокофий Кузьмич, и подумайте.

Но успокоить председателя было уже нелегко.

— И думать не буду! — кричал он.

— А вы подумайте. Люди же хорошее предлагают.

— А я разве плохого для колхоза хочу? Я из-за чего кровь свою порчу?

Аристарх Николаевич посуровел.

— Сейчас вы не правы, товарищ председатель, позвольте вам это сказать.

— Я здесь хозяин! — отрезал председатель.— Всю траву на подстилку выкосим, а будет по-моему.

— Вы не правы.

— Прав или не прав, а я хозяин.

— Значит, так и в райком передать? — спросил Аристарх Николаевич.

Что-то произошло с Прокофием Кузьмичом после этих слов.

— А? — сказал он, и глаза его на мгновение расширились и остановились на директоре, руки недоуменно легли на живот. Он стал быстро успокаиваться. Крик перешел в полушепот, словно председатель сразу охрип.— А? — сказал он.

— Что «а»?

— Да ведь что ж... Вы меня понимать должны...

Аристарх Николаевич засмеялся:

— Ну вот, так-то оно лучше. Песик ваш не зря на меня лаял.

— Понятно! — еще тише сказал Прокофий Кузьмич и повторил: — Понятно!

Он оглянулся на теребильщиц. Те ничего не понимали, но тоже стали успокаиваться. Только Шурка улыбался.

— Тогда понятно! — еще раз повторил председатель.— Тогда другой разговор.

На этом и порешили.

Уходя с поля, Прокофий Кузьмич все же погрозил Шурке:

— Ну, ты смотри у меня!

●

Опять Павел сменил место, и опять жизнь его началась как бы сначала.

На новом месте Павлу понравилось все. Понравилось, что здесь меньше надо было записывать и заучивать, а больше возиться в мастерских с разными инструментами, стучать мо-

лотком, строгать, сверлить. Здесь рослых и сильных, как Павел, было много, и его не дразнили ни «женихом», ни «дяденькой, достань воробушка». Нравилась ему форма одежды и то, что не нужно было самому заботиться о белье, о постели, о бане, о еде — обо всем этом за него думали другие. Нравилось строгое расписание дня — его будили, его вели на утреннюю гимнастику, в столовую, на занятия, в кино.

И Павел стал прилежным учеником.

Слесарные и деревообделочные мастерские ремесленного училища находились в просторном гулком помещении бывшего собора, давно оставленного верующими, на стенах которого еще сохранились красочные изображения. К ним ребята добавили немало своих рисунков, не отличавшихся особой святостью, зато не скучных.

Высоко под куполом летали голуби, неизвестно каким образом проникавшие в это теперь хорошо отапливаемое и освещаемое здание, вили гнезда на разных выступах и в углублениях, на верхних подоконниках, на скрещениях балок.

Ниже голубиного потолка висела сеть электрических проводов, вращались трансмиссии, гудели моторы, шлепали ремни, и, наконец, уже на цементном полу, местами застланном досками, стояли столы, обитые жестью, и станки довоенных и даже дореволюционных марок. Был там один токарный станок «ДИП», и он во всем городе считался чудом техники.

Массивные четырехугольные колонны, соединенные деревянной переборкой, делили помещение на две половины, и не только помещение, но даже запахи и звуки в нем. В первой от входа половине было царство мазута и машинных масел, металлические спиральные змейки свисали со станков, стоял звон, скрежет, визг. Во второй половине, начавшейся примерно там, где раньше был клирос, на полу валялись вороха желтых сосновых и березовых стружек, в которые обязательно хотелось запустить руки, как в вороха ржи на полевом току, либо просто на ходу разгребать их ногами; здесь преобладали звуки шваркающие, шипящие — не звуки, а шумы.

Павел переходил из одной мастерской в другую. На первых порах ему больше нравилось быть в слесарной, где все напоминало о промышленности, об индустрии и все для него было новым, а в столярной пахло деревом, лесом, живицей — все это было чересчур свое, знакомое, деревенское. Поэтому хотя учителя и называли оба помещения цехами, Павел не принял этого названия для деревообделочников. Какой же это цех? Это даже не мастерская. Это деревня, дерево, надоевшее с детства, неинтересное. Заводом, техникой тут и не пахнет.

Настоящего труда до жестокой усталости, до ломоты в костях, до боли в спине Павел еще не испытывал, но работать ему хотелось. Он не отказался бы от любого поручения, стоял

бы за станком день и ночь у всех на виду, только чтоб это было не в столярном, а в слесарном, в железном цехе. Павел мечтал: придет такое время, вызовут его в дирекцию училища (может, сам директор, а?) и скажут ему: «Товарищ Павел Мамыкин! Получен срочный заказ (а вдруг правительственный, а?). Изготовить к такому-то сроку вот *это* (Павел пока не мог представить себе, что *это* будет такое), и вам, как лучшему нашему ученику и умельцу, доверяется сделать *это*, не щадя своих самоотверженных сил и времени». И Павел сразу станет за станок и будет делать *это*, все будут смотреть на него и помогать ему. Из столовой в цех принесут обед: «Кушай, Мамыкин, пожалуйста, тебе сейчас надо хорошо кушать!» Он поест и все нормы выполнит и перевыполнит. И снимок его будет висеть на самой почетной, на Красной доске, и в дирекции будут говорить: «Вот видите, из деревни, а в какие люди выходит человек, деревня тоже новые кадры поставляет!»

Хронический насморк давно уже не беспокоил Павла, но рот его по привычке все еще частенько был приоткрыт, особенно если удивление и любопытство брали верх над всеми прочими чувствами.

— Куда прешь? — закричали на него в слесарной, когда, размечтавшись, Павел ступил в масляную лужу на цементном полу. Вздрогнув, он метнулся в сторону, под трансмиссии, и какая-то неловкая чудо-техника сбила его с ног.

— Вот черт! Не повезло парню! — крикнули рядом, и больше Павел ничего не слыхал.

Прямо с грязного цементного пола перенесли его с разбитой головой в карету «скорой помощи».

Для ремесленного училища это было чрезвычайным происшествием. Значение этого факта перешло даже границы училища. Им заинтересовались и в милиции, и в профсоюзной организации, и в райкоме комсомола. На какое-то время к Павлу Мамыкину было приковано внимание всего районного начальства. И аппарат заработал. Раздавались телефонные звонки, составлялись акты, писались донесения по службе, кому-то грозило наказание за халатное отношение к технике безопасности в мастерских РУ.

В больнице Павла навещали одноклассники и учителя, несли ему разные вкусные передачи, спрашивали его о состоянии здоровья, о температуре, об аппетите, о работе желудка. Казалось, всему городу было нужно, чтобы он скорей поправился.

Павлу все это очень понравилось. Настолько понравилось, что ему даже захотелось подольше полежать в больнице. Врачи спрашивали его, не кружится ли голова, не наблюдаются ли приступы тошноты? А как зрение? Как слух? И Павел стал говорить: приступы тошноты наблюдаются, голова побаливает, зрение и слух как будто немного ослабели. К нему приходили

специалисты — отоларингологи, окулисты, показывали ему с разных расстояний таблицы с буквами и знаками, спрашивали: «Как видите?», проверяли глазное дно, лазили в уши, в нос.

Павел заметно поправился, раздобрел, привык подолгу спать.

Незадолго до выхода его из больницы в палате появился сам директор ремесленного училища товарищ Тетеркин и сообщил своему воспитаннику, что для него в профсоюзной организации приготовлена путевка в областной дом отдыха работников лесной промышленности. Разумеется, бесплатная.

Директор Тетеркин очень боялся за свой пост. Его уже не раз перемещали, как не обеспечивающего нужного руководства, с одного места на другое: с картофелесушильного завода на лесопильный, с лесопильного на маслобойный, с маслобойного в ремесленное училище, но все в должности директора. А сейчас появилась реальная опасность, что его лишат этого почетного звания.

В палату к Павлу Тетеркин вошел с сияющей, добрейшей улыбкой, какая может быть только у отца родного. Но именно из-за этой сияющей улыбки да еще из-за белого халата, необычно висевшего на директорских плечах, Павел и не узнал сразу своего посетителя. А когда узнал, то поначалу оробел.

— Как здоровье наше, Мамыкин, как лечимся? — заговорил директор весело и вроде бы непринужденно, но глаза его при этом крутились настороженно и воровато.

— Да я уже... я скоро! — замялся Павел.— Опять учиться буду. Я же не виноват... Если бы я знал...

— Что ты, что ты! Разве мы тебя виним? В таком деле никого винить нельзя,— обрадовался Тетеркин.— Несчастный случай, и только! Кого мы с тобой винить будем? Никого винить не будем! А тебя в беде не оставим, даже не беспокойся. Вылечим тебя, до конца вылечим, это я тебе говорю.

— Понимаю! — Павел действительно начинал понимать, что ничего плохого ему не будет и опасаться нечего. — Я же не виноват.

— Конечно, не виноват, никто не виноват, ты так и говори. А мы для тебя путевочку выхлопотали. Тебе, брат Павлуша, просто повезло.

— Понимаю! — сказал Павел.

— Путевочку, брат, тебе достали. В дом отдыха. Повезло тебе.

— А что я там буду делать? — спросил Павел.

— Отдыхать. Лечиться.

— Как, ничего не делать?

— В том-то и дело, что ничего не делать. Повезло, говорю.

— И кормить будут?

— Еще как!

— Здорово! А далеко это? — В голосе Павла слышалось уже ликование.

— Ехать надо. Сначала на попутной, потом — поездом.

— Где я возьму деньги на дорогу?

— Попроси у родных.

— Бабушка не даст, у нее нет.

— Напиши заявление.

— Кому?

— В профсоюз. Я передам...

И Павел написал еще одно заявление:

«Мой отец погиб смертью храбрых на фронте Отечественной войны. Моя мать, не щадя своих сил, работала на колхозных полях и отдала жизнь за высокую производительность труда. Я — круглый сирота, учусь в рабочем училище. Прошу дать мне денег, чтобы съездить в дом отдыха на лечение, на туда и обратно. Выучусь — за все отработаю».

●

Выйдя из больницы, Павел расписался в ведомости на получение бесплатной путевки, затем получил деньги на дорогу — опять расписался. Как это просто: распишись — и на тебе путевку, еще распишись — и на тебе двести рублей! Иван Тимофеевич, его бывший квартирный хозяин, рассказывал однажды про такое же. Но то было в Москве...

До ближайшей железнодорожной станции шестьдесят километров. Осень наступила в этом году поздно, но зато в течение нескольких дней подняла реки, размыла дороги, разнесла по бревну ветхие мосты. Движение грузовиков прекратилось. Пассажиры, застрявшие на волоках, оставляли громоздкие вещи на время распутицы в знакомых деревнях и продолжали путь пешком.

Павел не смог выехать из района и, огорченный, пришел в райсовет профсоюзов. В тот день на станцию отправляли инструктора областного совета профсоюзов. Женщина, маленькая, круглая, в очках, уже одетая для дороги — в сером брезентовом плаще, наброшенном поверх зимнего пальто, и толстой шерстяной шали; согласилась взять его с собой.

Профсоюзная лошадь, запряженная в легкий, плетенный из ивовых прутьев тарантас, стояла под окном. На козлах сидела девушка-возница, тоже в сером брезенте, но уже заляпанном грязью.

Павел едва успел сбегать в общежитие взять фанерный, выкрашенный зеленой масляной краской баул с висячим побрякивающим замочком на крышке, и они поехали.

Сидит Павел на мягком свежем сене в тарантасе, ноги его прикрыты учрежденческим тулупом, взятым только ради него, потому что областная начальница заметила, как легко парень

одет, и пожалела его, и теперь Павлу тепло и покойно — все его заботы и тревоги остались позади.

Первые несколько километров от городка дорога была песчаной, негрязной, и лошадь бежала споро. Позвякивал колокольчик под дугой, постукивали железные шины о камушки, скрипел хомут твердой кожей. Все располагало к размышлению.

Павел поначалу чувствовал себя неловко, сжимался в тарантасе, сколько мог, чтобы не стеснить свою благодетельную начальницу; боялся кашлять, сморкаться и даже старался дышать как можно деликатнее. Но постепенно угнетающая скромность его оставила, он небрежно откинул казенный тулуп, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины: в этом было какое-то щегольство, так ездят люди, знающие себе цену,— председатели колхозов, районные служащие. Приятное ощущение своей значительности, незаурядности все больше и больше щекотало его самолюбие. Вот уже и начал он выходить в люди! Такую ли жизнь пророчил ему Прокофий Кузьмич или намекал на что-то другое? Конечно, он еще не служащий и зарплаты не получает, но все-таки и не простой учащийся-ремесленник. Кто еще, кроме него, может вот так взять да и поехать, сидя рядом с областным ответственным работником? И куда? В дом отдыха! И зачем? Отдыхать! От-ды-хать, черт возьми! И все правильно, все по закону. В кармане у него путевка: фамилия, имя, отчество — Мамыкин Павел Иванович; год рождения — указан, место рождения — тоже, пол — мужской, профессия — такая-то, путевка выдана по решению... Все законно!

Хорошо бы сейчас свернуть с большого тракта на проселок, да заехать бы в свою деревню, да подкатить бы к своему родному дому, да чтоб Шурка с бабушкой выбежали на крыльцо: «Господи, кто это к нам?» Да чтоб слетелись ребятишки со всех концов стайками воробьиными, а потом бы подошли мужики, хозяева домов: «Здравствуйте, мол, Павел Иванович, спасибо, что мимо своего колхоза не проехали, не побрезговали земляками, не похармовали!»

Да еще чтобы женщины столпились вокруг тарантаса, и под окном избы, и у крыльца и ахали бы да охали: «Наш ведь парень-то, свой, не чей-нибудь, Пашка, Ваньки-солдата сын, а ныне Павел Иванович, вот как!» А главное, чтобы девушки увидели его и пожалели бы, что не понимали раньше, какой он, раскаялись бы: «Вот, дескать, думали мы, Павлик, Павлуша — и все тут, а оказывается, пальца в рот ему не клади, не простой он, Павлушка-то! С таким человеком любая девушка пойдет хоть на гулянку, хоть на край света — не зазорно, таким Павлушей вся деревня еще гордиться будет, за такой спиной, как у этого Павлуши, не пропадешь!» Вот как!

Сидит Павел на теплом сене, теплый тулуп в ногах, и кар-

тины одна обольстительней другой разворачиваются в его воображении. Негромко, размеренно поет колокольчик, хрустят рессоры, постукивают колеса, на ухабах раскачивается тарантас и кидает Павла то в одну сторону, то в другую, то притиснет его к плетеному боку корзины, то прислонит к теплому мягкому боку женщины. И вздрагивается и дремлется. А колокольчик то замирает совсем, то вдруг начинает звенеть продолжительно и требовательно, и звук этот сливается в одно сплошное гудение, и это уже не колокольчик, а автомобильный сигнал. И тарантас уже не тарантас, а легковая машина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, и впрямь уже не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович, не то генерал, не то секретарь райкома. Здорово!..

Жалко, что и ребята из училища не видят его в эти минуты, среди ребят все-таки есть ничего парни, те, что ходили к нему в больницу и всегда что-нибудь приносили с собой. Ничего ребята!

— Что с тобой стряслось? — вдруг спросила его женщина.

— Что? Чего стряслось? — встрепенулся задремавший Павел.

— Отчего заболел?

— А... Не помню. Меня ударило но голове в цеху.

— Травма, значит?

— Вот-вот, травма.

— Меня зовут Людмила Константиновна.

— Ладно! — сказал Павел.

— Тебе удобно?

— Ничего.

— Голова не болит?

— Шумит немножко.

Шумел лес по обеим сторонам дороги, шумела вода в речках, под мостиками и в канавах, шумела и шипела грязь под колесами. Девушка-возница то и дело спрыгивала с козел прямо в жидкую либо коричневую, либо серую, либо черную с примесью торфа кашу, и плечом и руками поддерживала тарантас, и кричала на лошадь, и била ее кнутом по крупу, на что та неизменно помахивала хвостом, словно от овода отбивалась. Брезентовый плащ на девушке покрылся свежим слоем грязи. Трудно ей было.

Молодая, с ямочкой на самой середине подбородка, белобрысенькая, в мужской зимней шапке, из-под которой выбивалась и падала в откинутый брезентовый капюшон негустая льняная коса, девушка делала свое неженское дело старательно и ни на кого и ни на что не роптала. Дорога ей была знакома от начала до конца, как сплавщику капризная неширокая река, где за каждым поворотом ждет его какая-нибудь каверза,— должно быть, ездила девушка здесь взад и вперед бесконечное количество раз. А ей бы, с этими ее маленькими, несильными



руками, ходить в ненастную осень на гулянки (и Павлу бы вместе с ней!), участвовать бы в клубных кружках, ставить спектакли или читать стихи со сцены. Почему она стала возницей, училась, что ли, мало? Павел начал всматриваться в нее пристальнее, и она ему понравилась. Он с пониманием и сердечным сочувствием следил за ней из тарантаса, когда девушка утопала в грязи и задыхалась от усталости.

Грязи особенно много было на улицах деревень. В одной деревне на крутом подъеме лошадь заскользила и упала на колени. Круглая Людмила Константиновна мгновенно выпорхнула из тарантаса, и этого одного оказалось достаточно, чтобы лошадь справилась, ободрилась и потянула дальше. Павел просто не успел выскочить на дорогу.

Опять стали сменяться избы, серые от дождя, кривые от времени, и у каждой под окнами палисаднички с черемухами, да рябинами, да колодезные журавли — на одном конце коромысла длиннющий шест и бадья, на другом — груз для равновесия: разные деревянные и металлические подвески вплоть до тракторных шестерен и колесных втулок от старых телег.

На волоку, где дорога проходила над рекой по самому краю высокого подмытого и не огражденного никакими столбиками берега, тарантас вдруг начал резко крениться, и его потащило к обрыву. Даже лошадь почувствовала неладное, всхрапнула и круто повернула в сторону от реки, напрягаясь изо всех сил, и, кажется, не устояла бы, не совладала бы с экипажем, если бы из него вовремя не выпрыгнули и Людмила Константиновна и возница. Только Павел остался сидеть как сидел. Вероятно, он просто не успел сразу понять опасности.

И тогда нравившаяся ему девушка вдруг рявкнула на него совсем не по-девчачьи:

— Вылезай, раззява, ваше благородие!..

Ямочка на ее подбородке была заляпана грязью.

Павел испуганно выскочил, когда этого можно было уже и не делать, и, очутившись по колено в грязи, испугался еще больше. Людмила Константиновна и девушка, схватившись за оглобли с двух сторон, помогали лошади, а Павел стоял в грязи и, виновато моргая, смотрел на них, не зная, что делать, за что взяться.

— Барин! До дыр просидел свою сидальницу! — ругалась девушка-возница.— Еще один начальничек растет, не хватает их.

Людмила Константиновна, то ли обидясь за «начальничков», то ли Павла пожалев, негромко, но внушительно остановила ее:

— Чего взбунтовалась? Шумишь? Он нездоров, а ты его в грязь вытолкала. Дались тебе начальники! Не любишь, а возишь. Не вози тогда, откажись.— И она приказала Павлу: — Садись, Павел, не слушай ее!

И Павел больше ее не слушал, сидел в тарантасе, не вылезая до самой станции, и думал о своей болезни. Разное думал.

А все-таки настроение его было испорчено. Исправилось оно лишь около железнодорожной кассы, когда Людмила Константиновна купила билеты и для себя и для него за свои деньги и не захотела, чтобы Павел платил, хотя он настаивал, очень настаивал.

— Ладно, ладно,— отбивалась она,— помалкивай! Не стесняйся. Тебе эти деньги пригодятся, а у меня есть, я работаю. Будешь работать и ты — все окупится, расплатишься.

Павел стеснялся недолго, сказал: «Спасибо!» — и замолчал. Ему было не так неловко, как радостно. Все-таки здорово ему везет: какая-то ответственная бабеха, незнакомая тетка, а почти сто рублей остается в кармане.

●

Профсоюзный дом отдыха помещался в старинном купеческом особняке на высокой сосновой гриве. Правда, старое здание много раз уже перестраивалось, и столько выросло вокруг него всевозможных новых построек — флигелей, крытых веранд, сараев, что былой хозяин вряд ли теперь узнал бы свои владения. Конечно, и сосны были уже не купеческие. Стволы, в один, в два обхвата, с массивной, рубчатой, пепельного цвета корой снизу, бронзовой и медной — сверху, вздымались в небо, словно кирпичные трубы, и там их зеленые кроны, как дымы, сливались в сплошной непроницаемый полог. Все дорожки в парке ежились шишками и колючими, затвердевшими от первого заморозка иголками. Сосновые иголки лежали на скамейках, на круглых, сколоченных из грубых досок одноногих столиках, на беседках, бесхитростно изображавших шляпки белых грибов и мухоморов, на декоративных мостиках и клумбах с поблекшими хризантемами. С одной стороны сосновая грива примыкала к полям пригородного овощеводческого совхоза, с другой — к большой сплавной реке. Спуск к ней начинался от самого дома отдыха.

С железнодорожной станции Павел шел пешком. Он робел и перестал верить в магическую силу своей путевки — что-то его ждет там? А вдруг не примут? Но кругом были обыкновенные, знакомые с детства поля, и знакомо, по-обыкновенному побрякивал замочек на крышке фанерного баула — это успокаивало. Везде своя земля, везде свои люди — может быть, все еще будет хорошо.

И как только он вступил за ограду соснового бора, с ним стали происходить чудеса, не всегда понятные, но, безусловно, приятные и лестные для воображения.

— Добро пожаловать! — сказала ему молодая женщина в

белоснежном халате еще при входе в дом и повела его в контору.— Вы отдыхать?

— Да,— робко ответил Павел.

— Вашу путевку.

Он достал из баула путевку, передал ее, при этом рука у него дрожала.

— Вот,— сказал он.

— Раздевайтесь, пожалуйста...

Законность путевки не вызывала никаких сомнений. Тогда Павел сразу почувствовал себя увереннее.

— Обедать скоро? — спросил он.

— Обед уже закончился. А вы проголодались? Я сейчас отведу вас в столовую, все сделаем, все устроим, не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь.

Женщину в белом халате не смутило, что Павел был одет неказисто; насколько он успел заметить, тут все отдыхающие одевались не ахти как — рабочий народ, сплавщики, лесорубы.

В столовой, похожей на светлую больничную палату, Павла усадили за квадратный стол, рассчитанный на четырех человек, накрытый такой чистой белой скатертью, что он даже откинул один ее конец, чтобы не запачкать.

— Обед новенькому! — крикнула официантка на кухню.

— Что поздно? — спросил откуда-то грубый женский голос.

— Он не виноват. Новенький, говорю!

Из окон столовой, как из любых окон этого дома, видны массивные сосновые стволы с их зеленой иглистой кроной, а дальше, за соснами,— спуск к реке и сверкающая извилистая вода, в одном месте широкая, как озеро, в другом — как узкий ручеек, еле заметный под крутым берегом; еще дальше — необычайные поёмные луга, забитые древесиной, оставшейся от молевого сплава, теперь обсохшей и сложенной кое-где в штабеля либо гниющей вразброс.

Павлу подали сразу три блюда: первое — кислые щи, второе — антрекот («Что?» — весело переспросил он, когда услышал название блюда. «Просто кусок мяса»,— ответила девушка. «Кусок мяса — это и просто неплохо!» — сострил новичок) и на третье — клюквенный кисель.

— Рыбий жир будете пить? — спросила девушка.

— Как в больнице? — вопросом ответил Павел.— Я уже не грудной, можно пить и не рыбий жир.

Он съел все и не наелся, но добавки не попросил. «Успеется еще!» — подумал.

— Что дальше?

— Идите опять в контору, откуда пришли. Вы еще не мылись?

— Нет.

— Ужин в восемь часов.

Из конторы та же сестра в белом халате, которая принимала Павла и отводила в столовую, сейчас провела его в комнату на втором этаже, сказала: «Вот ваша постель, ваша тумбочка!» Затем показала ему душ, сказала: «Мыться обязательно. А через два дня общая баня. Ужинать в восемь часов».

«О-го! — подумал Павел.— Порядочек, как в ремесленном общежитии»,— и спросил:

— Что дальше?

— Дальше ничего. Отдыхайте! Завтра утром обратитесь к врачу, если нуждаетесь в чем. Библиотека внизу. «Распорядок дня» висит на стенке. До свиданья!

К строгому режиму дня, при котором по часам встают, по часам завтракают и обедают, Павел уже привык, и дисциплина эта не удивила его и не огорчила. Напротив, он, как почти все, скоро научился и нервничать и ворчать, если встречались даже незначительные отступления от распорядка. Быстро свыкся он и с тем, что здесь после завтрака и после обеда, да и весь день с утра до вечера ему не нужно было ни работать, ни учиться, ни готовить уроки. У него не было никаких обязанностей, если не считать обязанности хорошо отдыхать. И он стал считать отдых своей обязанностью, это было для него ново и приятно. Хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, свое здоровье — это долг. Для этого тебе предоставлены все условия, все возможности. Обслуживающий персонал дома отдыха обязан тебя обслуживать, обязан — это Павел скоро и хорошо уяснил. За это ему, обслуживающему персоналу, деньги платят. И надо уметь требовать, чтобы обслуживающий персонал честно и добросовестно выполнял свои обязанности по отношению к тебе.

И Павел стал требовать.

Утром он терпеливо выстоял длинную очередь у кабинета врача. Врач, седая женщина лет семидесяти, не меньше, задыхающаяся от астмы, сгорбленная, которая сама должна бы жить здесь в качестве отдыхающей, взглянула на молодого Мамыкина с явным, как ему показалось, недружелюбием.

— На что жалуетесь, молодой товарищ?

— На травму.

— А что с вами случилось?

— Голова болит.

— Вы лечились? Случилось что?

— Лечился в больнице. Был удар по голове в цеху.

— В цехе? Вы — рабочий?

Павел промолчал. Врач заглянула в документы Мамыкина, в медицинское заключение, прилагаемое к путевке, и спросила снова:

— Сильно болит голова?

— По-разному.

— Часто?

— Вот посидел у вас в очереди, и опять заболела.

— Очередь... да... одна я здесь,— начала оправдываться старая женщина.— Очереди большие. Вам бы в санаторий надо, а не в дом отдыха, там — лечение.

— Начальству виднее, куда посылать,— дерзко сказал Павел.

— Начальству? — удивленно переспросила женщина и опять посмотрела в его анкету.— Мо-олод! — покачала она головой, увидев его год рождения, и словно задумалась: продолжать ли называть этого дерзкого мальчишку на «вы» или разговаривать с ним, как принято разговаривать со школьниками.— До чего молод! — еще раз протянула она.

— Молод, значит, и лечить не надо? — спросил Павел.

— Нет, лечить мы тебя будем,— решительно перешла врач на «ты».— Будем лечить. Только без лекарств. Отдыхать будешь, гулять, много кушать, заниматься физкультурой, обтираться холодной водой. А снег выпадет — на лыжах пойдешь. Аппетит хороший?

— Аппетит ничего, есть могу.

— Ну вот и будешь много есть. Обязательно принимай рыбий жир, он с витаминами. И воздух тут витаминный, смоляной с фитонцидами. Дыши глубже. Я тоже здесь живу из-за воздуха. Он лучше всякой пенсии. Люблю запах живицы. Ну иди, все!

— Как все?

— Все! Иди гуляй. Следующий! — крикнула врач в дверь уже мимо Павла, не глядя на него.

●

Из-за сырой, мозглой погоды отдыхающие сидели в парковых беседках и в главном здании — в коридорах, в комнатах общего пользования. Играли в шашки, в шахматы, катали на маленьком бильярдном столе светлые подшипнички, не крупнее пушечной картечи,— на приобретение большого бильярда профсоюзных средств пока не хватало. Кое-кто сидел по углам, на стульях и диванах, либо у светлых окон, читали книги.

Никаких знакомых здесь у Павла, конечно, не оказалось. Не было и сверстников. Но он не унывал. Последнее обстоятельство ему даже льстило — он тут самый молодой, значит, самый удачливый. Скрытого ликования его не испортили даже грубоватые слова рыжего бородача с рыжими глазами и рыжими волосами на руках:

— Рано ты, паренек, начал по домам отдыха ездить, голова бы не закружилась.

— Из-за головы я и приехал.

— А что у тебя с ней?

— Травма.

— На работе получил?

— Да.

— Вершиной прихватило или комлем?

— Не, не в лесу.

— Значит, на сплаве? Или в конторе служишь?

— Не, в цеху.

— Так, понятно. Ну ничего, вылечат. Только маху дал, парень. В другой раз проси путевку в санаторий. Государство у нас богатое!

Павел не ответил, но совет запомнил.

За обедом в столовой не оказалось рыбьего жира. Павел не забыл, что ему врач советовала обязательно принимать рыбий жир, и хоть не любил ни вкуса, ни запаха его и, возможно, даже не стал бы пить ежедневно да еще трижды, но раз жиру не оказалось, Павел потребовал, чтобы ему дали его.

— Положено — значит, подай! — сказал он официантке — низкорослой, некрасивой и, вероятно, потому много кокетничавшей, грубо накрашенной и мелко завитой девушке Фросе.

Фрося обиделась:

— Во-первых, я тебе не «ты». А во-вторых, где я тебе возьму рыбий жир, я не рыба.

— Какое мне дело,— сказал Павел.— Положено — подай!

— Что значит «подай»? — возмутилась Фрося.— Я тебе не лакейка какая-нибудь и не куфарка. Я такая же служащая, как и ты.

— Вот и служи,— сказал Павел.— Ты к чему приставлена?

— Не к тебе же!

— Нет, ко мне. Тебе государство за что деньги платит?

— Много я получаю! — разбушевалась Фрося.— Ученый приехал.

— Где мой рыбий жир? — настаивал Павел на своем.

Вокруг одобрительно засмеялись.

Послеобеденный тихий час отдыхающие обязаны были проводить на открытой веранде. Павлу отвели плетеный лежак, старенькая няня показала ему, как пользоваться спальным ватным мешком; на первый раз сама помогла ему залезть в мешок, застегнула все пуговицы и затянула все шнурки на нем.

Густо, бархатисто шумели влажные сосны, мелкий осенний дождик шебаршил на дощатой крыше, то затихая, то усиливаясь, водяная пыль пронизывала воздух, он становился зримым. А в ватном мешке было и тепло и сухо, и Павлу приснился добрый сон.

Сидит он в тарантасе на теплом сене, не едет, а плывет. На козлах — не та злая белобрысая девушка с косой, падавшей из-под шапки в брезентовый капюшон, а сама обходительная, круглая Людмила Константиновна; держит она вожжи, чмокает круглым ртом, понукая лошадь, и все оглядывается на Павла

Ивановича, будто спрашивает, правильно ли едет, хорошо ли его везет. А кругом тает снег, дорога черная, весенняя, по бокам ее канавы, полные шумной воды, и солнце весеннее над головой. Оборачивается Людмила Константиновна и кнутовищем показывает Павлу Ивановичу на узелок на дороге.

— А ну подними! — приказывает ей Павел Иванович.

Людмила Константиновна натягивает вожжи, останавливает лошадь и, не слезая с козел, поднимает узелок, зацепив его кнутовищем. А узелок этот — бабий платок, а в платке пачка денег, и деньги все принадлежат бабушке, платок тоже бабушкин. Тогда Людмила Константиновна говорит ему:

— Возьмите, Павел Иванович, это ваши деньги.

Павел Иванович кладет деньги в карман и выбрасывает платок на дорогу — старый он, рваный, ни на что не годен. Но платок, упав на дорогу, снова свертывается в узелок, а в узелке опять деньги. Тогда Павел Иванович, не торопясь, вылезает из тарантаса, чтобы поднять узелок с деньгами, и видит, что черный навоз на весенней подтаявшей дороге — тоже деньги. Он начинает собирать их — мокрые, мятые рублевки и десятки — и развешивает на оглоблях, на ободах колес, на дуге, как выстиранное белье, солнце подсушивает эти деньги, а он свертывает их, уже шуршащие, шумные, и складывает в карманы. И вот уже все карманы полны деньгами.

— Распишитесь, пожалуйста, это же деньги! — просит Людмила Константиновна, протягивая ему расходную ведомость.— Просто распишитесь!

Павел расписывается, и они едут дальше...

...На следующий день после обеда отдыхающие опять устраивались на веранде, и Павел захотел, чтобы ему снова помогли забраться в спальный мешок.

— Дует! — крикнул он няне, пожелавшей всем хорошего отдыха.

— Застегнуться надо.

— Как же я застегнусь, руки-то в мешке?

— А как другие застегиваются? — удивленно спросила старушка.

— Я в мешках никогда не спал. У нас в мешках только картошку хранят.

На плетеном лежаке недалеко от Павла поднялась рыжебородая, рыжебровая голова.

— Слушай ты, начальничек! У тебя травма, ну и лежи спокойно.

— Я и лежу.

— Спокойно лежи, не картошка, не рассыплешься. Ишь, нервный какой.

— Ну нервный, и что? — не испугался Павел.

— А то! Рано привередничать начал.
— Тебе хорошо говорить.
— А тебе плохо?
— Плохо. Я всю жизнь без отца, без матери рос.
— После войны, может, половина людей так выросла. Ты один, бедный, обижен! Наверно, давно уже за девками бегаешь...

●

Доить коров, конечно, нелегко, особенно если их много, убирать двор лопатой и вилами тоже не сладость, а носить утром и вечером воду на коромысле, да греть ее, да разливать пойло по корытам — от этого одного за один год можно сгорбиться. Но, пожалуй, тяжелее и надоедливее всего — каждый вечер бегать за коровами на выпас. Если бы только раз в неделю, ну, на худой конец, два раза, а то ежевечерне да по одним и тем же местам. Обрыдло!

Нюрку еще выручали молодые ноги, а пожилым напарницам ее было просто невмоготу.

Так велось от века: по утрам подоенных коров выгоняли из оград на улицу, иногда провожали их до околицы, а дальше они шли, позвякивая колокольцами, уже одни, без пастухов, и кормились до вечера, разбившись на небольшие стада.

В сумерках ко второй дойке коровы сами возвращались в деревню, каждая спешила в свой дом, к своему стойлу, где приветливые хозяйки встречали их крепко посоленным куском хлеба, мучной с отрубями болтушкой или охапкой зеленой травы. Редко-редко какая-нибудь строптивая пеструха устраивалась на ночевку на выгоне, и то лишь потому, что дома во дворе было слишком грязно либо хозяйка угощала ее чаще пинком, чем хлебным куском.

Заблудиться коровам было негде. На десятки верст вокруг деревни тянулись изгороди из жердей и кольев. Они охватывали и поля, и луга, и выпасы, разделяя их и перекрывая все выходы в глухой лес и на угодья других сельских общин.

Называли эти изгороди осека́ми. За каждым домохозяином закреплялось по нескольку участков осеков, за исправность которых он отвечал своей совестью и головой перед сельским сходом.

— Как это головой? — спросила однажды Нюрка у своего деда, когда он рассказывал о том, что было раньше.

— Да что ж, простое дело. Если кто прохлопает ушами, не починит вовремя свой огород, потраву допустит — вызовут его на общий сход и поучат.

— Как поучат?

— Что, паре, свой язык понимать перестала? Ну, по шее поучат, по спине и по разным другим местам. Да так поучат,

что больше вовек не забудет, и совесть не потеряет, и осека будут всегда целы.

Никакой необходимости в пастухах раньше не было. Но с годами старые осека подгнили, начали разваливаться, чинить их не стало сил, и колхозное стадо уходило от деревни порой слишком далеко. К тому же не стало и колокольцо́в на коровах.

Поначалу отказывали ворота в изгородях, поломались запоры.

Сейчас дивно вспомнить, сколько раньше было самых необыкновенных, простых и хитроумных деревянных запоров у полевых ворот. К установке их крестьяне относились как к искусству. Не признавали никаких железных крючков, никаких ершей и гвоздей — это было бы слишком богато и чересчур непритязательно. Зато изготовление накидных колец, петель и обручей из распаренных виц, всяких березовых задвижек, упоров, заворней, заверток, щеколд требовало выдумки и мастерского владения топором.

Сооружались даже своеобычные автоматические защелки: чуть отогнешь в сторону пружинистую жердочку — и ворота, скрипя деревянной пятой, распахиваются сами, хлопнешь ими — и жердочка становится на свое место, упираясь концом в гнездо обвязки. Не то что корова или лошадь, никакая коза таких ворот не откроет.

Хорошими запорами деревня гордилась, как резными балконами, просмоленными крышами и убранством своей часовни. Это, как и многое другое в те времена, было творчеством. Но вот перестали запираться ворота, начали обваливаться изгороди то в одном месте, то в другом — и скот пошел гулять по посевам, по сенокосам, по болотам и лесам. Вечером жди не жди — не придет в колхозный двор ни одна корова.

Долгое время на выгон в сумерках бегали сами доярки. Выйдут из деревни, осмотрятся: «Ну, кто куда? Давайте лучше порознь — скорей наткнемся». Нюрка Молчунья несется через все Летовище в Угол. Авдотья Мишиха к Югскому кордону, Ваниха Пронькина на Казино болото — все в разные стороны. Найдут коров, пригонят домой, но сами так вымотаются, что и подойник в руки брать неохота.

Пастух нужен — это уже понимали многие, но слишком необычным, даже нелепым казалось для здешних мест: пастух за коровами! Ну, пастушок, мальчонка какой-нибудь, школьник — еще куда ни шло. Но мальчонка с коровами не управится. А взрослого ставить — это значит оторвать от дела рабочего человека, да еще и платить ему придется.

Нюрка долго молчала, думала, как быть, и наконец решилась пойти в контору, к самому председателю. О своей усталости она не заикнулась бы, но за других постоять ей не казалось зазорным.

— Чего тебе? — спросил ее Прокофий Кузьмич, когда Нюр-

ка переступила порог кабинета и молча замерла у дверей. Письменный стол председателя был завален какими-то ведомостями и окурками. Хозяин неохотно поднял глаза на девушку:

— Ну, чего молчишь?

— Я не молчу.

— Чего тебе?

— О пастухах нынче много пишут, Прокофий Кузьмич,— сказала Нюрка.

— Тебе что за дело?

— А у нас пастуха нет.

— В пастухи, что ли, хочешь?

— Нет, я коров дою.

— Ну и дой, выполняй план.

— Я выполняю.

— Тогда иди, все!

Прокофий Кузьмич снова уткнулся в ведомости.

Но Молчунья продолжала стоять у порога.

Прокофий Кузьмич подождал и спросил ее снова:

— Еще чего тебе?

— Пастуха бы, Прокофий Кузьмич.

— Так, опять пастуха?

— Пастуха.

— Вот что! — В голосе Прокофия Кузьмича послышалось озорство, он захотел пошутить с робкой девушкой.— Значит, пастуха захотела?

— Колхозу пастух нужен! — ответила Нюрка серьезно.

— Вот Пашка выучится, и отдам его тебе в пастухи.

Нюрка пропустила мимо ушей и эту шутку.

— Удои бы сразу прибавились,— сказала она.

— Все у тебя или еще не все?

— У всех пастухи есть,— настаивала Нюрка.

Прокофий Кузьмич начал терять терпение.

— Да ты что, ополоумела? И без того работать некому, а тебе еще пастуха подай!

— Без пастуха коровы бегают далеко, не столько едят, сколько траву топчут,— не унималась Нюрка.

Прокофий Кузьмич мог накричать, указать Нюрке на дверь — выйди, дескать, и не мешай работать, тем более что работы всякой в страду было много и не так уж хорошо все шло, а тут еще уполномоченные один за другим... Но он сдержался и заговорил с Нюркой совершенно спокойно, сквозь зубы:

— Вот что, девонька. Если Пашку ждать не хочешь, мы тебе другого пастушка подберем, раз уж приспичило. Или подождешь? Любовь, говорят, зла... За такой клад, как ты, любой парень ухватится.

— Тогда я зайду в другой раз! — спокойно и серьезно

сказала Нюрка, как будто не слышала, о чем перед этим говорил председатель.

В другой раз она держалась так же робко и так же твердо.

— Людей жалко, Прокофий Кузьмич,— начала она, остановившись опять у порога.

— О чем ты? — не сразу понял ее председатель.

— О доярках, о напарницах своих.

— А! О пастухе?

— О пастухе, извините уж меня.

Прокофий Кузьмич взял со стола тяжелые, массивные счеты, неторопливо вышел из кабинета в общую конторскую комнату, что-то поговорил там с бухгалтером и скрылся.

Через несколько дней Нюрка пришла к нему в третий раз. Перед этим она повидалась с директором школы Аристархом Николаевичем и разговаривала еще с каким-то уполномоченным.

В третий раз к Прокофию Кузьмичу ее не пустил главный бухгалтер, лысоватый старомодный человек, нанятый колхозом где-то на стороне и отлично умевший исполнять приказания непосредственного своего начальника. Он просто взял Нюрку за рукав, притянул к своему столу и сказал:

— Не надо, Аннушка-девочка, туда больше ходить, ты своего добилась: пастуха мы уже подобрали, приказ подписан, все по закону, и послезавтра за твоими коровами будет полный присмотр и пригляд. Все по закону!

●

В парке дома отдыха вокруг одного из сосновых стволов был сколочен грубый, но милый для всех дощатый стол. Сосна поднималась к небу прямо из середины его. Замкнутым кольцом вокруг стола была сделана и скамейка. В хорошую погоду здесь собирались отдыхающие, играли в карты, в домино, рассказывали анекдоты. Книги тут читались редко — все, кто любил посидеть с книгой, забирались подальше от дома, в глубь сосновой гривы или на берег реки, в кусты, где ютилось множество разных птичек, а весной заливались по ночам даже соловьи.

В туманное осеннее утро Павел ходил по парку. На тропинках валялись ощеренные сосновые шишки, похожие на маленьких ежиков, и навалом лежали мягкие хвойные иглы. Иголок особенно много было там, где в дождливые дни текли ручейки. Увидев круглый стол вокруг сосны и подивившись выдумке мастера, Павел присел на скамью и почувствовал, что ему страшно не хватает брата, или бабушки, или хоть когонибудь из односельчан, чтобы можно было поговорить со своим человеком и похвастать всем, что он теперь имеет. Разве не ему

принадлежит все это богатство, разве не он, рабочий человек, здесь хозяин? Он! Ведь так и в газетах пишут. Он — хозяин, и все это — его! Посмотрел бы сейчас Шурка, каким стал его брат! Глянула бы бабушка — заплакала бы!

Павел решил написать письмо. Сходил в свою комнату, взял из баула бумагу, карандаш, конверт.

«Здравствуй, бабушка, здравствуй, Шурка-черт! Всем по низкому поклону. Вы сейчас меня не узнали бы, какой я стал. Живем мы на высокой горе в двухэтажном доме. Это дворец! В одних комнатах живем, в других питаемся. Столовка наша вся в узорных скатертях, и это не столовка, а ресторан. Кормят меня почем зря, чем только не кормят, как на убой, и все бесплатно. И лечат. И все по часам. Три раза в день дают рыбий жир с витаминами. И разные другие блюда. Везла меня от нашего города до станции сама Людмила Константиновна из области. И по железной дороге у меня билет был бесплатный. Мне все везде дают бесплатно. Директор нашего дома, когда узнал, что меня привезла сама Людмила Константиновна, обрадовался и распорядился, чтоб все для меня было. Спим мы не в доме, а на веранде, под крышей без стен — мороз не мороз. Это для здоровья. И все за мной ухаживают...»

Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерзнет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже интересно, что бабушка из-за него может прослезиться. И, представив себе, как она будет охать и ахать, и сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко испугается!

В поисках почтового ящика Павел вышел за деревянную ограду дома отдыха. В мокром песке, среди обнажившихся корней старой сосны, возились ребятишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу заметили Павла, остановившегося над ними, и он услышал, о чем они говорят.

— Как это «охотником»? На охоту ходят, когда уработаются до смерти. На охоту все ходят — и летчики, и моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?

— Я все равно охотником буду.

— Это не жизнь.

— А я хочу всю жизнь спектакли ставить.

— Ну и ставь!

— А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду отдыханцем.

— Кто тебе столько путевок даст? — неожиданно для ребят спросил Павел.

Мальчики вскинули на него глаза, но не испугались, потому

что Павел не показался им настоящим взрослым. Один мальчишка ответил:

— Зачем ему путевки, он — сын здешнего директора.

Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:

— Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у сосны подрываете?

— Мы не подрываем! — дерзко ответил сын директора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костюме-комбинезоне и прорезиненной куртке.

— Как не подрываете?

— Не твои корни!

Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на всем готовом.

●

Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина, не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не признавала больным — как же иначе можно понимать ее? Так именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого парня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали? Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет кому-нибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу больше уже не видать никаких путевок.

Такое предположение беспокоило Павла настолько, что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать ее, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расходовать в несколько раз больше. Это ли не антигосударственная практика? Он так и говорил: «антигосударственная практика».

Как-то Павел узнал стороной про сердечные приступы и какие ощущения при них испытывает больной. В результате у него несколько раз произошли неприятности с сердцем.

Старушка на первых порах выслушивала все его жалобы, но потом стала отделываться от него шуточками, посылала выкупаться в холодной осенней воде, либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девушками — да, да! Посылала ухаживать за девушками. И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную женщину.

Только ведь другого врача в доме отдыха не было. Были медицинские сестры, но разве без докторских указаний могли они хоть шаг ступить? Да, кажется, и сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. По крайней мере, ни разу среди

ночи, когда его донимала бессонница, сестры не вызывали врача к его постели. И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невнимательном к себе отношении директору дома отдыха, а главное — Людмиле Константиновне, в областной Совет профессиональных союзов.

Эта угроза произвела впечатление на дежурную няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная, бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний флигелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно, потом опять в дверь, вопя: «Человек умирает!»

Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.

Разбуженная воплем няни старушка-врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.

●

Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает насморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.

В избу затащили деревянный бук — кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунках и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.

— В этом чане, Пашута,— говорила она,— я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом

глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два — у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки — все немочи как рукой сымает. Да что немочи — любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо — люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.

В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья — не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.

Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой,— не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.

Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.

— Полезай, Павлуша! — сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены.— Раздевайся!

Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.

— Будто газовая камера, бабушка.

— Какая такая?

— Ну, душегубка.

— Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело — дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.

— Ладно, бабушка!

Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднёбицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.

— Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!

Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку.

Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно — вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя — и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании — ни стона, ни рева.

Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.

— Доведу я каменья,— шепчет бабка,— до белого каленья, чтоб от пара, от жара простуда сбежала, чтоб от белого тела вся хворь отлетела...

Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.

— Баушка!

— Сиди, Пашута, не бойся. Вот я еще!..

— Баушка!

— Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Жарко тебе?

— Дых... дышать!

А половики и полушубки над головой опять сомкнулись. И Павел, теряя силы, исходил потом не столько от жары, сколько от страха.

— Бабка!

— Сейчас, сейчас, добавлю. Ты о хорошем думай, очищайся!

Павел слышит это, но думать ни о чем не может. В сознании мелькают только обрывки каких-то давних видений — лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками мечущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколовшая колодезный журавель, изба, загоревшаяся посреди деревни,— в тот летний страшный день пламя смело половину посада и почти все поле спелой сухой ржи, прилегавшее к гумнам со стороны леса.

— Ба-абка!

— Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!

Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи коснутся скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг качнешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг сунется с камнем, она торопится, и сослепу да впопыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит красное ядро на плечо, на колени. Уф! «О хорошем думай!» О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха дышалось легко и свободно. Главное в жизни — дышать. Дохнуть бы! Скоро ли она?

— Скоро ли, баушка?

— Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.

Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кадки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось: но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже никакого стыда — не до стыда было.

— Блаослови, осподи,— шептала бабушка, укладывая его на печи.— Уйди хворь-хвороба из костей хлебороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!

Пар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла духота, окна запотели, Павлу все еще трудно было дышать. Полегчало, только когда бабка влила ему в рот стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.

Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что́ — никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении. А Нюрка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она постаралась вымолвить первые свои слова от порога как можно спокойнее:

— Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Никакого дела нет.

Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, казалось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на печи живого Павла.

— Ой, что это у вас? — спросила она, указывая на бук, из которого валил пар.

Все окна были еще в испарине, и на потолке висели светлые капельки воды, словно после большой стирки.

Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.

— Да вот Павлушу пользовала,— сказала она.— Лечили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на ноги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Да ты проходи, садись, в ногах правды нет.

Нюрка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то горечь, и, не сводя глаз с печки, спросила:

— Ой, что это с ним?

— Да ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним.— Анисья повернулась к Павлу: — Жив ты там, Павлуша?

Павел застонал.

— Ой! — отозвалась на его стон Нюрка Молчунья. Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать многое, но не решалась — боялась выдать себя, и она спросила только: — А Шуры дома нет?

— Нет Шуры дома,— ответила Анисья.— Нужен он тебе?

— Да нет, так я. Ну, я пойду!

Нюрка убежала. А через несколько минут после нее появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде его желтели крошки вощины.

Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких страхов, потому что, едва переступив порог, он начал совестить Анисью:

— Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? Погубить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к председателю! Посылай за доктором!

Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным совком камни из бука и складывала их в ведро. Она только выше засучила рукава кофты и закричала в ответ так же неприветливо:

— А ты, старый умник, с цепи сорвался або что? Положи крест на лоб — в дом вошел.

— Что с парнем сделала, спрашиваю тебя? — настаивал старик.

— А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед аль тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза, что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в свой дом?

Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на печной приступок, заглянул в лицо Павлу.

Павел спал и потел. Струйка пота со лба по переносью и мимо носа стекала, как по желобку, в приоткрытый рот.

— Смотри у меня, дурная! — шепотом пригрозил Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел из избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза и вернулся.

— Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего понять не мог! — во всю силу голоса закричал Прокофий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.

Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей внучки.

— Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет, лошадь запрягать не надо.

Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спросить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову, лицо у него было жалкое, красное и все в поту. Казалось, он плачет.

— Мне хуже! — сказал он.

Тогда председатель набросился на Анисью:

— Ты, пережиток капитализма, что делаешь? Варварство в колхозе разводишь? Невежество? Государство не жалеет средств, учит людей, а ты подрываешь? Смену мою загубить хочешь? Шурку своего лечи...

Перепуганная Анисья перестала возражать, отмалчивалась, и только.

●

После этого Павел еще не раз получал курортные путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие другие блага, получают далеко не все. Не все умеют писать заявления. Трудно бывает получить первую путевку, трудно распознать, как это делается,— научиться просить, войти в нужный список, в доверие. Павел прошел эту школу с успехом.

Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за состоянием здоровья учеников ремесленного училища, однажды по-матерински посоветовала ему:

— Пожил бы ты подольше у своих родных в деревне. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы родным воздухом, попил бы молока да поел бы не в столовой, а своей деревенской здоровой пищи — и перестал бы болеть.

Павел ответил ей с полным доверием:

— Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я поеду, кому я нужен? Дома только бабушка да брательник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им на голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них. А меня воспитала Советская власть. Я же не дома травму получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на буку паром, чуть до смерти не залечила. Варварство у нас там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом лечат — кладут на зуб вместо лекарства. А кто с пупа сорвет — горшок на пуп ставят вместо банок, весь живот в горшок втягивается. Да разве бы я болел, если бы не сиротская жизнь!..

Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она заполнила очередную курортную карту на имя Павла Мамыкина.

По этой причине он редко стал бывать дома, даже каникулы у него были заняты. Бабушка и Шурка недоумевали и обижались на него.

Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству, тем значительнее казался он самому себе. Он становился своего рода «номенклатурным больным».

Заявления приходилось писать все чаще, и не только о выдаче бесплатных путевок. Однажды Шурка сообщил Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мелких деталей для конного привода к молотилке. Павел поговорил с ребятами, с преподавателем слесарного дела, побывал вместе с ними в РТС, и было решено изготовить эти детали собственными силами и отправить в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформления операции потребовалось заявление. Павел написал его по всем правилам от имени правления колхоза. Училище гордилось проделанной работой, и Павла очень хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был отправлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она знала, что это он, а не кто иной,

удружил своему колхозу, и бабушка извлекла из его сообщения немалую пользу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпущено для коровы несколько вязанок колхозного сена.

Павел продолжал писать заявления и по окончании учебы: о трудоустройстве — не по разнарядке, а где самому хотелось; о подыскании комнаты — не всю же сознательную молодую жизнь скитаться ему по общежитиям! — и, наконец, опять о курортном лечении.

Форма заявлений постепенно сложилась и отработалась — устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне, мать — на колхозном фронте, двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем — что если бы не Советская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но Советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один — в сельском хозяйстве, другой — на производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все отплатит своему щедрому отечеству. Наконец: «Прошу не отказать мне в моей просьбе».

Редко, очень редко подобные заявления не действовали на сердобольных начальников: любой из них когда-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас богатое...

●

Шурка так уставал на колхозной работе, что с вечера забирался на сеновал спать, когда его сверстники, умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к девчатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращались люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона, лаяли собаки, гоняясь за скотом, скрипели колодезные журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяжелые бидоны в телегу и торопя оформление очередной накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные запахи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов, сменялись теплыми застойными запахами дворов и поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова любви, как звуки гармошки — простые и волнующие.

Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом — на угор, обычно около пожарного сарая, где хорошая площадка для возни и для плясок.

С повети Шурке хорошо слышны и сонное бормотание кур на насестах, и всполошенные петушиные крики, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драночной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сельских улицах.

— Марья Митрошина, опять твоей негой сатаны с рогами

нет, весь день ходила вместе со стадом, а как вечер — она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен час.

— Вот окаянная, не любит домой ходить.

— Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брюхо. В лесу грязи меньше.

— А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла? Спроси доярок!

— Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!

— Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно молока со стакан дает.

Медные колокольцы гремят все реже и реже — коровы расходятся по дворам. Шурка не может заснуть, ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его. А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра опять придется клевать весь день, того и гляди, под колеса попадешь, а то и под лемеха.

— Груня, пошли полуношничать! — слышит он знакомый зов девушки-соседки.

— Спать охота!

— Плюнь, на том свете выспишься.

«Оно, пожалуй, и верно,— думает Шурка.— Все равно не заснуть».

— Эй, карапуз, позови батьку к окошку! — раздается другой голос где-то поблизости.

— Я здесь, кто это? — отзывается глухой бас.

— Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.

«Где-то сейчас Пашка? — начинает думать Шурка о старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и обида на Павла опять поднимаются в его душе.— В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Ученье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул. Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает. А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут городской жизни — и ищисвищи, назад в деревню калачом не заманишь, батогом не загонишь...»

А как жил сам Шурка все это время, чем он занимался? А тем и занимался, что колхозу требовалось. Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая большая прибыль. В льноводческом звене вся инициатива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала упрашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее поддержали, и Шурка согласился. Со всеми наравне он возил навоз на участок, и теребил леи, и расстилал, и собирал, сам следил за его сортировкой. А когда выяснилось, что приемщики на льнозаводе занижают сортность тресты в своих интересах и спорить с ними невозможно — они специалисты, Шурка поехал в район к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изучить, по каким признакам определяются

номера тресты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.

Но, взявшись за книжки, Шурка почувствовал, как много он потерял в жизни, как трудно ему будет без ученья. И об этом думал он сейчас:

«Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, смотрел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот приедет начальник начальником и скажет: «Ну, родные мои, всё, собирайтесь, всех с собой беру!» Куда беру?..»

— Какое вам кино в горячую пору? — вдруг закричал на улице бригадир — Шурка узнал его по голосу.— Планы сорвать охота?

— План, план... А люди для тебя что?

«Кино тоже по плану можно бы показывать,— думает Шурка.— А то кампания за кампанией по плану, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для души,— от случая к случаю. Почему это?»

На повети такая темнота и так душно, что Шурке иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым покрывалом. А стоит курице или петуху переступить на насесте да квокнуть чуть слышно — и сразу становятся словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а над крышей ночное небо и звезды.

«Все-таки не зря сказал тогда директор школы,— вспоминает Шурка,— я бы тоже учиться мог. Эх, мне бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, закались на свежем воздухе, на колхозном хлебе — и тогда уж никакая наука не будет страшна...»

Шурка не верил, что в городах не хватает умных людей, таких, скажем, как Павел. В деревнях — да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?

«Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой, а я бы той порой... Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину начал! За год — семилетку, за два года еще чего-нибудь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я? Опоздаешь, если бабушка только и дело что о женитьбе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бригадиром хотели избрать, так председатель сказал, что еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает, шумит много. Шумит — это значит критикует...»

Все дневные голоса и звуки на улице наконец смолкли. Тогда на угоре заиграла гармошка-хромка. Ее щемящие душу переборы возникли где-то далеко-далеко, наверно еще в поле,

и оттуда, из-за перелесков и пустошей, усиливаясь и раздаваясь вширь, неотвратимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как наводнение, как бедствие, и — какой уж тут сон! — Шурка не выдержал, встал, на ощупь оделся и почти бегом бросился с повети на призывный зов гармони и девичьих прибауток.

Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно порадовалась этому: «Растет, растет парень, еще немного — и невестку приведет в дом. Дай-то бог!» И лишь после его ухода она заснула спокойным, надежным сном.

А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то не совсем понятное, не осознанное еще происходило в ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, почему не подает голоса и как ей ко всему этому относиться?

Бесконечно много надежд, больших и маленьких, связывала она с Павлом. «Вот вырастет, вот выучится, вот выйдет в люди!» — постоянно повторяла она и про себя и вслух, и это звучало как извечная старушечья молитва: «Помоги, господи! Спаси, Христос! На тебя вся надежда!»

Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж лет не смолили ее — какая ныне смола! Ладно, теперь недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку и смолу достать можно.

С коровой тоже надо было что-то порешить — стара шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая. Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а взять другую, первотелочку, либо своего телка выкормить. Да ведь без мужика нелегко решиться на это, на одну животину сена не наскребешь, а тут двух надо кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай какой-нибудь.

И с коровником тоже — ломать, перестраивать надо. Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо. И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров, да бык, да телята, какой ни мороз — тепла хватало. А ныне в этом же дворе стоит-дрожит одна Пеструха, пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымя в инее. А корму маловато — какое уж тут молоко! Развалить надо этот двор, отобрать бревна, которые поцелее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать новый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою живность — корову, пару овец, поросенка. А куры по-прежнему на повети... Эх, силы нужны, деньги нужны, хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует. С Шуриком не обсудишь — молод еще, не все понимает, старается не для дома, встает рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему

не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же своими руками надо делать. Вот выучится старшой: и глаз хозяйский, и деньги — все будет сразу.

Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем думает старуха, когда ей не спится. И все ее добрые помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Пашута! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость!

На чем держится любовь бабушки к своим внукам, в чем она и какова мера этой любви,— кто знает? Родительская любовь понятна. Детеныша своего защищают и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к уродцу умножает ее самоотверженность. А почему бабушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой не меньше, чем матери своих детей? Что известно об этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а дедушка обещает: «Будет вам и белка, будет и свисток»?

У бабушки Анисьи никого в жизни не осталось кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сыновья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева, большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания, выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно допустить, будто не окупится все то, что она вложила в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача будет! Вот только приедет Пашута...

И Павел приехал.

●

Но сначала от него пришло письмо.

Странное это было письмо. Шурка, устроившись на табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз часто останавливался, словно обдумывал прочитанное, а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:

— Да читай же, читай скорей, только не прибавляй от себя ничего, выдумщик ты!

Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хватались за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачется, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и высморкаться.

Павел писал, что хотя здоровье его не поправляется, но на работу он устроился выгодную и сейчас хочет начинать жить как следует. Только на первых порах надо, чтобы ему помогли, потому что положение его трудное: он женился!

Дочитав до этого места, Шурка вдруг недобро расхохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица, и ситчик быстро

потемнел от мокрых пятен, будто на нем рядом с серенькими полинявшими цветочками появились какие-то новые причудливые узоры.

— Спаси Христос! — говорила она.— Ни о чем не спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и... женился. Обманул ведь, а? Да как же это он?

«Дорогая бабушка, родимый мой братик Александр,— отхохотав, продолжал читать Шурка,— жена у меня городская, Валерия — ничего, хорошая. Кроме нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство остается после их смерти за нею; значит, все будет наше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом, сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, перебрать все стены и покрыть крышу, мало ли что может случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких врагов много. На него опять насчитали по ларьку не одну тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит, денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом перестроить — лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы уж пожалейте меня («Слыхала?» — резко крикнул Шурка, оторвавшись от письма и взглянув на бабушку), помогите мне подняться на ноги, соберите, сколько сможете, и напишите, я живо приеду в деревню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно заколоть да на базар увезти: Петр Фомич говорит, что он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, помогите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у меня, кроме вас, нет.

К сему *Павел Мамыкин*».

— Слыхала?! — сказал опять Шурка, бросая письмо на стол и с укоризной обращаясь к бабушке, словно она в чем-то была виновата, при этом самое неподдельное удивление и недоумение звучали в его голосе.— Слыхала сироту? — Казалось, он мог ожидать от Павла чего угодно, только не сообщение о женитьбе.

Бабушка с еще большим усердием начала сморкаться и протирать глаза свои ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.

— Слыхала, как не слыхать! Женился-таки... О господи! И не отписал ничего, не посоветовался, будто ему советы мои больше и не нужны.— Бабушку, видно, больше всего обидело, что Павел не сообщил ей заранее о своей женитьбе.— Как же мы теперь с тобой будем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не рано ли женился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него самостоятельность-то, есть ли опытность-то? Как бы чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая жена каблуком на

горло не наступила. А молодая ли жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое имеет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси: мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадьбу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?

С удивлением и недоумением смотрел теперь Шурка и на бабушку свою. Он словно впервые увидел ее такой, какова она есть, и растерялся.

— Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги нужны! — закричал он ей в самые уши, будто глухой.

Растерялась и бабушка. Но представление о Павле как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся в ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над всеми прочими ее чувствами.

— А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он родной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, в правление сходить надо, посоветоваться або что, там тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова не скажет. Так и так, мол, старший брат женился, подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не забудет, не такой он человек.

Шурка рассердился:

— Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы просить. Так я и буду на него всю жизнь работать? — Шурка впервые говорил о своем брате со злобой.— Не буду я на него работать! Женился, папочкой, наверно, уже зовут, а все в сиротах ходит да на подмогу надеется. Батраки ему нужны!

Бабушку испугали эти необычные слова его: какие батраки? Кому нужны? На кого он не будет работать?

— Ты это про кого? — тихо спросила она.

— Про него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! — кричал Шурка.— Он всех обманул! Он и председателя колхоза обманул: тот на него надеялся — вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.

— Обманул, внученька, это уж верно, что обманул. А может, еще и не обманул?

Бабушка опустила фартук, разгладила его на коленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не знали, что делать дальше.

— Ты от своего брата отказываешься? От родного брата отказываешься, Шура? — спросила она тихо.— Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть, кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешься?

Бабушка говорила тихо, она не ругалась, не корила внука, а все будто спрашивала, будто хотела уяснить, что же все-таки происходит на ее глазах.

— Ведь он сколько лет учился, ведь он уже выучился, как же ты от него отказываешься?

— И я бы учиться мог! — вставил Шурка, но уже без крика.— Мне директор говорил, что у Павла не получается, а у меня бы получилось. Директор сам говорил.

— Директор говорил, а вот Павлик-то выучился, в люди вышел, на городское жительство осел, а ты дома был, дома и остался. Как же ты без него, без брата, проживешь, коли от него отказываешься? Деревня — она деревня и есть, а Пашута в городе будет жить, он неделю поработает — и деньги получай на руки, чистенькие. А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя выручит, когда хлеба купить будет не на что? Або не так?

— Бабушка, ты, видно, ничего не поняла. Пашка у нас денег просит.

— А ты не суди старшего,— успокаивала она его.— Чуть что — он тебе и заступа, и ходатай в районе.

— Никаких мне ходатаев не нужно. Руки свои да горб — вот наши ходатаи. Да и он, Пашка, со своими поросятами далеко не уйдет.

— Ученый, Шура, завсегда далеко пойдет. А Пашута теперь ученый.

— Никуда он не пойдет. А пойдет — так споткнется!

Перед самым закатом солнце заглянуло в избу. Днем оно было за облаками, а вечером, когда небо очистилось, его заслоняли крыши соседних домов. Но теперь солнце оказалось на противоположной улице в просвете между двух домов, прямо перед окнами и совсем рядом. В избу оно глянуло не сверху, а снизу. Засияли потолок, полати, печная лежанка, верхние края цветастых занавесок на кухне, горшки и подойник на полице и даже старинный медный с рожком висячий умывальник на стене около входной двери, а пол и вся часть избы ниже подоконников остались неосвещенными и, казалось, посерели еще больше. Так всегда: нет большого света — и серенькое кажется ярким, а при большом свете все черное чернеет еще сильнее, тени углубляются, краски свежеют, и оживают, и оживляют все вокруг.

Солнце озарило избу так неожиданно, что и бабушка и внук перестали разговаривать. Закатный огонь заиграл на стеклах окон, на стекле висевшей над столом лампы — похоже было, где-то затопилась большая печь и свет из ее чела проник в избу. Бабушка подошла к умывальнику сполоснуть руки и заслонила его спиной — умывальник потух, а когда повернулась боком, чтобы вытереть руки, медный раскачивающийся ковшик снова засиял и медный зайчик забегал по стене и по полу. На освещенной стене зайчик казался бледным, робким, а на темном полу ярким, озорным.

Вытерев руки, бабушка прошла на кухню, села против

печного чела и опять подняла фартук к глазам. Шурка услышал, как она вздохнула, всхлипнула и сквозь слезы начала жаловаться своей богородице:

— На свадьбу не позвал. Ведь не позвал! А уж я ли его не честила, я ли его не обхаживала. Конечно, куда мне, старой ведьме, все равно не поехала бы. Да и ехать-то не на чем. А все-таки пригласить должо́н был...

Перебежка зайчиков по избе оборвалась, солнце ушло из окон, и бабушка Анисья опустила голову еще ниже. Ни о чем ином она не могла сейчас думать, как только о Павле. А *что* можно было думать о нем и *как* о нем думать — хорошее или плохое? Все-таки Шурка не зря обиделся на письмо брата, почуял он что-то неладное в нем. А что неладное? От веку так велось: женится один из братьев и начинаются всякие ссоры да раздоры. Вот и женился Пашута, и стал он больше думать о себе. Ему же надо свой дом собирать. Что же в том неладного? Конечно, он сейчас только о себе думает...

Разные чувства боролись в душе старой Анисьи, когда она думала о неожиданной женитьбе своего старшего внука. Горечь и гордость, обида и радость. Ведь женился-таки! И свах никаких не понадобилось, все сам сделал — значит, самостоятельный человек! Поглядеть бы, какова его Валерия? Городская, видно, коли Валерия. Городская, а пошла ведь за нашего Пашуту. Значит, верно, что выучился он. За ученого, конечно, любая девка пойдет, верное это дело ныне.

— Что написать ему, бабушка? — спросил Шурка.

— Ой, Шура и не спрашивай, сама ничего не понимаю. Не знаю, что и написать ему, прости меня господи. Ничего не пиши!

●

В сумерках в избу вошла Нюрка Молчунья. Она открыла дверь не постучавшись, ступила за порог неслышно, не здороваясь, остановилась у печурки, постояла немного и прошла вперед, села. Платье на ней новое, бесшумное, как она сама, но, должно быть, дорогое, платок расшит своими руками — это было видно сразу.

— Чего тебе? — неприветливо спросила бабка.

— Я так. Дай, думаю, загляну,— смущенно ответила Нюрка.

— Ну, сиди! — разрешила бабка.

Шурка, согнувшись у края стола на лавке, мял в руках газету и отрывал от нее лоскутки, будто для цигарок. Но он не курил.

Молчунье на этот раз было тяжело молчать, и она, поерзав на месте, спросила:

— Может, вам что надо? Я бы сделала.

На молочнотоварной ферме Нюрка считалась теперь одной из лучших работниц. Ее выдвигали, ее ставили в пример другим чуть ли не на каждом собрании, по крайней мере, во всех отчетных докладах она упоминалась обязательно, и уже по имени, по отчеству. Кличка Молчунья постепенно забывалась. До наград дело еще не дошло, но славу создавали девушке быстро и организованно. Нюрка нравилась и председателю колхоза, и бригадирам, и всем прочим колхозным начальникам: безотказная, нестроптивая, нетребовательная, куда ни пошлешь — пойдет, что ни поручишь — сделает, нагрубишь ей — слова в ответ не скажет, роптать не станет.

С тех пор как Павел уехал учиться в город, она не переставала навещать бабушку и Шурку. То прибежит воды с колодца наносит полную кадушку, то под вечер избу вымоет, то баньку под праздник истопит. А для Шурки она уже не одну рубашку сшила, не один платок носовой вышила разноцветным крестом, а сколько носков заштопала — и сосчитать нельзя. Шурка принимал все без смущения: он знал, что делается это не для него. Понимала все и бабушка и часто называла Нюрку доченькой, привечала ее, как могла, заласкивала. Не очень-то она верила, что Нюрка, деревенская простая девушка, может стать подходящей парой для ее любимого Пашуты, но ведь девушка-то хорошая, работящая, как ее обидишь!

А теперь и бабушке было не до ласковых слов, письмо от Павла надолго расстроило ее и заставило думать, а думать бабушка не привыкла, она больше сердцем чувствовала, что хорошо, что плохо, что справедливо на земле, что нет.

— Что нам делать? Ничего нам не надо делать,— ответила она Молчунье.

Девушка быстро взглянула на Шурку, словно от него надеялась узнать, что случилось, почему бабушка не такая, как всегда.

Шурка не взглянул на нее.

— Может, тебе самой что надо? — спросила бабушка.— Не зря ведь пришла.

— Нет, я так.

— Узнать, поди, чего хочешь?

— Нет. Просто, дай, думаю, зайду.

— Письмо от него пришло,— жестко сказала вдруг бабушка.

— Ой! — вскрикнула девушка.

— Вот тебе и ой!

Нюрка вскочила с лавки и выбежала на улицу. И даже дверью на этот раз хлопнула.

— Видишь, до чего дошла девка. А у него — Ва-ле-ри-я!

В избе стало совсем темно, темней, чем было за окнами, на улице. Бабка сняла висячую лампу вместе с кругом, покачала ее, придерживая стекло, и, убедившись, что керосину мало,

поставила на стол, сняла стекло, достала из-под лавки на кухне черную литровку и добавила из нее керосину в лампу. Резкий запах керосина разнесся по всей избе. Бабка убрала бутылку под лавку, зажгла лампу и опять повесила ее над столом. Теперь пахнуло жженой спичкой. Лампа разгоралась медленно: сначала обозначился светлый круг на потолке и темный на столе прямо под лампой, затем свет усилился и озарил весь стол, и лавки вокруг него, и табуретку, и две иконки в сутном углу, потом прояснилось и в остальных углах, опять стали видны кринки, горшки, подойница, и медный умывальник с рожком около входа, и березовая метла у порога.

В конце деревни сначала негромко, как бы прощупывая настроение молодых парней, подала голосок извечная гармошка, и Шурка встал и надел на голову кепку.

— Я пойду! — сказал он.

— Иди с богом,— согласилась бабушка,— иди погуляй. Когда придешь, в печке молоко не забудь. Лампу я потушу.— И она стала готовиться ко сну.

●

Нюрка вынырнула из темноты бесшумно и неожиданно, как лучик света. Шурка даже вздрогнул.

— Ой! — вскрикнула Нюрка только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты что? — спросил Шурка.

— Я ничего, так.

— На угор пойдешь?

— Не пойду. Я тебя ждала.

— Вот я. Пойдем.

— Не пойду.

— А чего тебе?

Девушка немного помедлила и вдруг тяжело повисла у него на руке, совершенно измученная, усталая, и зашептала торопливо, отрешенно, словно в воду кидаясь:

— Ой, Шура, Шурочка, скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь!..

— Что я тебе скажу?

— Хоть что-нибудь. Что за письмо от Паши?

— А хочешь, я тебе все скажу?

— Все скажи, Шурочка, родненький мой!

— Тебя как зовут в деревне — Нюрка, Анюшка, Анюха? Да еще Молчунья. А тут Ва-ле-рия, понимаешь?

— Какая Валерия?

— А вот такая! Ты одна дочь у своих родителей? Не одна. А тут одна. А приданое у тебя есть? Корова, поросенок, дом свой есть? Нет ничего, все — на всех. А тут одна дочь, и корова, и поросенок, и дом, и родители скоро помрут — все ей

достанется одной. И — Ва-ле-ри-я! Понимаешь? Ва-ле-ри-я! Я тебе все скажу: женился Пашка. И денег на обзаведение просит. Пожалейте, говорит, сироту. Все я тебе сказал?

Нюрка передохнула:

— Все, Шура! А как я-то теперь? Как? Куда я теперь, Шура? — И она еще тяжелее повисла на его руке, припала к нему, как маленькая девочка.

— Э, что он понимает! — зло сказал Шурка и по-взрослому стал гладить Нюркины волосы, мокрые щеки, вздрагивающие плечи.— И за что ты его, девонька, полюбила, такого?! Ладно, не раскисай!

На угор они не пошли. Горе было обоюдным, и его не хотелось нести на люди.

●

Бабушка в душе почему-то все еще не верила, что Пашута ее взаправду женился, и когда он вошел в избу, она первым делом спросила:

— Один?

— Один. С кем еще?

— А о какой жене писал? Жены нет?

— Жена есть.

— Так хоть привез бы, показал, какую облюбовал да выбрал.

— Еще приедет. Недосуг было. Мы к тебе в гости все приедем.

— Вот-вот, всех и надо.

— Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Шурка! — И Павел поздоровался за руку и с бабушкой и с братом.

Стояла осень, дороги всюду были непролазные, даже в самой деревне от дома к дому перебирались не по земле, а по изгородям, по жердочкам либо прыгали вдоль заборов да палисадников с камушка на камушек, с бугорка на бугорок.

На Павле топорщился дорожный брезентовый макинтош, в каких осенью разъезжают по колхозам районные уполномоченные; кожаные, с высокими голенищами сапоги казались тоже брезентовыми — таким плотным слоем покрыла их подсохшая грязь. Кепка на Павле была кожаная, в деревнях такие кепки даже шоферы раздобыть не могут. Портфеля у него не было, но все равно и без портфеля Павел так походил на районного ответственного товарища, что бабушка умилилась и сразу забыла обо всех своих обидах и горестях. Нет, что там не говори, а не зря, видно, Пашута учился! Вот уже и рот больше не открывает, отучили, должно, возмужал парень. Рабочий он або кто другой, столяр, або слесарь, або еще кто, все равно городской житель. Даже если он простой кузнец покамест, так ведь и кузнец не деревенский, не у горна, не с

кувалдой какой-нибудь стоит. Начать — главное дело, а там пойдет. Только бы на виду быть. А он, должно, теперь на виду. Вишь, какой стал сам по себе заметный да самостоятельный. Шурка что? Шурке, знамо дело, неловко, что не поучился, обижается на всех, злобится. А Пашута — вот он весь тут.

— На подводе, поди-ка, приехал али на машине, або как? — захлопотала бабушка вокруг Павла.

— На подводе,— ответил Павел.

— На казенной али на какой?

— На попутной.

— Не озяб ли, Пашута, не продрог ли? Плащ-то сюда давай, я его вычищу да высушу. Ноги-то не мокрые ли? Сапожки снимай сразу, я их помою да на печке подсушу.

— На печку сапоги нельзя, кожа портится. А вымыть можно,— сказал Павел, снимая с себя все и отряхивая и одергивая пиджак и рубашку. Сапоги он поставил к умывальнику, а на ноги надел старые бабушкины валенки.

— Чайку, наверно, тебе Пашута,— егозилась бабушка,— с дороги-то погреешься. Ох и осень нынче, ох и погода! Никогда раньше такого климату не было, все пошло наперекос. Так поставить самоварчик-то?

— Озяб я, бабушка, водочки бы стаканчик! — вдруг сказал Павел, сказал и не засмеялся.

— О господи! — опешила бабушка.— Да шутишь ты, что ли?

— Озяб я, не заболеть бы.

Бабушка посмотрела на серьезное Пашутино лицо, подумала и согласилась:

— Водочка, она, верно, помогает, ничего не скажешь. Раньше я тоже, бывало, как закашляю, так выпью лафитничек да протру поясницу — и ничего, вся хвороба перегорит. Водочка — это верно! Только вот при Шуре как-то опасаться стала. Паренек-то еще не вызрел: думаю, не дай господи, если начнет раньше времени потреблять, а я виновата буду. Нет у меня водочки, Пашута.

— Ну нет так нет. Тогда чаю!

Шурка встал и вышел из избы, в сенях он загремел ведрами — отправился на колодец за водой для самовара.

Павел вынес из-под полатей свой чемоданчик, положил на лавку поближе к столу и открыл.

— Моя Валерия вам подарки послала, бабушка,— и тебе и Шурке. Кланяться велела! — говорил он, выкладывая на стол несколько белых хлебцев домашнего печения, кулек с фруктовыми подушечками, слипшимися в сплошной комок, с проступившей кое-где патокой, кулек мятных пряников, пачку чаю в двадцать пять граммов, стопку ученических тетрадок — видимо, из тех, что сам не успел исписать,— да два школьных

карандаша. А напоследок достал снизу, из-под газетной прокладки, кремовый полушерстяной платок с ярким, вышитым гладью крупным цветком во весь уголок — для бабушки да штапельный белый шарфик — для брата.— Вот! — сказал он, сам любуясь привезенными подарками.— Как в магазине.

Бабушка особенно обрадовалась сластям и чаю.

— Спасибо, вот уж спасибо! — то и дело повторяла она.— Вот уж знала, что послать. Ты думаешь, у нас чай? Разве по таким дорогам чай возят? Мы малиновый да клубничный пьем, в плитках.

За полушалок тоже поблагодарила, только примерять не стала, постеснялась.

— Куда мне, старухе, такой яркий? Не по роже кожа. Его бы Нюрке Молчунье подарил, девка то и дело о тебе спрашивала, полагалась на тебя. А нам сколько добра сделала — и не сказать!

Павел на это ничего не ответил. А когда вошел с ведром воды Шурка, он взял белый мягкий шарфик, встряхнул его, как заячью шкурку, и накинул на шею брата.

— Вот это тебе. От Валерии от моей.

— Спасибо! — поблагодарил Шурка.

— Торопился я очень со сборами, а то бы она больше послала всего. Она у меня такая! — хвалился Павел.

Анисья снова начала благодарить и Павла, и его жену.

— Да уж видно, что она такая! Уж знала, что послать, чем нас потешить. Как же ты такую бабу себе отхватил, городская ведь она?

— Городская, бабушка.

— Чем же ты взял ее, приворожил чем?

— Да ведь и я теперь не деревенский.

— А все-таки? Городские, ведь они гордые. А ты еще не совсем, поди, обтерся або совсем?

— Она у меня умная, бабушка. Она меня сразу увидела. «Ты, говорит, человек с будущим!» — продолжал хвалиться Павел.— Это мы с ней вместе на курорте были.

— Неужто и она по курортам ездит? — ахнула Анисья.— Скудается она чем або что?

— Да нет, здоровая. На курорты и здоровые ездят, отдыхают.

— Ой, царе! — охает Анисья.— Хоть бы Шурку этак-то послали куда-нибудь.

Павел удивился:

— А зачем ему это? И за что его? Он в деревне живет...

— И то верно,— согласилась бабушка.— Не за что. Да и не попросится он никогда. А старая она или молодая, жена-то, что по курортам ездит?

— Она, бабушка, одна у отца с матерью. И батька ее смолоду на курорты посылал. Вот и встретились.

— Ну, дай тебе бог! Добрая, видно: ишь, какой шарфик послала.

— Это для зимы или для лета? — спросил Шурка про шарфик.

— На всю жизнь хватит — и для лета и для зимы. На беседки будешь в нем ходить.

— Я же не всю жизнь буду на беседки ходить.

— Походишь еще.

— Ладно, спасибо. А тетради для чего? Бабушка неграмотная, мне учиться уже поздно.— Казалось, брат был недоволен подарками.

— Тетради для писем. Чтобы мне писал. Почему не ответил на письмо? — с упреком спросил Павел.

— Не знали мы, что ответить,— буркнул Шурка. Он был мрачен.

Бабушка убрала со стола все, кроме конфет, пряников и чаю, залила воду в самовар, опустила в трубу горящую лучину и угли и вернулась к столу.

— Ты уж прости, что не ответили,— вмешалась она в разговор.— Это я виновата.

— Тебе ведь не письмо нужно было,— мрачно заметил Шурка.

— А что мне нужно?

— Сам знаешь.

— А ты думаешь, если я женился, так уж больше ничего мне и не нужно? Все тебе одному? Ты думаешь, легко на ноги становиться?

— Ничего я не думаю. Только других с ног не сбивай.

— Я свое требую.

Шурка заморгал глазами.

— Ты требуешь? Нам показалось, что ты просишь. Чего ты требуешь?

— Того и требую!

— Ну говори, говори!

— Ладно, успеем еще, поговорим.

— Да уж говори сразу, чего тут.

— Ладно.

Похоже было, что братья начали горячиться, и бабушка встревожилась:

— Вы что, родненькие, о чем вы, родненькие! Ну-ка не сходите с ума, помолчите. Вот сейчас самоварчик спроворю, вот сейчас на стол его.

А Павел удивлялся, как это младший брат может в чем-то не соглашаться с ним.

Когда самовар закипел, бабушка хотела сама подать его, но Шурка вскочил с лавки, крупно шагнул в кухню, не грубо, но решительно отвел локтем ее руки, сдунул с крышки самовара угольную пыль и легко перенес его на стол. Пар столбом ударил

в висячую лампу, стекло которой мгновенно запотело. Бабушка заметила это и испуганно передвинула самовар вместе с подносом чуть в сторону. В медных начищенных боках его, искаженно отразивших светлые прямоугольники окон, сахарницу с карамельками и стаканы на блюдцах, теперь не прекращалось движение. Вот бабушка уселась на табуретку перед краном, заварила чай из пачки, привезенной Павлом, и поставила белый с синими горошинками чайник на конфорку — руки ее мелькали в выпуклой медной глубине, то уменьшаясь, то увеличиваясь до чудовищной уродливости; вот Павел залез за стол, придвинул к себе чашку, еще пустую, и взял в рот из сахарницы пузатенькую карамельку с выдавленной липкой патокой — в отражении рот его разверзся до нелепых размеров и быстро захлопнулся; с другой стороны стола к самовару придвинулся Шурка, голова его была опущена, и в медном зеркале отразились не лицо, не руки, а темя да затылок, и длинные, как девичьи, волосы свесились до самого стола, от конфорки до поддувала.

Анисья разлила чай по стаканам, и все усердно начали дуть на горячий чай, тянуть его с блюдцев, пофыркивая. Бабушка брала поочередно то карамельку, то мятный пряник. Павел брал и то и другое, Шурка ничего не брал и пил чай без сладкого, вприглядку.

— Вот какие у меня мужики выросли! — хвастливо, как бы про себя, говорила старушка, подливая чай то одному, то другому внуку.

Особенно внимательно следила она за стаканом Павла, ей хотелось ухаживать за гостем, но угощать его тем, что сам привез, было как-то неловко, и оставалось одно — разливать чай, пока есть кипяток в самоваре.

Братья теперь могли сойти за одногодков, только у Павлуши лицо было длинное, вытянутое, а у Шурки круглое, словно происходили они от разных родителей.

Посередине улицы мимо дома дважды, туда и обратно, прошли девушки. Они громко разговаривали, неестественно громко смеялись и искоса поглядывали на окна, стараясь обратить на себя внимание. В толпе девушек пряталась Нюрка Молчунья, бледная, с возбужденно горящими глазами. На что она надеялась, чего хотела,— просто увидеть Павла и ничего не сказать ему или сказать что-нибудь такое, чтобы сразу надорвать ему всю душу, подкосить его на веки вечные?

Последний раз, проходя под окнами, девушки пропели частушки:

Я березу белую
В розу переделаю.
У милого моего
Разрыв сердца сделаю! —

и скрылись.

Разомлев от крепкого чая, Павел чуть отодвинул от себя самовар, труба которого опять оказалась как раз под лампой. Через какую-то минуту ламповое стекло в струе пара щелкнуло, и его опоясала светлая трещинка, будто полоска блестящей фольги.

Бабушка охнула так, словно кто ее кулаком в живот ударил: стекол больше не было ни в доме, ни в магазине,— но промолчала. Шурка тоже промолчал, лишь двинул самовар на прежнее место.

●

В сенях залаяла собака, и в избу, не стучась, вошел председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Павел поднялся из-за стола, навстречу ему. При этом он отметил про себя, что на заводе директор, входя в рабочую квартиру, обязательно постучится и спросит разрешения: в цехе он — хозяин, в квартире рабочего — гость, не больше, а Прокофий Кузьмич входит в избу колхозника, в любую, как в контору правления, по-хозяйски. Раньше такие мысли Павлу в голову не приходили.

Настроение у председателя было веселое.

— Почему не докладывают? Гость появился, а я узнаю о том в последнюю очередь,— заговорил он еще от порога и, не останавливаясь, прошел вперед, подал руку Павлу и сел к столу.

— Проходи, Прокопий, садись чай пить с гостинцами! — с запозданием, но дружелюбно пригласила его бабушка.

Председатель за столом снял кепку и отряхнул ее от сырости.

— Можно и чаю, хотя его, как говорится, много не выпьешь,— засмеялся он.

В последнее время Прокофий Кузьмич не стеснялся заходить то в один дом, то в другой, когда ему хотелось выпить, и колхозники потворствовали этой его слабости, добывали водку, рассчитывая, в свою очередь, на разные поблажки с его стороны.

Анисья оделась и молча вышла из избы.

— Ну здравствуй, Павел! — сказал Прокофий Кузьмич, подняв глаза на Павла, словно только что заметил его, и сразу поправился: — Здравствуй, Павел Иванович! С приездом, брат! Давно тебя ждем. Исчез, голоса не подаешь — в чем дело? Я уж о тебе плохо стал думать.

— Что вы, Прокофий Кузьмич, зачем плохо думать? — ответил Павел.— Вот я приехал.

— Вижу, приехал. Давай рассказывай!

Павлу польстило, что председатель колхоза назвал его по имени и отчеству, и, выпрямившись, он искоса, с некоторым торжеством взглянул на младшего брата. Брат сидел, опустив голову.

— Да что ж рассказывать?

— Как что? С чем приехал, какой багаж за спиной? Ты же меня понимать должен. Может, с ревизией уже ко мне или с руководящими указаниями прибыл?

— Рано еще, Прокофий Кузьмич.

— Не допер?

Павел промолчал.

— Говори, говори,— настаивал Прокофий Кузьмич.— Кто ты сейчас, кем служишь?

— Училище я окончил, Прокофий Кузьмич.

— Так. Дальше!

— Техникой владею.

— Дальше.

— Что ж дальше, Прокофий Кузьмич?

— Говори, говори!

— Что ж говорить-то, Прокофий Кузьмич? — Павел либо оттягивал разговор, либо и верно не понимал, о чем его спрашивает председатель.

— А ты не тяни. Ишь как отмалчиваться научился! — засмеялся Прокофий Кузьмич. Смех был веселый, добродушный, и настороженность Павла постепенно исчезла.— Ты же меня понимать должен! — повторил Прокофий Кузьмич.

— Да я понимаю вас.

— Ну, дальше что?

— Времена меняются, Прокофий Кузьмич.

— Так, значит, времена меняются? Вишь ты, черт! — опять засмеялся председатель.— Ну, тогда наливай хоть чайку, что ли.

Павел поспешно пересел к самовару на бабушкино место, налил стакан крепкого чаю, подвинул его председателю, подвинул и мятные пряники, и карамельки.

— В партию вступил? Или в комсомол? — снова начал спрашивать его Прокофий Кузьмич.— Это надо, брат! Да говори ты хоть что-нибудь.

Павел не успел ответить, вернулась Анисья. Она принесла от соседей поллитровку водки. Прокофий Кузьмич, сделав удивленное лицо, встретил ее прибаутками:

— Ох и догадлива старуха! Дружку — стакан, от дружка — карман. А я-то думаю, куда она скрылась-удалилась? Ох и научилась бабка с начальством ладить. Далеко пойдешь! А то чай да чай!..

Павел освободил бабушке стул, она села к самоварному крану, выбила картонную пробку из бутылки, слегка ударив в ее дно своей костлявой ладошкой, разлила водку по трем стаканам, а остаток выплеснула себе в чай.

— Ловко ты пробки выколачиваешь! — засмеялся председатель.

— Ладно уж, выпейте лучше, будет вам зубы-то скалить! —

сказала Анисья, довольная, что вернулась не с пустыми руками.

— А что — зубы скалить? С начальством, говорю, умеешь жить в мире. Вот сейчас у тебя свой начальник в доме, теперь Павлу Ивановичу угождай, держись Павла Ивановича, с ним далеко пойдешь.

Всерьез говорил председатель или шутил, только Анисья ответила ему всерьез:

— Дальше могилы мне идти некуда, а уж Павла Ивановича я никогда не обижала и не обижу. Это уж верное слово! Выпейте на здоровье!

Выпили все. Выпил и Шурка. Павел пил свободно, не морщась, даже с заметным удовольствием,— видно, водка стала для него привычной. Прокофий Кузьмич посмотрел на стакан к свету, сказал: «Опохмелимся!» — мелкими глотками вытянул его до половины и закусил мятным пряником. Анисья вылила свой пуншик на блюдце и, подняв на растопыренных пальцах, пила, как чай.

— Вот так-то оно лучше, а то чай да чай,— снова похвалил ее Прокофий Кузьмич.— Правильно, Анисья, внука своего встречаешь. Так и надо, чтоб не обижался. Он теперь знаешь кем у тебя будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Сказать ей, Павел Иванович? — обратился он к Павлу и опять весело и хитровато засмеялся.

Шурка поднял голову, Павел насторожился.

— Я же его к себе в заместители прочил, смену себе в нем видел. Сам стар, песочек уже,— ха-ха! — на покой пора. А он — вот он, своя кадра, и техникой владеет. Как, Павел Иванович? Поживешь, поосмотришься, попривыкнешь к делу — и с богом! Ха-ха! Как, Павел Иванович?

— Спаси Христос, неужто правда это, Пашута? — охнула Анисья, не зная, чему верить, чему нет.

— Это еще как народ пожелает, Прокофий Кузьмич,— сказал Шурка.— Как мы пожелаем...

— Ты помолчи, зелен еще и неучен! — прикрикнул на него председатель.— Это как мы с Павлом Ивановичем пожелаем. Верно, Павел Иванович?

Павел смотрел на председателя во все глаза и ничего не говорил.

— Неужто обманул, сукин сын? — вдруг спросил его председатель и засмеялся: — Я так и знал, что обманешь. Обманул, Павел Иванович, да?

— В стаканах-то у вас еще водка есть,— встрепенулась Анисья.— Выпейте остаточки, оно веселее будет.

— Да нам и так весело! — Прокофий Кузьмич засмеялся еще громче. А потом начал журить бабку: — Ох, Анисья, Анисья, совсем ты меня не боишься! Споить, наверно, хочешь? Да разве трех мужиков одной поллитровкой споишь? По ведру на человека надо!

Анисья понимала, что председатель шутит, и сам Прокофий Кузьмич хотел, чтобы эти слова его понимали как шутку, но, кажется, не стал бы возражать, если бы на столе появилась и еще бутылочка. По тому, как быстро он пьянел, Анисья догадывалась, что председатель пришел к ним уже навеселе.

Выпили остаточки, и Прокофий Кузьмич сказал:

— Не пить я к вам пришел. Пришел я, чтобы на Павла взглянуть, каким он теперь стал. Ведь когда-то я тебя в ученье отвез, помнишь, Павел Иванович? И вот не ошибся! А разве я о себе хлопотал? Нет, не о себе. О колхозе я хлопотал. Неужели ж обманул? — еще раз спросил он Павла. И сам же ответил снова: — Конечно, обманул! Тогда давайте выпьем еще. Э, да у вас уже ничего нет. Обижаешь ты, Анисья, Павла своего, плохо тебе будет.

— Когда это я его обижала? — возразила старушка, просто чтобы поддержать разговор.

— А помнишь, как ты его чуть до смерти не запарила в пивоваренном чане? В душегубке этой?

Павел обрадовался перемене разговора, с удовольствием поддержал новую шутку председателя:

— Верно, бабушка, ты же меня, как белье, бучила. Если бы не санаторий, мне бы тогда нипочем не выжить. Щелок ты подо мной кипятила или воду?

— Водку надо было кипятить! — смеялся председатель.

— В чане градусов было побольше, Прокофий Кузьмич! Я тогда, можно сказать, на том свете побывал! — засмеялся и Павел.

Анисья почувствовала в этом веселье что-то обидное для себя. Она поставила недопитое блюдце на стол, вытерла губы и с упреком промолвила:

— Я тебе, Паша, худа не желала. А если бы умирать пришло время, так и санаторий бы не помог.

Но Павел и Прокофий Кузьмич продолжали смеяться.

— А все-таки щелок был или вода? Чем ты меня пользовала? — допытывался Павел.

Они смеялись, пока не довели старуху до слез. Анисья подняла фартук к лицу и захлюпала. Шурка тяжело засопел. Казалось, он вот-вот взорвется. Тогда Прокофий Кузьмич вернулся к старому разговору с Павлом.

— Кто же ты сейчас, Павел, рабочий или уже мастер? Рабочий тоже, конечно, дело великое. Но ты мне вот что скажи, как на духу: вернешься в свой колхоз или не вернешься? Прямо скажи! Я, конечно, не верю, что вернешься. У нас такого случая еще не было, а все-таки вдруг вернешься? Ученых людей у нас, понимаешь, мало.

— Я пока не думал об этом, Прокофий Кузьмич!

— Не думал. И думать не будешь. Я уж знаю. Везде возвращаются, только у нас не возвращаются, все в индустри-

ализацию идут. А мы давай так дело поведем: пускай не возвращаются! Для колхоза это не хуже. Понимаешь, что нам надо? Нам надо, чтобы в каждом городе у нас были свои люди, земляки. Вот наша установка на сегодняшний день!

Анисья, довольная, что ее больше не затрагивают, снова начала разливать чай в стаканы.

— Только земляки колхозу помочь могут,— продолжал Прокофий Кузьмич.— Они обеспечат нас всем, и мы выйдем из прорыва. Мы отстающие, пусть! Но отстающим помогать должны, нас вызволять из беды надо. Недоимки есть? Списать. Ссуду? Выдать! С уборкой не справляемся — горожан на недельку в колхоз. Вот где главное звено на сегодняшний день. Теперь, Павел Иванович, к тебе дело: мы тебя выдвинули, так смотри, не забывай своих при случае. Будь на посту! — Захмелевший председатель поощряюще хлопнул его по плечу.— А может, вернешься? Ты вот что запомни: если захотим, силой вернем. Думаешь, я в деревню добровольно приехал?

— Не вернется он! — вставила свое слово Анисья. Кипятку в самоваре больше не осталось, и она, повернув стакан кверху дном, отодвинула его от себя.— Как же он вернется, коли женился?

Самовар уже не парил, только иногда в трубе еще попискивало. Прокофий Кузьмич тоже оставил свой стакан.

— Кого взял?

— Валерию! — ответила бабушка.

— Чья это?

— Спроси его.

— Чужая, значит? — притворно обиделся председатель.— Разве у нас своих невест мало? Нам своих невест девать некуда, а ты — Валерию. Измена это, братец ты мой, предательство.

— Я, Прокофий Кузьмич, своему колхозу никогда не изменю,— запальчиво стал уверять его тоже опьяневший Павел.— Я принимаю все ваши указания и буду на посту. Я сейчас на складе инструменты выдаю. Я свое еще возьму. Я далеко пойду! Вот только и вы меня поддержите на первых порах. Трудно мне сейчас, женился я, дом надо подновить, а лесу нет. Дали бы вы мне десятка два бревен, за мной не пропадет, отблагодарю.

Председатель не то задумался, не то задремал.

— Помните, как я достал для вас запчасти,— продолжал Павел.— Сейчас я больше могу. За мной не пропадет. Выручите, Прокофий Кузьмич!

— Да разве я когда-нибудь своих людей оставлял в беде? — оживился председатель, видимо приняв какое-то решение.— Я своих людей никогда в беде не бросал. Только ведь осень, как же ты по таким дорогам увезешь строевой лес? Перевозка дороже будет стоить.

— Об этом вы не затрудняйтесь, Прокофий Кузьмич. Своя

ноша не тянет. Мне тесть обещал достать машину на несколько рейсов, ему по службе устроят. Деньги тоже нужны, но в этом я надеюсь вот на бабушку да на брата на Шурика. Они меня выручат.

Прокофий Кузьмич опять задумался. Порожний самовар пискнул в последний раз и затих. Тогда заговорил Шурка.

— Нет у нас денег! — сказал он, словно кулаком по столу ударил.— Не выручим!

Павел опешил, но за него заступилась бабушка. Она почувствовала, что назревает ссора, и заранее решилась не допускать ее, чего бы это ни стоило.

— Что ты, Шурик, говоришь? Как же мы его не выручим, мыслимое ли это дело? — накинулась она на Шурку. А старшего внука стала успокаивать: — И не сомневайся, Пашута, все сделаем, и поросенка продадим, и Прокопий, председатель, вот поможет нам.

«Только б не это, только бы не наперекос,— думала она между тем.— Упаси господи их от несогласья. Всю жизнь им отдала, отца с матерью заменила, вынянчила, вырастила, а теперь, того гляди... мыслимо ли это!»

— Не выручим! — крикнул еще решительнее Шурка.

Руки у старушки задрожали, и губы, бледные и тонкие, задрожали, и не знала она, что говорить ей и что делать — встать ли из-за стола и начать убирать посуду, или остаться на месте, или кинуться к обоим на шею, гладить их по головам да целовать поочередно.

— Не продадим поросенка! — упрямо заявил Шурка.— У него свой поросенок есть. И председатель ему не поможет!

— Ну уж за себя-то я сам все вопросы решаю,— весело сказал Прокофий Кузьмич.— Ты, братец, это брось, молод еще!

Шурка впервые прямо и строго посмотрел в его глаза и ответил спокойно, без крика:

— Не брошу! Работать нужно — так я не молод, а дела решать — молод.

А Павел, почувствовав, что на его стороне и бабушка и председатель, а стало быть, и правда на его стороне, решил отстаивать свои законные права твердо. К тому же по голосу, по повадке Шурки он сейчас понял, что брат уже стал взрослым, значит, и разговаривать с ним можно как со взрослым. Да и водка горячила Павла.

— До моего поросенка тебе дела нет. А долю мою отдай! — привстал он за столом.

— Какую долю? — удивился Шурка и уставился на Павла наивно и добродушно. Он снова перестал понимать своего брата.— Какую долю? Чего ты орешь?

— Такую долю! Ты не один в доме, нас двое. Отцовское добро для нас обоих одинаково. Я от своей доли не отказывался, я не пасынок у своих родителей.

Шурка все еще не понимал брата, но то, что Павел в который раз исключает из разговора из каких-то своих расчетов бабушку, словно ее нет в живых, это он понял сразу и возмутился.

— Нас двое, нас двое! А про бабушку забыл. Забыл, кто тебя выходил?

— Бабушка бабушкой, а ты мою долю отдай!

— Какую долю? — опять удивился Шурка.

— Господи, он же делиться хочет! — вдруг догадалась и ужаснулась бабушка.— Он же дом разорить хочет! Кто это тебя надоумил, Пашка! Мыслимое ли дело — отцовское гнездо разорять? Выродок ты эдакой!

Семейные дележи в колхозе ныне явление редкое. Шурке ни разу не приходилось наблюдать их, потому он так долго и не понимал, куда клонит брат, но когда понял, возмутился еще больше.

Ему показалось странным, даже кощунственным, что дом, в котором он родился и вырос, в котором жили его отец и мать, а ныне живет его бабушка, нужно как-то делить, что он не вечен. Разве родину делят?

А старый председатель ничему не удивился, он все принял как должное. Веселое настроение снова захватило его.

— Делиться — это законное дело,— сказал он.— Конечно, и бабушку надо делить пополам. Делиться придется, раз Павел не хочет жить дома. С колхозом ему делить нечего, он в колхозе ничего не забыл. А с братом — законно. И бабушку разделить. Как ты, Анисья, полагаешь?

— О господи! Думала ли я, что доживу до этакого! — вопила бабушка.

— Я делиться не собираюсь! — заявил Шурка.

— Придется! — торжествовал Павел.— Делиться — законное дело!

— Тогда делись сам, делись один, я тебе не помеха. Бери что хочешь. Все бери! Мы с бабушкой проживем без тебя, как жили и до этого. Новый дом выстроим.

Бабушка уже не плакала, а рыдала и больше не закрывалась фартуком.

Прокофий Кузьмич заметил, что разговор становится нешуточным, и решил сразу успокоить всех.

— Делиться вам, братцы мои, нельзя. Незаконное это дело: Шурке еще нет совершенных лет. А бабка престарелая сверх нормы — стало быть, тоже несовершенные года. Суд не возьмется делить. Ждать придется.

— О господи! — рыдала Анисья.

А Шурка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла, ни Прокофия Кузьмича:

— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не бойся. Буржуи мы,

что ли, какие, чтобы по судам ходить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою. Пускай все берет — скорей подавится.

Может быть, на этом бы ссора и закончилась, если бы старуха, после того как председатель ушел домой, не начала снова упрекать братьев и уговаривать их помириться. Ребята долго отмалчивались, а она распалялась все больше и больше. Что бы ей остановиться вовремя! Что бы ей, уставшей вконец, трясущейся, забраться на горячую печку, да прикрыться овчинным полушубком, да пожелать внукам, как раньше бывало: «Спите спокойно, ребятки!»

Нет, не могла вовремя угомониться старая.

Обоих внуков она любила, обоих будто под сердцем своим выносила; и казалось, бог не простит ей, если не придут они сейчас же, немедля же, к миру, к послушанию.

И довела ребят до драки.

Только подрались они не из-за имущества, а из-за Нюрки Молчуньи.

Случилось это так. Долго возилась бабушка с посудой на кухне, мыла стаканы, да ложки, да плошки, оставшиеся немытыми еще от обеда, долго, постанывая, бродила из угла в угол и все думала, как бы ей пронять неслухов, пристыдить их, усовестить, и так и эдак пробовала заговорить с ними: и разжалобить-то пыталась, и обещаниями всякими задабривала — все молчали внуки.

Обращалась к младшему:

— Помоложе ведь ты, Шуренька, тебе бы и смиренья побольше надо. Не возносись перед старшим, уваженье к нему имей, не каждое лыко в строку ставь, не на каждое слово ответ держи, в твоем возрасте промолчать иногда не грех. Это и мать перед смертью тебе наказывала.

Но Шурка не поднимал глаз.

Тогда обращалась бабушка к старшему внуку:

— Ты — большак, ты — главный в доме, и учился, разуму тебе добавили, как же можешь ты поступать не по справедливости, обижать слабых?

Но и Павел молчал не по-доброму, не отступал, не смирялся.

Тогда бабка решила разжалобить его:

— На кого же ты меня, Пашута, покидаешь? Хоть бы умереть дал спокойно. Нюрку покинул и меня покидаешь, старую.

Павел ответил угрюмо, устало:

— Я Нюрке ничего не сулил и голову ей не морочил.

— Знал бы ты, как она тебя ждала, полагалась на тебя...

— Я ей хомут на шею не надевал! — еще мрачнее сказал Павел.

— Прибежит, бывало, то сделает, другое сделает, сама мол-

чит, а в руках у нее так и горит все — на любую работу спорая. Ради тебя все старалась, не раз из беды нас вытягивала. Душа у нее, у девочки, добрая, жалко мне ее...

— С доброй душой всю жизнь носом землю рыть будет! — как приговор, произнес Павел.

Но бабушка, словно не слышала его возражений, продолжала расхваливать Нюрку:

— Такую девушку поискать нынче, хороший она человек. Справедливый человек, правильный!.. А уж как брату твоему услужить старалась — все ради тебя. Вон рубашка на нем — это она сшила, и вышивка — ее рук дело.

Павел пристально и нелюдимо посмотрел на Шурку.

— Скоро замену нашла!..

Тогда-то и вскочил Шурка с лавки, вскочил, как выпрямился,— резкий, злой, глаза горят, кулаки круглые.

Павел отступил, испугался.

И опять, может быть, на этом бы все и кончилось, и Шурка не ударил бы Павла, если бы не увидел вдруг, как тот противно побелел, струсил, но Шурка увидел это и уже не мог не ударить его, просто от одного отвращения. И он ударил его по лицу — раз, и два, и три... Бил его и приговаривал:

— У, гнида! Сирота казанская!.. Иждивенец!

Бил, пока Павел Иванович не заревел в голос.

●

Утром бабушка не смогла слезть с печки.

Мамыкинский дом — это две некрупные избы под одной двускатной крышей, с общими сенями. Снаружи он походил на пятистенок. Жилой была только одна изба, вторая служила вместо кладовой. В ней семья не обитала и до войны, потому что покойный Мамыкин, отец, не успел закончить отделку стен и потолка.

Эту вторую избу и разобрали по бревнам для Павла, когда недели через две из города от потребкооперации пришел грузовик с прицепом. А чтобы крыша, потерявшая с одной стороны опору, не рухнула, подвели под нее столбы, вроде костылей. Подперли столбами и половину мезонина, которая теперь оказалась на весу. Обкорнанный, обезображенный мамыкинский дом стал напоминать инвалида на костылях; его так и прозвали: «увечный».

— Всю деревню испохабил,— говорили про мамыкинский дом.— Никакой красоты из-за него не стало.

Больная бабушка Анисья тяжело переживала раздел хозяйства, и когда разламывали избу и за стеной с грохотом катились бревна по слегам и устрашающе выл грузовик, она вздрагивала и каждый раз пыталась перекреститься, но рука у нее не поднималась. Не могла она и заговорить, не могла ни



на что пожаловаться — язык у нее отнялся еще в тот день, когда младший внучек колотил старшего. Лежала она на печи тихая, безропотная, смотрела на всех сверху вниз и, кто знает, может быть, даже ничего не видела, из глаз ее текли мутные печальные слезы. К ней частенько заходили соседки, приносили еду, разные сладости, приезжала фельдшерица из сельсовета, прописала лекарства, заглядывал председатель. По целым дням сидела у бабушки Нюрка Молчунья, топила печь, доила корову, ставила самовар, кормила Анисью кашей с ложечки, поила горячим чаем, пробуя предварительно то и другое, чтобы не обжечь больную. Шурка стеснялся, когда Молчунья в избе была одна, и уходил из дому.

Павел заглядывал в избу не часто, но свободно, как хозяин, выказывал бабушке всяческие знаки внимания и следил, все ли для нее делается. С Шуркой он не разговаривал, только иногда шипел в его присутствии:

— Такую бабушку загубил, каналья, такого человека с ног сбил! — И, обращаясь к ней, спрашивал: — Не хочешь ли, бабушка, покушать чего-нибудь?

Бабушка смотрела на него без всякого выражения на лице, и только мутные струйки слез текли по ее пепельно-серым морщинистым щекам.

Однажды навестил старуху и дед Нюрки, колхозный пасечник Михайло Лексеич. Он принес для нее горшочек меду — тот самый горшочек, который Анисья не раз успешно ставила на пуп самому Михайле Лексеичу. Нюрка очень смутилась, увидев деда, вскочила со стула, намереваясь убежать из избы, но дед сказал ей резко: «Сиди!» — и она осталась.

— Возьми-ка вот и угощай по чайной ложке через час-два, лучше с водой, авось еще и выживет,— приказал он.— А дармоеда, хапугу этого, не подпускай к старухе!

— Что ты, дедушка! — вспыхнула Нюрка.

— Молчи! Делай, что говорят. На то ты и Молчунья.

Бабушка умерла, когда Павел увез на машине последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Шурка захотел все сделать сам.

Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были слезы. Больше всех плакала Нюрка, она словно с молодостью своей прощалась. Простился со старухой и Прокофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны.

1961



Рассказы



ПЕРОВСКОЕ ОЗЕРО

За окном в зимней ночной темноте воет ветер, а Федору Игумнову хочется думать, что воют волки. Дом Екатерины Ивановны, у которой он живет на квартире, стоит на окраине районного городка, дальше идет спуск к реке, еловый лес,— почему бы в этой глухомани ночью не выть волкам?

Метель метет, в окно хлещет снег, а Федору Игумнову воображается, что это морской шторм бьет по мерзлым стеклам. И узоры на стеклах от соленой морской воды. Эка невидаль — метель, а морской шторм — вот это настоящая природа, хотя в жизни своей ни шторма, ни самого моря Федя еще не видал.

«Между прочим, метель и вьюга — одно и то же или нет?» — думает он.

Федор Игумнов учится в сельскохозяйственном техникуме, ему скоро исполнится семнадцать лет. Техникум — это среднее учебное заведение, значит, Федор уже не учащийся, а студент. Учащимся он считался в семилетке, ну и хватит с него. Сейчас Федор Игумнов обижается, когда его по-прежнему называют учащимся; он студент, а не учащийся, понятно вам это?

Ветер воет в печной трубе где-то на крыше, вот-вот заберется в комнату. Вздрагивает дом, на чердаке стучит неплотно пригнанная дверка. Качается электрическая лампочка под потолком. На печи ворочается и вздыхает Екатерина Ивановна, хозяйка, наверно, опять молитвы шепчет.

Странное дело, она всю жизнь боится, когда по ночам свистит ветер и метет метель. Зима длится почти полгода, чуть не каждый день то морозы трескучие, то метели, пора бы к ним и привыкнуть! А она все боится чего-то, крестится и бормочет молитвы.

Наверно, летом она боится гроз?

Федор перекладывает на столике тетради, книги. Заниматься ему не хочется, скучно заниматься в такую волшебную погоду. Завывание ветра за стеной и постукивание чердачной дверцы будоражит его. А тут — «Тетрадь по семеноводству», «Машиноведение Федора Игумнова». Разве не скучно?

И что это за фамилия у него — Игумнов? Гумна, гуси-гуменники, игумен... Серая фамилия! Вот если бы: Громов! Или, скажем, Дубровский! Или — Стабриков!

Учитель по естествознанию в техникуме — Стабриков! На свете, наверно, нет ни одной птицы, которой бы он не знал по имени. Бывало, засвистит в классе по-птичьи и спрашивает: «Скажите-ка, чей это голос?» «Человек должен жить в лесу!» — часто повторяет он. А что, разве не верно? Почему человеку нужно ютиться в городах, как в гаражах, четыре квадратных метра на живую душу?

Стабриков Кондратий Ефимович — вот это человек!

Или еще: Рыжков Михаил Никифорович, учитель по рисованию. «Самый большой художник — сама природа! — говорит Михаил Никифорович.— Присмотритесь к закату или к восходу — это природа пробует на небе свои кисти, это ее мазки, ее многоцветная палитра».

Кстати, почему опять же — учитель, а не преподаватель? Учитель — значит, и ученики, а не студенты. Но ведь техникум — среднее учебное заведение, а не семилетка...

Час ночи. Федор Игумнов решительно встает со стула, надевает валенки, ватник, заменяющий ему лыжный костюм, накручивает вокруг шеи шерстяной шарф домашней вязки, концы шапки-ушанки завязывает под подбородком, рукавицы сует за пазуху.

— Куда ты, Феденька, полуночь, наверно? — встревоженно спрашивает его Екатерина Ивановна.

— Схожу на лыжах, погода очень хороша.

— Вот те на́ — погода! А простудишься опять, да приедет мать, что я ей скажу?

— Не простужусь! — говорит Федор.— Погода очень хороша.

В углу темных сеней он нащупывает лыжи и, сняв железный крючок с двери и отодвинув железный засов — все ощупью,— выходит во двор, потом через заскрипевшую калитку — на улицу.

На улице тоже темно, как в сенях, ни земли, ни неба не видно. Окраина городка не освещена, только в какой-то дальней избе посверкивают два огонечка,— Федору они кажутся волчьими глазами.

Сумасшедший ветер набрасывается на него сразу со всех сторон, старается покачнуть, свалить, кидает снегом в лицо — приятно!

Федор становится на лыжи, подвязывает их, надевает рукавицы и, опираясь на палки, трогается с места, пробует, хорошо ли скольжение.

Сзади громко, на всю улицу, хлопает калитка,— значит, он забыл закрыть ее на задвижку. Не снимая лыж, он развора чивается, наглухо закрывает калитку и теперь, уже рывком,

совсем отваливает от дома. Но не туда, где светятся огоньки, как два волчьих глаза, не в сторону городка, а к реке, в лес, в кромешную сумятицу ночи. Только там, в лесу, могут быть настоящие волки.

Страшно? Пусть будет немного страшно! Зато он теперь наедине с природой, лицом к лицу с ветром, с метелью, с вьюгой.

«Здравствуй, ветер, снежный ветер! — настраивается он на поэтический лад.— Сегодня ты мой единственный друг и товарищ на всем божьем свете. Дуй, ветер, пока не лопнут щеки! Только тебе я могу рассказать, что творится в моей душе, какие силы непомерные таятся во мне, какие планы зреют, как много в душе моей любви, много всего... Только ты, ветер, один можешь меня понять. Вот тебе моя грудная клетка, слушай — уже не крик, а стон...»

Федя скользит на лыжах по заметенной наполовину дороге вниз к реке и сначала только думает обо всем этом, а потом это же самое начинает произносить вслух, декламировать. Освоившись с темнотой, он различает уже огромные мохнатые ели по сторонам дороги, изгородь из жердей, телеграфные столбы, наконец, ближе к реке, черные кусты можжевельника, широкие и причудливые, как привидения.

Федор бывал в этих местах не раз в дневное время, знает очертания каждого куста, каждой ели, знает, что не может быть здесь никаких волков, никаких привидений, но ему хочется думать, что есть на его пути и волки, и привидения. И еще хочется думать о том, какой он бесстрашный, какой необыкновенный...

— Я люблю тебя, ветер! — кричит он, все сильнее налегая на палки.— Ты живой! Ты не просто «перемещение воздуха в пространстве от разности температур», ты — ветер!

На крутом береговом склоне вблизи картофелесушильного завода Федор наугад направляет лыжи через высоченный трамплин, но вовремя спохватывается, свертывает в сторону: риск слишком велик. С этого трамплина даже днем не каждый решается прыгать, а прыгать ночью, в темноте да в метель, когда за десять шагов ничего разглядеть нельзя, легко и голову свернуть. Голову сворачивать Феде Игумнову не хочется. Рано еще!

Вот если бы свидетель, только один свидетель... одна свидетельница!..

«Интересно бы все-таки узнать,— думает Федя,— в каком это доме горят огоньки, два окошечка? — Мысль об этих светлых точках в ночи не оставляет его, что бы он ни декламировал, с чем бы ни обращался к ветру.— Уж не Кланя ли Чеботарева сидит так поздно? Похоже, что огонь горит там, где ее дом. Если это не спится Клане Чеботаревой, то интересно бы узнать, чем она занимается, о чем думает? О ком думает?..»

Снег хлещет в лицо, попадает за уши меховой шапки,

проникает к кистям рук меж ватником и рукавицами, снег оседает на бровях, на ресницах. Холодные талые капли текут по щекам, в рот — хорошо!

Федор распахивает ватник и держит полы, как парус, лыжные палки висят на кистях рук. Ветер надувает полы ватника, и вот он уже мчится на лыжах, не в снежном поле, а в море на буере. Если бы Кланя эта видела! Если бы она была рядом с ним!

«Заболеть бы сейчас, простудиться бы! — думает он.— И чтобы Кланя узнала и пришла бы к нему сама, прямо на квартиру, к Екатерине Ивановне, посидела бы около его постели, а то прямо — в больницу, в палату. «Как он себя чувствует, выдержит ли?» — спрашивает она врача. «Что вы, этот парень все выдержит! — отвечает ей врач.— Вы посидите около него, поразговаривайте с ним, ему больше ничего и не надо».

А еще лучше, если бы на него напали волки, ну хотя бы один волк! Порвал бы на нем ватник, искусал бы лыжную палку, которую Федя, конечно, сунет ему в пасть. Завтра днем эта новость облетит весь городок, на квартиру к Феде сбегутся его товарищи, студенты техникума, будут рассматривать искусанную палку и порванный ватник... А среди них, где-то, наверно, сзади, будет стоять Кланя Чеботарева и восторженными, сияющими глазами смотреть не на ватник, не на палку, а на него, на Федора Игумнова. Вот тебе и гусь-гуменник!

А ведь может и такое статься: сунет он лыжную палку волку в пасть, сорвет с себя ремень и ремнем стянет ему челюсти, потом свяжет ноги и принесет его — сейчас же, немедля! — прямо в избу к Екатерине Ивановне. «Смотрите, Екатерина Ивановна, какой я гостинец из лесу приволок!..»

Кланя Чеботарева! Милая, чистолицая, всегда веселая, с ямочками на щеках, с лукавыми, смеющимися, что-то обещающими глазами. Носит она шерстяные цветные кофточки. Даже если не юбка, а платье на ней, все равно поверх надета кофточка, то распахнутая, то застегнутая на все пуговицы. Кланя Чеботарева! Все знают, что она пишет стихи, хорошо рисует, ведет в техникуме рукописный журнал «Наше творчество». Но это все — так. А есть в ней еще что-то, что-то такое, из-за чего Федя не может не думать о ней, только о ней, все время о ней, дни и ночи о ней. Вот только почему в нее влюбляются все его товарищи и все разговаривают с ней, а он только письма ей пишет.

Что-то такое есть в ней, в Клане Чеботаревой, но что это «что-то такое», Федя не знает. Почему же тянет именно к ней и ни к кому другому? Может быть, и в нем самом есть «что-то такое»? Тогда почему же ее не тянет к нему? А может быть, тоже тянет, только он не замечает этого?

Эх, заболеть бы! Простудиться бы!..

•

Все началось год назад, нет, уже полтора года назад, в школе, на выпускном вечере седьмых классов. Ночи весной коротки, да это уже и не весна была, а лето, первые числа июня, и прощальный вечер затянулся до самого утра, до восхода солнца, хотя на торжественную часть времени ушло не много.

Директор Аристарх Николаевич, который до этого казался Феде Игумнову старым-старым, произнес, как всегда, речь, но такую необычную, не директорскую, что у многих семиклассников слезы на глазах выступили. А Федя Игумнов вдруг увидел, что вовсе он не старый, их директор, а совсем еще молодой; сам же он и все его товарищи по классу вдруг показались взрослыми. «Скоро к каждому из вас, друзья мои, придет любовь!» — сказал Аристарх Николаевич, и это было так удивительно, что поначалу в зале кто-то даже хихикнул: Аристарх Николаевич — и вдруг заговорил про любовь! А говорил он не только о любви к работе, к Отечеству, а и о той любви, которая до тех пор считалась в школе почти под запретом. Да еще: «Друзья мои!»

Торжественная часть вечера, собственно, на этом и закончилась. Вернее, официальная часть. После того как директор заговорил о любви, ничего официального, казенного уже не могло быть. В душе у ребят запели действительно торжественные струны. А с Федором Игумновым именно в этот момент и произошло то самое «что-то такое», без чего он уже не мог больше жить ни одного дня.

Клаля Чеботарева случайно сидела с ним рядом. Но разве это могло быть случайностью? Правда, до этого он ее почти не замечал. Но ведь это казалось только, что он ее не замечал. Могло ли быть когда-нибудь, чтобы он ее не замечал?

— К тебе любовь тоже скоро придет? — вдруг шепнула она ему и засмеялась тихо, беззвучно, а на щеках ее заиграли ямочки, те самые ямочки. Не может быть, чтобы их он тоже не замечал раньше!

— Не знаю! — смущенно ответил Федя.

— А ты влюбись!

— В кого?

— В меня влюбись!

И Федор Игумнов влюбился в нее. Какая же тут случайность?

Выпускной вечер сразу после этого стал для него праздником. Федя почувствовал, что жизнь его начинается заново, все заново. Многих своих товарищей он, вероятно, больше уже не увидит никогда — разъедутся ребята в разные стороны, кто учиться, кто работать. Сам он давно решил, что будет учиться во что бы то ни стало. Неважно даже где, на кого, только бы учиться. А куда уедет Клаля Чеботарева, он еще не знал,

и теперь, когда произошло «что-то такое», он уже не мог спросить ее об этом. Он вдруг потерял способность разговаривать с нею. Только что мог разговаривать о чем угодно, но не разговаривал, а может, разговаривал, да не замечал, что разговаривает, и вот уже не может ни о чем говорить. А ведь она, конечно же, уедет куда-нибудь, может, завтра же. Может, она уже давно знает куда: будет поступать учиться или пойдет на работу. А если она никуда не уедет из городка — она же здешняя, городская,— так все равно он сам завтра должен уехать на лето в свою деревню, в колхоз, к родителям.

И Феде стало тревожно и грустно. Что с ним теперь будет, как он будет жить дальше? Выпускной вечер превратился для него в прощание не только с товарищами, со школой, а еще с чем-то, со всей своей прежней жизнью, с самим собою прежним.

После выступления доморощенных артистов и декламаторов начались танцы под баян. Кланя танцевала со всеми, кто хотел танцевать с нею. А танцевать с нею хотели все. Федя впервые заметил, что ребята охотно приглашают ее, что у нее не было ни минуты свободной.

Когда она кружилась в вальсе, шелковая черная юбка ее широко раскручивалась, развертывалась, приподымалась, как лепестки игрушечной Дюймовочки. К вальсу Кланя относилась серьезно, была сосредоточенна и не улыбалась, а фокстротила с озорством, наклоняя голову то вправо, то влево, раскачивалась и даже притопывала. Уморившись, она забросила куда-то свою шерстяную кофточку, и глаза ее сияли, и белая блузка тоже сияла. Ямочки на ее разгоревшихся щеках не давали Феде покоя.

Конечно же, никто так сильно не хотел танцевать с Кланей, как он, но, вероятно, именно потому он и не решился ни разу пригласить ее. Хотел и не мог. Он только ходил по залу вокруг танцующих и останавливался то в одном месте, то в другом, стараясь держаться поближе к Клане. И когда Кланя проносилась в вальсе мимо него, от ее расколоколившейся юбки веяло на Федю жарким волнующим ветром. Федя боялся приглашать ее, ему казалось: пригласи он Кланю, и все сразу поймут, почему именно ее он пригласил, и все будут смотреть только на него одного.

Как легко жилось ему раньше, когда он не был влюблен!

После танцев началась игра в «ручеек».

Вот ручеек — иное дело. В его шумном потоке не сразу можно было разобраться, кто о чем думает, кто чего хочет. Ребята и девушки брались за руки и становились друг против друга, образовав длинный живой коридор. Две шеренги — как два берега ручейка, сплетенные руки над ним — живой навес из ветвей. Кто-то лишний, пригнувшись, пробегает под этим навесом с одного конца ручейка до другого и хватает на ходу за руку того, кого ему хочется: парень — девушку, девушка — парня. Оставшийся без пары в свою очередь пригибается и

бежит в другую сторону, хватая на ходу кого ему нужно, и становится, уже вдвоем, на другом конце зала. Так и переливается ручеек из конца в конец. Ничего особенного, а можно, оставшись без пары, взять за руку не кого-нибудь, а именно Кланю, и никто тебя не осудит, не заподозрит ни в чем. Можно стоять и молчать, если язык отнялся, только руку ее жать крепко-крепко, со значением. Весело, шумно! Ты в толпе и в то же время — наедине с *н е ю*.

— Ты почему все меня выбираешь? — спросила Кланя.

— Ты же сама сказала...

— Чего я сказала?

Федя покраснел весь, напрягся, чтобы ответить, но не успел: руку Клани выхватили из его руки, а он, не столько огорчившись, сколько обрадовавшись, что не надо отвечать, тотчас согнулся в три погибели и ринулся в другой конец ручейка.

Далеко за полночь выпускники покинули стены школы.

— «Караул» устал! — крикнул кто-то, имея в виду школьную сторожиху, и толпами, и парами они вышли на улицу.

Вот когда началось самое трудное для Игумнова. Кланя могла исчезнуть немедленно и навсегда. Надо что-то сказать ей, о чем-то договориться. Что сказать? О чем договориться? Надо сделать хотя бы так, чтобы Кланя знала... А что она должна знать, если он и сам еще ничего не знает и не понимает?

А знать она должна, что он ее любит. Но разве это и есть любовь?

Да! Кто это все выхватывал ее руку из его руки? Кажется, длинный Митя Ржаницын? Или Андрюшка Второв? Федя начинает восстанавливать в памяти всю игру в ручеек. И Митя Ржаницын и Андрюшка Второв часто выбирали Кланю. Означает ли это что-нибудь или это ничего не означает?

— Пойдемте на Перовское озеро, ребята! — крикнул кто-то.

Как это странно, что на улице оказалось уже утро. Ранний матовый свет, как легкий теплый туман, обволакивал неподвижный город, небо еще не розовело, а густолистые деревья перед каждым одноэтажным домиком казались черными. Ни одной живой души на тротуарах, и птицы еще не пели, а свет ширился, и непонятно было, откуда он шел.

— Пойдемте на Перовское, ребята! — предложил и Митя Ржаницын и взял под руку Кланю.

Федя Игумнов сразу успокоился,— значит, Кланя не исчезнет, он даже обрадовался тому, что Ржаницын взял ее под руку.

— Правильно, пошли на Перовское! — крикнул он восторженно и громко.

Перовское озеро было излюбленным местом молодежи, особенно в весеннюю пору. Широкие поемные луга за рекой, таинственные хвойные рощи и просвечивающие насквозь перелески, зеленые холмы и лывины, наконец, собственно озеро,

образовавшееся в старом русле реки, заросшее осокой и кувшинками и прикрытое с берегов кустарником,— все это называлось Перовским озером. Велико ли оно было, глубоко ли, куда и откуда текло, и текло ли вообще куда-нибудь, и сколько было лесу вокруг него, сколько лугов — вряд ли кто-нибудь знал. Начнешь бродить по излучинам, попадешь в какое-нибудь колено — справа вода, слева вода,— и страшно становится: выберешься ли? А соловьи весной по кустам поют день и ночь, смолкнут в одном конце, защелкают в другом. Соловьи — это тоже Перовское озеро.

Реку перешли по лаве. Две-три жердочки на колышках, перетянутых размятыми березовыми вицами, да жердочка-поручень с одной, с правой стороны. Идешь, все под тобой дрожит и качается, хочешь — смейся, хочешь — плачь. Туман над рекой густой, чуть зазеваешься — и полетишь в воду. Ребята смеялись — что им еще оставалось? — девушки вскрикивали и визжали от страха, но всем одинаково было весело.

Далеко слышен был заливистый соловьиный голос Клани — по лаве переводил ее Митя Ржаницын. Федя шел где-то сзади, прислушиваясь к их разговору и начиная все больше ненавидеть Ржаницына. А когда, на другом уже берегу, рядом с Кланей оказался Андрюшка Второв и голос ее звучал все так же звонко и разымчиво, ненависть его переметнулась на Андрюшку.

На Перовском озере, среди темного леса, туман был гуще, чем над рекой, словно утро там еще не наступало. Ребята облюбовали зеленый травянистый холмик и среди берез разложили небольшой костер. Появился огонек — появился и ветер. Нижние ветви березы над костром зашумели и затрепетали, тревожно приподымаясь, словно хотели уберечь свою молодую листву от огня.

Подсохшие листья ребята разминали, завертывали их в козьи ножки и курили. Конечно, это был не табак, но дым изо рта, из ноздрей шел настоящий, и это казалось тоже вступлением в новую, взрослую жизнь. Настоящий табак тоже был кое у кого, но курить березовые листья казалось интереснее.

«Друзья мои, скоро каждого из вас посетит любовь!..» — вспоминались слова Аристарха Николаевича. Скорей бы! Ребятам было весело курить, кашлять и смеяться над собой. А девчата кидались на выручку к каждому, кто заходился в кашле, и колотили кулаками по спине.

Потом запели песни.

Федору казалось, что невесело было только ему одному. У костра не было ни Митьки Ржаницына, ни Клани Чеботаревой. Они вдвоем ходили по берегу озера взад-вперед, то исчезая в тумане, то выплывая из него, и когда они исчезали, он впадал в отчаянье: что они там делают, о чем говорят? Успокоился он немного, и то ненадолго, только тогда, когда к Ржаницыну и к Клане присоединился Андрюшка Второв.

Удивительно, как просто он это сделал! Шумел, курил у костра, потом вдруг увидел их, крикнул: «Эй, вы, иду к вам!» — и догнал их. И все. Стал ходить вместе с ними. Конечно, Федор о таком и помыслить не мог. Горькая, стыдливая зависть мучила его и, пожалуй, ненависть к этим двум счастливчикам — Ржаницыну и Второву. Но еще больше ненавидел он самого себя, недотепу, за то, что не может вот так же просто подойти к Кланe, как они подходят.

У костра пели песни «Я люблю тебя жизнь» и «Летят гуси», деревенские частушки и «Сулико». Федор не хотел петь песни, не хотел веселиться, он хотел тосковать, грустить. Отойдя в сторону, он осмотрелся — куда бы забраться, чтобы его никто не видел, а он бы видел всех, перемахнул через заболоченный ручеек, обогнул два-три куста и лег лицом вниз в густую пахучую траву на бугорке, как на необитаемом острове. Пусть-ка поищут теперь его, когда хватятся, пусть покричат!

Но никто Федора не искал, никто даже не заметил, что его вдруг не стало, и, наверно, никто не вспомнил о нем. В траве у самых его глаз ползала какая-то зеленая и серая мелочь, иногда пробегали одинокие муравьи, пробовал настроить свою скрипку сонный кузнечик — шла жизнь, утверждалось утро. Федор лежал один и жалел себя. Стоит ли сейчас вспоминать, о чем он думал тогда? Слезы, конечно, тоже были, но ведь их никто не видал... Не стоит вспоминать!

Солнце вылезло из-за леса, туман над озером словно в воду ушел. Ребята и девушки попели, покричали и двинулись в обратный путь. Федор от обиды, что о нем забыли, проводил их глазами, не поднимаясь из травы, и вернулся домой последним, один. С Кланей в ту весну он так и не поговорил ни о чем.

А потом было лето, работа на колхозных сенокосах, на полях, рыбная ловля, первые ягоды в лесу, первые грибы, кое-какая подготовка к вступительным экзаменам в техникум,— много чего было летом! Жизнь в деревне проще, и думы о ней легче. Все городские радости да и обиды городские почти не вспоминались.

Осенью, поступив в техникум, Федор встретил Кланю Чеботареву и с трудом узнал ее — так она повзрослела. Оказалось, учиться они будут вместе, но ее почему-то приняли без экзаменов.

— Каким ты мужиком стал! — не то с восхищением, не то с испугом сказала Кланя и ласково задержала его руку в своей руке.— Вот сейчас в тебя и влюбиться можно.

И Федор снова влюбился в нее.

И вернулись к нему прежняя робость и прежняя ревность. Опять он боялся заговаривать с Кланей, краснея, вновь опускал глаза, неловко топтался на одном месте, не зная куда деть свои сразу становившиеся непомерно длинными руки, а если встре-

чался с ней в городе, то старался либо свернуть в первую же калитку, либо торопливо переходил на другую сторону улицы. Но он уже и не молчал, как раньше: он писал ей письма. Кланя не отвечала, но и не запрещала писать, а в техникуме во время занятий и в коридоре на переменах поглядывала на него так ласково, так доброжелательно, что ему хотелось писать еще и еще.

Много времени минуло с того прощального весеннего вечера в школе и утра на Перовском озере, бесконечно много,— так, по крайней мере, казалось Федору Игумнову, а изменилось ли что-нибудь в его судьбе? Счастлив он или несчастлив? Разве сам он знает об этом? Знает только, что к нему «пришла любовь» и что она настоящая. А счастлив или несчастлив — об этом надо еще думать да думать!..

●

На реке меж берегов, как в большом корыте, ветровые вихри взбивают мутную снежную пену, она шипит, пузырится, бугрится, заслоняя все вокруг, лопается и опять вздымается.

Федор остановился, смахнул с лица рукавом ватника тающие снежные хлопья и оглянулся: ни города, ни тех огоньков в окнах, похожих на волчьи глаза, не было видно. Тогда он поднялся на противоположный берег реки, ставя лыжи не прямо, а то лесенкой, то елочкой — прямо на крутой берег реки не выберешься,— и оглянулся. Нет, огоньков не видно. Ничего не видно!

И ему стало тоскливо и одиноко в этом ночном мире, как в беззвездном небе.

Шумит лес, плывет снег, плывет земля из-под ног. Помедли еще немного — и никогда не вернешься домой, к Екатерине Ивановне, в теплую комнату с качающейся лампочкой под потолком. Навсегда исчезнут и этот берег, и городок, и все мечты о большой жизни, и Кланя — всё! Навсегда!

Федор разворачивается, не сходя с места, только поднимая и ставя лыжи в обратном направлении, в свой же след, затем резко отталкивается и мчится вниз, в русло ледяной реки, как в бездну. Старая лыжня уже заметена, при спуске он ныряет в какую-то черную яму, будто в прорубь, и с головой зарывается в рыхлый пахучий сугроб.

Вставать ему не хочется, он только выбирается из сугроба, вытирает лицо, глаза и остается лежать на снегу, как в сене, отбросив палки, раскинув руки.

В памяти опять возникают стихи любимых поэтов, и он декламирует:

Черным крестом лежу в темноте,
Точно могила в поле.

Ах, Кланя, Кланя!..

Летом в деревне взрослые девушки, встречаясь, улыбались ему озорно и туманно. На сенокосе, словно по сговору, они толкали его в навалы свежего колючего сена и тискали, пробуя его силу и податливость на ласку. Что бы ей, Кланe, быть там, между ними! Что бы ей, а не другой стоять на озороде с граблями и подхватывать плотные душистые пласты, которые он подбрасывал вилами на высоту двухэтажного дома, и разравнивать их по промежкам, и утаптывать! А потом, когда стог смётан и останется лишь завершить его, спускалась бы она вниз по крайнему стожару, игриво повизгивая от страха и прикрывая юбочкой стыдливо ноги свои, обутые, конечно, уже не в городские туфельки на гвоздиках, а в простые деревенские ботинки, либо в кирзовые сапоги (интересно, как бы она выглядела в липовых лаптях, которые на сенокосе носят и поныне, потому что они легки и удобны?), спускалась бы она с высокого стога, как с неба, а он бы стоял внизу с жадно поднятыми руками и ждал бы ее долго-долго и, наконец, принял бы сначала на плечи, а потом прямо себе на грудь. Что бы ей, Клане, а не другой какой, бегать с ним в полуденный перерыв в кусты за смородиной, за спелой вяжущей черемухой, а потом сидеть у костра перед шалашом, кашеварить и есть с ним из одного котелка жирные мясные щи!

«Человек должен жить в лесу!» — говорит Кондратий Ефимович Стабриков. Он, Федор Игумнов, стал бы жить в лесу всю свою жизнь, только чтобы с ним была Кланя Чеботарева.

— Кланя, моя Кланя! — шепчет Федор, прикрываясь рукавицей от ветра.— Если бы ты знала, сколько я о тебе думаю! Все во мне живет для того, чтобы тебя любить. А сколько раз я во сне тебя видел! Сотни снов! Сколько ночей, столько и снов, и всё о тебе, Кланя. Лицо твое всегда передо мной, лик твой. Ликует душа моя, ликом твоим наполняется.

И в памяти его опять всплывают стихотворные строчки, без этого он не может:

А улыбка! Ведь какая малость,
Но хочу, чтоб вечно улыбалась.
До чего тогда ты хороша,
До чего доступна, недотрога!
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа!

Холодно все-таки. Ветер уже под ватником, под шапкой, забрался в валенки, трогает пальцы ног. Подобрав палки и с трудом освободив лыжи из-под снега, Федор встает и скользит обратно, стараясь убежать от ветра, от вьюги.

Вот уже и река позади, и перед глазами знакомые очертания изгородей, а вдали, совсем рядом, приветливый, теплый огонек в чьем-то окне — не два огонька, а теперь почему-то один, как

маяк в море. Конечно же, это Кланя Чеботарева не спит. Федор в этом почти уверен. В мире существует для него теперь только она одна, Кланя Чеботарева, да еще под ее окном он сам.

И он бежит на огонек, к ее окну, все ближе, ближе, чтобы заглянуть в него либо ком снега в стекло бросить.

Останавливается он совсем близко от дома и вдруг узнает, что пришел не к дому Клани, а к своей калитке и свет горит в его собственной комнате.

Сквозь морозные узоры на стекле виден профиль Екатерины Ивановны. Старой Екатерины Ивановны, а не Клани. Но разве она, Екатерина Ивановна, в этом виновата? Не лежится ей на печи, сползла, волнуется, сидит, его ждет. Милая, добрая старушка, совсем чужая ему и такая родная! Кажется, нет у нее других забот в жизни, как следить за ним — не простудился бы, не умер бы с голоду, не задержался бы где-нибудь понапрасну после занятий... За постой она берет с Федора полтора кубометра дров в месяц, эти дрова привозит в городок по воскресеньям отец Федора — либо на попутной машине, либо на колхозной лошади в розвальнях. Но разве дрова — плата за добро?.. И вообще, разве платят за добро чем-нибудь?.. Только сейчас в его раздосадованной душе нет никакой благодарности к Екатерине Ивановне.

— Чертова ведьма! — ворчит Федор.— Спала бы да спала себе. И не совала бы свой добрый нос куда не следует!

Сняв лыжи и отряхнувшись от снега, он со стуком распахивает, вскрикнувшую как от боли, калитку и возвращается в дом.

●

В коридоре перед началом занятий Федор мимоходом сунул в руку Чеботаревой Клани письмо и сам исчез, а за уроком сел за самый задний стол и посмотрел издали, как она его читает.

Федор писал:

«Кланя! Занималась ли ты когда-нибудь фотографией? Знаешь, какое это чудо! Позавчера Колька Лешуков научил меня проявлять пленки и печатать снимки. У него в бане целая мастерская. Я прямо обалдел от счастья. На белой бумаге вдруг появляются березы, елки, телеграфные столбы, а то — друзья-товарищи, и мы с ними вместе, как живые. Все на белой бумаге. Поколдуешь немного — и вот тебе небо, а вот Комсомольская улица, еще поколдуешь — и вот Дом культуры и около него грузовик в снегу. Я как-то не замечал раньше, что Дом культуры — это бывший собор, а на снимке сразу увидел, даже купол есть. Днем я проверил — все правильно.

Потом Лешуков взял летнюю пленку — и снимки пошли летние: по реке плоты плывут, а на берегах коровы пасутся, трава и листья вокруг. А то вдруг проявится чье-то бородатое лицо. Все на белой бумаге — разве не чудеса?..

А сегодня ночью в метель я ходил с тобою в лес на лыжах. Никого, кроме нас, не было в эту ночь в лесу. Только ветер свистел да снежные волны перекатывались через наши головы, в снегу тонула душа. Мне было очень хорошо с тобою, спасибо тебе! Ветер стих, снег улегся в сугробы, а любовь моя осталась со мной, в моей груди. Волны моей любви выше снежных сугробов, мне было тепло с тобой.

Ты думаешь, я с ума сошел, да?

В душе у меня такое богатство — кради не раскрадешь, никто не раскрадет. Не оскудею никогда. В ней, как в копилке, все лесные тропинки и дороги, по которым мы с тобой ходили, все города и страны, которые мы посетили вместе, все реки и моря, по которым мы плавали. Ничего не забуду вовек.

Глупый я, да? Но я люблю тебя. И тебя заселю любовью своею, небо и землю твои займу — тесно, тесно, некуда будет приземлиться чужой душе.

Пожалуйста, не показывай никому мои письма!»

Кланя читала и поглядывала изредка на Федора. Порой их взгляды встречались, тогда Федору казалось, что она вырвет сейчас из тетради четвертинку бумаги, настрочит ему ответное письмо и пошлет по рукам от парты к парте: «Феде Игумнову, лично». Ему очень хотелось, чтобы такое случилось. Он даже представил себе, что именно Кланя напишет ему.

«Федя, милый, почему ты всегда так далеко от меня садишься, поговорить нельзя. Читать твои письма я очень люблю,— пожалуйста, пиши почаще. В них видна твоя настоящая душа. Мне кажется, что ты необыкновенный человек, тебя ждет что-то очень большое впереди. Я рада, что наши взгляды почти во всем сходятся. И чувствуем мы с тобой одинаково. Ты веришь мне? Понимаешь, что я хочу этим сказать? Пойми, пожалуйста, и верь мне. Верь мне, что я всю жизнь буду твоим другом. Ведь не обязательно каждому быть большим человеком, в смысле — великим, важно быть благородным и верным человеком. С тобой я обязательно буду благородным и большим человеком на всю жизнь. А Митя Ржаницын и всякие там Второвы — это просто так. Ты не обращай на них никакого внимания. Понимаешь меня? Федя, ты мой, Федя!..»

Однажды Кланя сказала ему:

— У нас чуть не все девчата Клани: Кланя Попова, Кланя Иванова, Кланя Чегодаева и я, Чеботарева, тоже Кланя. Дома тоже все меня Кланей зовут. Надоело. Выдумай для меня какое-нибудь другое имя. Не можешь?

— Почему не могу? — сказал Федор.

Ему казалось, ничего нет проще и легче, как придумать для Клани сотни имен. Что сотни — тысячи! Разве про себя не называл он ее тысячами ласковых имен, и все со значением, все красивыми? Сердце подсказывало эти имена, их и выдумывать не нужно.

Придя домой, он взял тетрадку и стал записывать: Кланя Чеботарева, Клава, Клавдушка, Клавдия, Клавдя... Кланя любимая. Дорогая Кланя. Мое счастье, моя первая любовь...

И вдруг он понял, что нет у него этих сотен новых имен. Значит, они были только в его воображении, только представлялись ему. «Любимая», «Дорогая», «Счастье мое» — это же не имена. И новых слов о любви у него нет. Они только звучали для него, как новые. А стал записывать, и оказалось, что все эти слова уже были давно. И любовь не новое слово.

Но отступать, признавать свое бессилие не хотелось, и Федор стал мучительно выдумывать: Клава, Клад, Клавиши, Клавиатура, Меч-кладенец... Чепуха какая-то! Литературная игра! Самое красивое имя, наверно, Клавдия. Еще Клавдя. В деревне у них Клавдию зовут Клавдя.

Идет Клавдя с сенокоса по широкой улице с косой на плече, статная, нарядная. Под косынку убрана золотая коса густых волос. Все Клавдю знают, всем она люба. «Здравствуй, Клавдя,— кричат ей мужики и бабы,— каково работалось, Клавдя?» Девушки ее спрашивают: «Где сумерничать будем, Клавдя? На угор придешь или нам к тебе заглянуть?» А парни Клавдю зовут Кланей, так вроде покультурнее: «Чего женихов-то обходишь, Кланя?»

И все Клане кланяются...

Нет другого имени лучше, чем Кланя. Пусть же и его Кланя будет Кланей, и не надо ничего больше выдумывать.

●

Когда уроки кончились, Федор первый ринулся вниз по лестнице в раздевалку, чтобы скорее убежать домой. Но убежать ему не удалось. И вот случилось почти непредвиденное, непонятное — сверху вдруг раздался голос, ее голос:

— Игумнов, подожди меня!

Кланя первая заговорила с ним, и не просто так, не как обычно, не так, как раньше бывало: «Какие у нас завтра уроки?», или: «Хорошо, что сегодня физкультуры не было!..», а заговорила о том самом, и первая.

Со страхом в душе он ждал ее на нижних ступеньках лестницы, прижавшись спиной к перилам, опустив глаза. Его толкали, а он стоял и ждал.

— Слушай, Федька,— сказала ему Кланя,— чего ты выдумываешь, будто я с тобой на лыжах ходила, да еще ночью?.. Не о чем тебе больше писать, да? И вообще! Что ты все письма мне пишешь, куда я их дену?.. Пойдем лучше в кино сходим.

Музыкой показались ему и эти слова Клани.

1965

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные красивые ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква, и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом.

Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...



Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он.— Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он.— У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что́ за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича,— живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас ЗИМ!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится,— с удовлетворением подумал я.— Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти

ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь,— и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как это интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал,— ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочей.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?.. Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она. — Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток, вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли красные; где висела одна ягодка — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: *тончаем, тонеем, утончаемся?* (Начались муки слова!) Нет, *утончаемся* сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов.— Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале

и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину

азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей! Только ведь осенью опять в школу надо...

Март 1965

СЛАДКИЙ ОСТРОВ

КОГДА МЫ УЕДЕМ?

Мы не знали, куда едем, какой такой необитаемый Сладкий остров вдруг обнаружился в Белозерье и как мы там будем жить. Думалось — едем дней на десять, не больше. Отдохнем, половим рыбку — и обратно. Почему-то представлялось, что этот остров находится вблизи Кирилло-Белозерского монастыря, куда в свое время не раз наезживал Иван Грозный, где отбывал ссылку патриарх Никон; либо этот остров около другого архитектурного памятника русской старины — Ферапонтова монастыря, в котором еще и поныне живы фрески гениального Дионисия.

Казалось даже, что Сладкий остров находится на самом Белом озере. Но на Белом озере никогда не было и сейчас нет никаких островов.

Сладкий остров мы нашли в не менее примечательных местах — на Новóзере. И не там и не таким, каким представляли его по рассказам. Обычная история: сколько ни читаешь, сколько ни слушаешь о чем-нибудь, а когда сам увидишь и испытаешь — оказывается все не так. Северные сияния видали на картинках, все видали, и читали о них много, все читали. А, уверяю вас, они совсем не такие, какими вы их себе представляете. Никакая литература, никакие очевидцы, даже отец родной, не могли мне дать правильного представления о войне, пока я на ней сам не побывал. Зато, побывав и в огне, и в ледяной воде, я совершенно по-новому стал читать Льва Толстого. Он лучше всех передает состояние человека на войне.

Итак, мы переправляемся на лодках из деревни Анашкино на Сладкий остров сначала в большой компании. Почему остров этот называется Сладким? Всегда ли, для всех ли он был сладок?

Местные люди рассказывают, что вблизи острова Сладкого, на острове Красном, процветал в свое время Новоезерский монастырь. О красоте его можно судить по сохранившимся до наших дней крепостным стенам, которые вырастают прямо из воды, и по остаткам церквей и прочих монастырских заведений.

На каком бы берегу Новóзера люди ни находились, на низком, болотистом, где собирают клюкву и морошку, на лесистом ли, высоком, где грибы и малинники и всякая боровая дичь,— отовсюду, конечно, видны были золотые луковки куполов и далеко по озерной глади разносился медный гул и звон с высокой колокольни — «малиновый звон». Красного острова, по существу, не было и нет — не было ни клочка голой, не огороженной камнем земли. Просто посреди озера вознесся к небу сказочный град-крепость, будто один расписной волшебный терем, подобие которому можно найти лишь на самых замысловатых лубках и древних иконах. Он был весь «как в сказке» и в то же время был на самом деле, существовал, красовался.

А на примыкающем к монастырю, тоже небольшом, но совершенно плоском и очень зеленом островке господствовало и процветало православное купечество. В престольные праздники, особенно в дни Тихвинской, здесь работали и лавки, и палатки, и лотки, бродили шумные коробейники — шла оживленная торговля. Купить можно было все — от заморских шалей и полушалков до детских пряничных петушков.

По особенно славились новозерские базары сладкими винами и сбитнем. Что такое сбитень, выяснить точно не удалось. Это какой-то безалкогольный горячий напиток, приготовленный на патоке или подожженном меде со специями, с пряностями. Может быть, это нечто вроде кока-колы или наших ситро и лимонада. Продавали сбитень, как и все другое, с шуточками-прибауточками: «Сбитень горячий пьют подьячие; сбитень-сбитенек пьет щеголек!» И верно, горячий сладкий сбитень любили все, от старого до малого, сладкие леденцы и пряники тоже.

Христолюбивым чадам, только что приобщившимся к святым тайнам и отведавшим сладкого причастия, не менее сладкими казались и русская горькая, и сивуха. Большие народные гулянья с торжественными обрядами и недолгие пиры скрашивали нелегкую крестьянскую жизнь — в престольные праздники, на миру, она казалась порой и обильной и сладкой. Потому будто бы и остров этот стали звать Сладким. Так рассказывают старые люди.

Позднее оба острова были использованы для других надобностей. А сейчас монастырская крепость пустует. Летом в ее стенах сторож Сергей Федорович, колхозник из деревни Карлинки, заготовляет сено для своей личной коровы — это его собственное угодье, и тут никто ему не указ.

Опустел и Сладкий остров. Догнивают на корню и рушатся березовые аллеи. Догнивают и разваливаются всевозможные постройки, постепенно исчезает разное мелкое имущество. Все оно не бесхозное, все где-то зарегистрировано, занесено в книги, но бывшим хозяевам оно теперь ни к чему, а передать его тем, кому оно необходимо или может пригодиться, они не удосу-

жились. Вероятно, когда все служебные помещения, жилые дома и прочие постройки догниют, а имущество будет до конца расхищено — все будет просто списано по акту, как непригодное. Так у нас часто ведется.

Поговаривают, что после этого на Сладком острове будет строиться дом отдыха леспромхоза или Вологодского отделения Союза писателей, либо колхоз организует здесь крупную утиную ферму.

Первое, что нас поразило на острове,— тишина.

Приехали мы туда поздно вечером, и это особенно усилило впечатление удивительной устойчивости, неколебимости всего, что нас окружало. Воздух был неподвижен, вода тоже. На Новозере даже ряби никакой не было, не только волны, разве что иногда рыба всплеснет. Деревья стояли на земле прочно, ни один листочек не вздрагивал. Свистели утиные крылья, да гудели, пели, звенели комары. Комариный писк воспринимался как вечный шум в морской раковине, как пение самой земли. Он не нарушал тишины, а только подчеркивал ее. Ночью вокруг озера запели петухи да где-то далеко-далеко вскрикивали журавли.

Эхо отзывалось на всякий звук. В горах эхо, кажется, присутствует всегда, оно не исчезает. А здесь эхо — гость нечастый, и потому, когда оно появляется, с ним хочется разговаривать, дурачиться и детям и взрослым.

— Какой цветок вянет от мороза? — кричит почтенная мать семейства. И радуется, когда эхо отвечает ей: «Роза! Роза! Роза!»

— Что болит у карапуза? — озорно вопрошает отец.

«Пуза!»

Ах, до чего весело, до чего остроумно!

И вдруг эхо замолчало. Почему?

Старший сын едет за молоком, и в вечерней тишине плеск весел разносится по водной глади и повторяется многократно. Это тишина. Что может быть дороже тишины на свете?

Посмотрите кинокартину «Встреча с дьяволом»,— люди, побывавшие в кратерах действующих вулканов, утверждают, что самое большое в мире достояние — тишина. Я понимаю их. Я живу в большом городе.

Тишина осталась и утром, и на весь день и уже казалась непреходящей. Утром по берегу из деревни Карлинки в деревню Анашкино и дальше к деревне Артюшино — центральной усадьбе колхоза «Заря» — проходила грузовая машина с молоком, только одна грузовая машина — вот и весь шум, а хватало его на весь день. След машины отмечался скорей не шумом, а пылью. Пыль, как дым, клубами поднималась над лесом вдоль берега озера и долго-долго не рассеивалась. По пыльному следу хорошо было видно, где проходит дорога, все изгибы, все неровности ее.

Но до Сладкого острова не доносилась и эта пыль. Здесь

воздух был абсолютно стерильным. И потому так ярко горели здесь закаты и восходы, тысячекратно повторенные в воде. Весь остров просвечивался, вода была видна отовсюду, и он всю ночь сиял в огнях снизу доверху — летние ночи здесь очень коротки. Не успевал потухнуть закат, как рядом с его кострами возникало зарево восхода.

— Когда же мы спать будем? — радостно и встревоженно спрашивали мы друг друга.

Для детей наших, питомцев большого города, все казалось особенно диковинным и волнующим.

— Как? Это и есть белые ночи? Значит, мы уже на Севере?

Мы облюбовали один из домов, заняли половину его, наносили в комнату, предназначенную служить спальней, свежего сена, расположились и сказали себе:

— Десять дней мы здесь проживем. Это уже ясно. Сможем ли только уехать отсюда через десять дней?

Новый быт складывался сам собой. Мы стали ходить сначала в трусах и майках, потом только в трусах. Затем перешли к плавкам, чтобы лучше загореть. Под конец кое-кому и плавки показались лишними. Умывались мы в озере, завтракали на берегу озера прямо у костра. Купались по нескольку раз в день. Обыкновенные пластмассовые мыльницы нас перестали удовлетворять, и мы заменили их створчатыми ракушками. Любой кусок мыла на перламутре казался совершенством. Зубы продолжали чистить, но неохотно,— вероятно, надо было заменить простой зубной порошок святым озерным песком.

Миша мыл руки в озере и удивлялся: не скрипит.

— Почему-то мыло не смывается? — спрашивал он.

— Потому что здесь вода очень мягкая.

— Как это мягкая?

— Не могу тебе объяснить,— в свою очередь удивлялась мать.— Наверно — ласковая!

— А, понятно! — удовлетворялся Миша.

Конечно, легко сказать: завтракали, обедали и ужинали на берегу озера, прямо у костра. Но ведь скатерти-самобранки у нас с собой не было. Не захватили. Значит, кто-то должен был разжигать костер, готовить завтраки, обеды, ужины, мыть посуду. Кто же? Конечно, мать. Мать и на озере оставалась матерью. Отдыхала ли она сама — трудно сказать. Но нам казалось, что она больше всех довольна, что приехала сюда. Она ликовала. Она во всем находила что-то прекрасное и радовалась не одним закатам и восходам. Она сочиняла сказки, сочиняла сказки для всех. Отец, конечно, писать не смог: здесь было слишком хорошо, и это ему мешало. Ему всегда что-нибудь мешало: слишком хорошо—плохо и слишком плохо—нехорошо. А мать мыла посуду в озере и радовалась: как хорошо—оказывается, и в озере вода течет. Полоскала с мостика наши платки и майки и говорила:

— Удивительно как быстро и легко прополаскивается!

Теперь я понимаю, почему в русских городах, где есть уже и водопровод, и ванны в квартирах, женщины все-таки предпочитают полоскать белье в реке, на речке. В Вологде у причалов стоят новенькие обтекаемые катера, теплоходы с канала Москва — Волга, по асфальтированным улицам носятся сверкающие лаком и никелем автомобили, а на берегу реки, напротив педагогического института, вологодские хозяйки, как и восемьсот лет тому назад, с мостков, с дощечек полощут свое белье, выжимая и перекладывая его с левой стороны на правую, с правой стороны на левую. Складывают его в плетеные корзины и на коромысле уносят домой. Попробуй после половодья не навести мостки в срок — поднимут бунт! Зимой они полощут его в прорубях, обставленных вокруг зелеными елочками — от метелей, а потом развешивают на морозе на веревках. Вот и становится белье белоснежным и попахивает ледком, морозом. Как хорошо!

Мы радовались всем маминым радостям и на многое смотрели ее глазами. Интересно было, когда она вдруг замечала в жизни, в природе, что-то такое, мимо чего мы проходили, не обращая на это внимания. Она часто заставляла нас как бы прозревать.

— Обыкновенная лебеда, а тень от нее богатая, узорная, как от диковинного цветка...

Узнала от рыбаков мать, что лещ — рыба мирная, не хищная, питается насекомыми, червяками, любит жить в траве, в хвоще, а растет быстро и достигает размеров необыкновенных. Силища у этого водяного вегетарианца страшная. Посмотрела мать на леща, подняла золотистого, влажного, чешуйчатого великана и сказала:

— Вот, ребята, озерный лось. Заходит он в камыши, как лось в осиновую рощу, питается травкой, личинками, червячками, сам никого не обижает, а его все боятся. Озерный лось!

— Это надо записать,— сказал папа,— может, пригодится.

Серебристую плотву мама сравнивала с сыроежкой. Сыроежка — гриб вкусный, но портится быстро, легко крошится, белая гребеночка ее снизу шляпки осыпается. Плотичку тоже надо немедленно чистить и варить или жарить, не то загниет. А чуть переваришь — вся разлезется, есть станешь — костей не оберешься. Некрепкая рыба, что и говорить.

— Записать надо, это интересно: плотичка что сыроежка. А ведь похоже! — восхищался отец, отдавая должное маминой наблюдательности.

Мы купались ежедневно и утром, и днем, и вечером, а почувствовали всю прелесть лишь после того, как выкупалась в озере мать и, выкупавшись, повернулась к озеру и поблагодарила его, а затем наклонилась к воде и поцеловала ее. Она сказала:

— *Когда купаешься, плывешь — все тело пьет воду.*

— Это правильно,— сказал отец,— это надо записать.

А Миша сказал:

— Не понимаю, почему папа писатель, а мама не писатель.

— Что ж, сынок, бывает и так. У нас это бывает,— согласился отец. Он не обижался. Кажется, он думал так же.

ЩУКА

За месяц до отъезда из Москвы папа начал готовиться к рыбной ловле, и у нас не стало денег. Зато появились спиннинг в чехле, удочки в чехлах, садок для рыбы, сачок, наборы всевозможных лесок, поливиниловых и хлоридных жилок, разных блесен, в том числе даже для зимнего подледного лова (это в июле-то!), глубокомер, разные грузила, поводки, карабинчики, колечки, коробочки — чего только там не было! Приобретены были и резиновые рыбацкие сапоги-бродни, с голенищами, которые подвязывались к ремню.

— Чем же я вас кормить буду? — говорила мать, обозревая все это снаряжение.

— На этот раз кормить буду вас я,— убежденно заявил отец.— Рыбой!

И вот началась ловля.

Уселся отец на берегу, разложил все свое хозяйство, опустил садок в воду, закинул удочки — нет рыбы. Посидел он с часок, свернул удочки, перенес все добро в лодку и выехал на середину озера, к тресте — так называют здесь озерную траву: хвощи, камыши. Слышал он, что где-то около травы на середине озера проходит каменная гряда, на которой хорошо берет окунь. Облюбовав местечко, отец опустил якоря — кормовой и носовой (это были шестеренки от какой-то машины и обыкновенный кирпич). Закрепил лодку на месте и опять принялся за работу. Нет рыбы! Тогда он решил сменить червей: слыхал, что окунь любит красных червей. Вернулся отец на берег, разыскал глинистое место, накопал красных червей — загляденье, а не черви, один к одному! — и снова принялся за лов с неослабевающим азартом. Клюнуло. Вытащил несколько окуньков, каждый сантиметров на десять в длину, с трепетом опускал их в садок, но скоро заметил, что в садке окуньков нет. Оказалось, что ячейки садка таковы, что сквозь них легко проскальзывает и более крупная рыба.

Многое из закупленного отцом рыболовецкого снаряжения оказалось либо ненужным, либо непригодным. Но каждое утро он вставал на заре и снова отправлялся на рыбалку, как на службу.

— Плохо я сделал, что барометр с собой не взял,— сожалел он уже не в первый раз.— Вот посмотрел бы и знал, куда на сегодня садиться надо.

Отец от кого-то услышал, что рыба меняет места в зависимости от атмосферного давления: высокое давление — рыба стоит на мели, на солнцепеках; понижается давление — она уходит на глубину. Конечно, без барометра какая рыбалка! Да и крючки казались неподходящими — и великоваты, и не остры, и цвет у них не тот. Вот если бы раздобыть где-нибудь крючки норвежские, или чехословацкие, или датские — вот это крючки! Для таких и наживка не обязательна. А есть еще крючки с искусственными червями — класс!

— Папа, возьми меня хоть раз! — попросился как-то Миша.

— Тебе же скучно будет.

— Я тоже удить буду.

— Клев плохой.

— Надо же мне учиться.

Удочка у Миши маленькая, полутораметровая, а у папы составная трехколенная и с катушкой; леска у Миши грубоватая, белая, поплавок простой пробковый, крючок мушечный, а у папы леска цвета воды, поплавок с колокольчиком. Червячков своих Миша положил в спичечную коробку, а у папы черви в мотыльнице с отверстиями на крышке.

Измерил папа глубину озера, закинул свой автомат, вытянул ноги в лодке, положил в рот мятную лепешку, сидит посасывает, на поплавок поглядывает, ждет — не клюнет ли. Нет, не клюет! Закинул Миша свою хворостинку у самой лодки, потянуло его поплавок — течением, что ли? — под лодку, потом лег поплавок набок, испугался Миша, не зацепило ли, дернул и потащил по воде что-то большое да тяжелое — и удочка дугой. Папа вскрикнул, схватился за сачок, и если бы не сачок, не поднять бы леща в лодку. А лещ оказался здоровый, золотистый, шириной в две Мишиных ладошки. (После взвесили — килограмм шестьсот граммов.) Миша визжит, папа чуть не плачет от радости.

— Как это я успел вовремя сачком подхватить! Если бы не я, нипочем бы тебе, сынок, леща не вытащить на такую удочку.

— Ой, спасибо тебе, папочка! — кричит Миша.— Сейчас я всех вас рыбой буду кормить.

Три дня после этого папа не брал с собой Мишу.

— Мешает он мне! — говорил он.

Мама подумала и сказала:

— Кажется, мы и недели здесь не проживем.

Но папа не сдался, не покинул острова раньше времени, страсть его не остыла, только оставил он удочки и взялся за спиннинг.

Ловля на спиннинг забрасыванием с берега и с лодки удачи не принесла, хотя были перепробованы на авось десятки блесен. Тогда отец решил использовать спиннинг в качестве дорожки. При этой ловле важно удачно выбрать блесну и установить подходящую скорость, с которой нужно тянуть эту блесну

за лодкой, чтобы игра блесны напоминала игру рыбки. По-видимому, для каждой блесны скорости движения должны быть разные.

Поначалу отец сидел за веслами сам, и по этой причине, только по этой причине, щуки не шли на блесну. Тогда он пригласил за весла старшего сына.

— Сколько полагается распускать лески? — спросил Саша.

— Я сам не знаю, сынок. Попробую побольше.

Спиннинговая катушка раскручивалась бесшумно и быстро, и почти все пятьдесят метров жилки скоро были спущены за борт. Результат сказался немедленно — щука попалась на дорожку. Это могла быть только щука — рывок был мощным, катушка, поставленная на тормоз, затрещала сильно и нервно и не перестала трещать, пока отец не взвыл: «Назад, назад!» — а Саша не дал задний ход. Весла скрипнули, вода забурлила, последние метры жилки размотались, удилище на мгновение выпрямилось, напряжение его ослабло, а потом дернуло снова, и оно опять пригнулось к воде.

Отец встал в лодке во весь рост.

— Наконец-то попалась! — торжествовал он.— Миленькая, не сорвись, миленькая, не сопротивляйся! Саша, греби назад, родненький, назад!

Лодка стала подвигаться в обратном направлении, жилка ослабла, и отец начал сматывать ее, то ускоряя, то замедляя вращение катушки.

— Только бы не сорвалась! — молил он.— Главное сейчас — не натягивать сильно, чтобы щуке губу не порвать. Или за что она там зацепилась? Ведь бывает, что щука не берет блесну, а просто идет рядом с ней и играет, и якорек прихватывает ее. Бывает, даже за живот или за спину зацепит. В этом случае все решает мастерство спиннингиста. Вот опять дернула, вот потянула!..— переполошился он.— Только бы не сорвалась! Ну и щучка, я тебе скажу, сынок, ну и экземплярчик! Вот опять потянула. Греби сильней! Знать бы только, крепко ли она взялась?..

Отец, по-видимому, совершенно отчетливо представлял себе, как огромная щука хапнула блесну, с остервенением сжимая сверкающий металл в мощных челюстях, рвала и метала и подвигалась навстречу лодке, как стальная торпеда: вот-вот взорвется, что-то тогда будет... У него выступил пот на лбу, лицо его было испуганным — и, кажется, он не так боялся, что щука сорвется, как то́го, что ее, такую, придется в лодку поднимать.

— Главное, Сашенька, на сегодняшний день поймать хоть одну, а там пойдет. Начать важно, чтоб перспектива была, чтобы мама веру в нас не потеряла. Бросай весла, сынок, давай сачок!

Саша бросил весла, леска сразу натянулась, отец изогнулся

и начал выбирать ее руками. Саша опустил сачок в воду и ждал. Ему тоже стало страшно. Наконец у самого борта лодки из воды всплыла небольшая разлапистая елка, украшенная, словно новогодними игрушками, зелеными водорослями, ракушками, тиной.

— Вот,— выдохнул отец,— так я и знал, что это не щука. Непохоже было. Щука, она рвет, дергает, а елка, понимаешь, просто тянет, тянет и цепляется, потому что лодка-то движется.

Саша тоже вздохнул с облегчением.

— Папа,— сказал он,— может быть, щука все-таки была? Просто она метнулась на дно и сорвалась, а потом уже блесна зацепилась за елку.

— Представь себе, я тоже так думаю, сынок. Все-таки была щука, и не маленькая. Даже очень большая, прямо тебе скажу. Всегда с крючка срывается только самая крупная рыба, спроси об этом любого рыбака. И хорошо, что мы поволновались, пережили все это, хоть и не поймали щуки. Мы ее тащили, вот что важно! Когда первая схватилась, второй взяться будет уже легче. Значит, блесна хорошая и действовали мы правильно. Завтра начнем сначала.

На другой день они также с утра ходили с дорожкой целый день, но, кроме травы и коряг, ничего им озеро не дало. А вечером пошли за молоком и попутно, когда уже ничего не ждали, ни на что не надеялись, поймали двух щук. Это было началом. Оказывается, и впрямь важно было начать.

Потом отец научился ловить рыбу и удочками. Мать едва успевала ее чистить.

— Теперь дней десять проживем наверняка,— говорила она.

Десять дней отец удил рыбу, не разгибаясь, с утра до ночи. Даже спать некогда было. А после десятидневного рыбного угара появились раки.

РАКИ

Утром по прибрежью мимо нашего дома пробрела группа деревенских ребятишек, напомнившая нам рыболовов с картины Перова. В мелкой воде ребята переворачивали камни, коряги, ощупывали руками всякие углубления в береге и время от времени что-то клали в ведро. Что?

Мы — к ним, к ведру:

— Что у вас?

А у них полведра раков.

— Значит, здесь и раки есть?

— Сколько пожелаете,— важно, по-взрослому сказал один из раколовов.

— Вот как, значит, их ловят?

— Да, вот так, значит, их и ловят!
— А вы любите есть раков?
— Кто же их ест? Мы их для наживки: окуни хорошо берут.
— Здорово! Но почему же мы тут живем, а раков не видим?
— Смотреть надо уметь!

Ребятишки ушли, а мы снарядили целую экспедицию и двинулись по отмели вокруг острова раков ловить. Вместо ведра взяли с собой садок, купленный в Москве, в магазине «Спортсмен-рыболов», и предназначенный для рыбы, но для рыбы-то и непригодный из-за того, что у него слишком крупные ячейки — рыба чуть поменьше ста граммов из него просто вываливалась.

Но раков нигде не было. Мы их не видели. Мы привыкли видеть раков красных, а живые они были не красные.

Первого живого рака в воде увидела мать спустя несколько дней после этого.

— Я счастливая,— хвалилась она,— мне во всем везет.

Рак вылез из-под мостков, из груды камней, когда мать чистила свежую рыбу. Он был нетороплив и осмотрителен — вылез и пополз к рыбным остаткам, пополз нормально, вперед, а не назад. Мать ахнула от неожиданности, и он, видимо, заметил ее. Его хвост, знаменитая раковая шейка, вдруг быстро-быстро заработал, загребая воду под себя, клешни вытянулись, и рак поплыл, поплыл на этот раз назад, а не вперед и быстро, как рыба, и мгновенно очутился у самого берега. Теперь его ничего не стоило взять. Но как взять? Чем взять?

На истошный крик матери: «Рак, рак!» — мы сбежались все, как если бы она закричала: «Волк, волк!»

Чем взять рака? Руками? Эге! Дураков нет, он живой! И пока мы гадали, мудрили, пока нашли сачок — рак исчез, уплыл от берега так же быстро, как рыба. Не такой уж он неуклюжий.

Но после этого случая мы стали видеть раков в воде: оказывается, очень важно было разглядеть первого. Потом от них уже отбою не было. Они попадались даже на удочку, когда мы ловили окуней на кусочки плотвы. Схватит рак наживку, клешнями поведет, ну, думаешь, сейчас вытянешь из воды какую-то большую рыбу, а это рак, только рак.

Ловлей раков мы увлеклись на несколько дней. О выезде со Сладкого острова опять и думать было нечего. Тревожило только то, что в Москве остались дочери, жалко было, что их нет с нами. Уж мы бы их попотчевали ухой, придумали бы путешествия и по Новозеру, и по Андозеру, угостили бы их раками!.. А главное, некуда было бы нам торопиться — вся семья в сборе. Оттого и торопятся домой, что там кто-нибудь ждет... кто-то остался.

По утрам мы заглядывали сначала под лодки, перетаскивали их с места на место и собирали раков под ними. Пользовались

сачком. Но понемногу стали привыкать брать их руками. Это оказалось не так просто: надо было преодолеть условный страх перед ними. Рак пугал, поднимая свои клешни, и нападал. Но щипки его были слабыми: ухватится он за палец, его и вытащишь. Попробуйте!

Самым бесстрашным из нас оказался младший, Миша, на него условные рефлексы пока не действовали. Он только удивлялся, что живые раки оказались очень мягкими и что они умели быстро плавать.

— Это они скорости переключают! — пояснял ему Саша.— У каждого, видно, есть коробочка скоростей, как у машины.

Раков мальчики научились есть быстро, как семечки лузгать.

ТЫСЯЧА ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

В Новозере было очень много рыбы, но питаться одной рыбой скоро надоело, она, как говорится, приелась. К тому же для шестилетнего Миши из-за болезни почек была противопоказана пища, богатая белками. На уху он уже смотреть не мог, ел иногда лишь жареных окуньков.

Из-за этой Мишиной диеты мы, собственно, и побаивались отправляться из Москвы в далекое путешествие. Но раз уж приехали и заняли на Новозере необитаемый островок — Сладкий остров — и погода была на редкость хорошей: мы купались по нескольку раз в день, и загорали, и жили всласть,— то надо было подумать не только о рыбе, но и о мясе.

Председатель колхоза, на земле которого мы устроились летовать, сам предложил нам либо гуся, либо утицу, либо куру на выбор. (Молоком и творогом мы пробивались на соседнем островке, на котором жили-были старик со старухою.)

Колхозная птицеферма находилась от Сладкого острова километрах в трех. Мы отправились туда на лодке втроем — я, Саша и Миша, то есть отец и его сыны.

Уток и гусей считали в колхозе тысячами, кур и того больше. Район в течение одного года резко увеличивал производство мяса, и колхозам разрешено было часть птичьего поголовья сдавать на сторону, помимо плана: все равно для трудящихся, для рабочего класса.

— Прибыльное ли это дело — гуси и утки? — спросил я бригадира, человека немолодого и, по-видимому, в колхозных делах сведущего. В недавнем прошлом он сам был председателем колхоза, одного из тех двенадцати, которые объединились в нынешнем укрупненном.

— Пока не очень прибыльное! Не очень! Не прибыльное! — ответил бригадир.— Новое оно для нас — дело это. Цыплята

привозные, по четыре рубля за штучку. Инкубаторные, растут без отца, без матери, вроде приютских ребят, сироты. Ну и дохнут. В чем причина, не выяснено. Кормим, даже рыбий жир даем против авитаминоза. Специалистов привозили — ничего сказать и они не смогли. Может, партия яиц попалась плохая, потомство слабое. Конечно, убыток. Посудите сами: за матку платили по тридцать восемь рублей, а на мясо сдаем утицу за двенадцать рублей; вес ее — килограмма два. Маток оставляем на зимовку штук пятьсот, на каждую уходит семьдесят килограммов пшеницы. Яиц они почти не несут. Линяют раньше срока. Куда что девается? Убыток один. Но дело это новое, поэтому все списывается по акту.

— И семьдесят килограммов пшеницы списывается?

— Как же, приходится. И рыбий жир списываем.

Бригадир рассказывал обо всем этом с точным знанием дела, памятливо, с цифровыми выкладками и с таким искренним огорчением за колхоз, что я решился спросить:

— Простите, но ведь за всем не уследишь. Может, не все птице перепадает, что ей положено?

Бригадир огорчился еще больше:

— Ну что вы! Ни утки, ни гуси, ни куры не обижены. Уток моя жена сама кормит. На моих глазах. Тут злоупотребления исключены.

Мы решили взять для Мишиной диеты двух кур. Бригадир предложил петуха и куру. Мы согласились. На птицеферме начался переполох. Птичница ловила то курицу, то петуха, бригадир сам ощупывал их и браковал:

— Давай пожирнее. И где ты таких драных находишь?

Птичница молчала, ловила следующих. Наконец и петух и курица были отобраны. Мне они не показались жирнее предыдущих, но были красивы, кремово-белы.

Хороши были обе птицы. У петуха, конечно, был королевский вид, и красная раздвоенная борода, и красная корона на голове. Но ежели петух — король, то курица выглядела королевой. В ней было столько врожденной женственности, что ее гребешок скорее походил не на корону, а на старинный северный кокошник. Узорчатый зубчатый верх кокошника свешивался на сторону, словно бархатные кисти и расшитые бисером многоцветные подвески.

Миша повизгивал от радости.

— И у царицы есть бородка,— кричал он,— только маленькая. Ну дайте же мне подержать курочку, я всю свою жизнь не видел ее так близко!

Петуха он пока побаивался.

Но и петух и курица были предназначены для заклания, поэтому четырехклассник Саша считал необходимым держаться в данном случае солидно и покровительственно относился ко всем Мишиным восторгам. Он только с пониманием посмат-

ривал на отца: пускай, дескать, малый потешится, от этого аппетит его хуже не станет. Отец сам любовался птицами и почти по-детски радовался им, будто видел таких впервые. Он в свое время учился довольно долго, но в жизни чаще всего требовалось знание только четырех действий арифметики, и ничего больше, поэтому его образование в настоящее время уже сравнялось с образованием старшего сына, четвероклассника.

Птиц, не связывая, положили в мучной мешок, и Миша понес их сам, сначала осторожно, на вытянутых руках, впереди себя, а потом просто перекинул их через плечо.

В лодке на середине озера курица выбралась из мешка. Первым заметил ее Саша — он сидел на корме с доской вместо рулевого весла, а мешок с курами лежал на носу, за спиной отца, который сидел на веслах.

— Курица, курица! — вдруг завопил Саша.— Улетит!

Все обернулись. Курочка сидела у борта лодки и недоуменно осматривалась. Кокошник и бородка ее были белы от муки. Она никуда не хотела лететь: кругом вода, ни земли, ни крыши. Она казалась совершенно спокойной, но когда ее стали брать в руки, она всполошилась, закудахтала: «Куда, куда, опять в мешок?!» — и попыталась ринуться в озеро. Все-таки свобода, даже куриная, была ей дорога.

Миша радовался, еще больше кричал, визжал, кудахтал.

— Ой, спасибо вам, товарищи! — то и дело говорил он отцу и брату.

Саша покровительственно улыбался.

На острове нас встретила мать. Смертельно уставая возиться с утра до вечера с рыбой, с рыбьей чешуей, с рыбьими костями и колючками, из-за которых у нее болели все пальцы на руках, она обрадовалась не так нам, как птицам.

Начался детский шум, рассказы вперебой, взахлеб, словно мы вернулись из дальнего пионерского похода.

Птиц мы выпустили на свободу. Петух долго не мог прийти в себя. Он задыхался от жары и мучной пыли, стоял с раскрытым клювом, уставившись в одну точку, и казался очумелым.

— Папа, он умирает,— перепугался Миша.

Но петух не умер. Голова его наконец задвигалась, бородка дрогнула, словно бархатный занавес перед началом спектакля, он переступил с ноги на ногу, увидел курочку, зелень, деревья, увидел небо и воду, что-то бормотнул, квокнул и начал щипать траву. Первого же червячка или букашку, а может, какое-то зернышко, которое он нашел в траве, он подарил своей курочке. Чья же она и была, если не его? Не могла же она быть ничьей? Курочка не жеманилась, не отбивалась, а приняла подарок как должное, подбежала и клюнула что-то, видное лишь им одним.

Когда их стали кормить хлебом, петух взял в клюв первую крошку и опять деликатно позвал свою курочку, и та уже

опрометью бросилась на его зов, к его крошке, хотя рядом лежала целая хлебная горка.

Вместе они стали закусывать, заедать хлеб травой. Они были как дома, они были на земле.

А когда петух впервые кукарекнул, необитаемый дотоле остров стал и для нас совершенно обжитым.

До вечера мы их не трогали. Только посоветовались, которого порешить первым. Мать сказала:

— Надо примечать, кто первый затоскует. Птица тоже чует свой конец.

Ни курица, ни петух своего конца не чуяли.

Миша целый день ухаживал за ними, кормил их остатками каши, вареной и жареной рыбой, собирал дождевых червей и предлагал даже кусочки сахара. Сугубо городской мальчик и немного вялый после тяжелой болезни, он оживился и, кажется, розовел на наших глазах.

Вечером мы стали думать о курятнике, о ночлеге для нашей птицы. Требовался насест.

— Какой насест? — спросил Миша.

— Вот не знает! — высокомерно сказал Саша.— Какой насест, мама?

— Обыкновенный насест, чтобы спать. Жердочки вроде любой ветки, как для любой птицы.

— Понял? — сказал Саша брату.— Насест — это вроде ветки на дереве. Птицы должны спать на деревьях, высоко над землей. Правда ведь, мама?

— А разве куры — это птица? — удивился Миша.

— Вот не знает! — сказал опять четвероклассник, обращаясь на этот раз к отцу.— Конечно, птица, раз перья. Правда ведь, папа?

— Правда, мой старший. Перья и яйца — значит, птица,— подтвердил родитель.

На ночь решили устроить кур в одной из свободных комнат. Казалось, на одну ночь — что ж тут такого? Ведь пустовал весь дом. Мать выбрала комнату и положила в ней жердочку между подоконником и письменным столом. Канцелярские столы остались здесь во всех комнатах без исключения: когда-то и Сладкий остров был учреждением.

Курица далась в руки легко. «Ко-ко-ко»,— сказала она, и только, и мы посадили ее на насест в канцелярском кабинете. А петух начал носиться по острову, как ракета, резко меняя направления и заранее предугадывая все наши маневры. Никакие оцепления, никакие «котлы» не были для него в диковинку. Щуку в озере поймать было легче, чем его на суше. Когда мы прижимали его к изгороди или к стене дома, он проскальзывал мимо наших ног, когда брали в клещи в крапиве, куст крапивы вдруг взрывался, и петух с криком выносился из него вверх, на крышу.

— Это гениальный петух! — сказал про него Саша.— Правда, папа?

Миша пробовал пробиться к петушиному сердцу.

— Милый петух! Петенька! Мы же твои друзья, уступи, пожалуйста, тебе давно спать пора. Тебя курочка ждет. Комната отведена, насест приготовлен.

Петух не уступал.

— Все они, короли, такие, правда, мама? — сказал Саша и с деланным равнодушием вышел из игры.

— Он просто жить хочет,— заметил на это Миша.— Как ты этого не понимаешь?

— Ну да, я не понимаю. Ты все понимаешь. Правда, мама?

Наконец от петуха отступились все. Мама заявила, что слыхала еще от бабушки, будто с заходом солнца куры перестают видеть, и тогда можно будет взять петуха запросто и водворить куда следует.

Стали ждать захода солнца. Но когда закатилось солнце — петух исчез. Исчез бесследно. Вся семья снова была поднята на ноги, и в течение получаса, не меньше, мы все, островитяне, обыскали каждый уголок родной земли: бурьяны, крапиву, ивняк, полусгнившие домовые пристройки, уцелевшие дровяные сарайчики, баню и предбанник — петуха нигде не было.

— Гениальный петух: дал мат в три хода! Правда, Миша? — попытался заключить старший брат.

Миша не ответил ему. Он размышлял вслух:

— Неужели петух мог решиться на такой перелет? Неужели он пересек озеро? Конечно, он птица, но он тяжелый. Что же он подумал про нас, если решился...

Миша был огорчен больше всех, что петух исчез. Это же был его петух.

Мама не верила, что петух мог куда-то улететь с острова, но и она огорчилась. Она уже начинала понимать, словно предчувствовала, что с утра придется ей опять чистить и варить рыбу.

Петуха нашел отец. Уже в сумерках.

— Я же старый охотник! — хвалился он, когда семья сбежалась на его крик и еще никто не знал, куда надо смотреть.— Я же бывалый охотник и вырос среди охотников. Сколько этих глухарей я за свою жизнь перебил. Вон где он, вон куда смотрите! — указал отец на березу, огромную и широкую, как дуб.

В сумерках сквозь ветви березы проглядывало не то небо, не то озеро — и вода и небо были одинаково розовыми. И на этом розовом фоне, в закатном огне отчетливо прорисовывался силуэт большой и гордой птицы с зубчатой короной на голове. Петух сам нашел свой насест — высокий и могучий сук.

— Глухарь, настоящий глухарь! — восхищался отец.— Эх, куда забрался! Ну, токуй, токуй!

Петух повернул голову и встревоженно подал голос. Им любовались, как дичью. Он украсил собою этот островок, это озеро, и вечернюю зарю, и эту березу, которая одна теперь сходила за глухую, населенную птицами и зверьем, нехоженую рощу.

— Если его сейчас не взять, завтра не поймаешь,— сказала мама.

— Возьми его. Как ты его возьмешь?

— Он же слепой, солнце уже село. Столкни сейчас — где упадет, тут и сядет и прижмется.

Нет, этот петух и в сумерках видел неплохо. Сбитый с березы длинным шестом, он долго еще носился по острову, пока не был водружен в канцелярию в принудительном порядке. «Ко-ко-ко!» — ласково спросонья сказала курочка, когда он устроился наконец рядом с нею меж письменным столом и подоконником.

В эту ночь Миша спал мало. Должно быть, не раз заглядывал в соседнюю комнату к птицам. И проснулся он раньше птиц. Когда мать заворочалась в постели, он сказал ей:

— Такого петуха, мама, нельзя убивать. Лучше я рыбу буду есть, я и без диеты поправлюсь. Правда, мама? И курочку надо ему оставить. А то как же он без курочки будет жить на свете?..

— Правда, сынок, спи!

И на заре петух запел свою тысяча первую песню.

МОРЯКОМ БУДЕШЬ!

Лодки на Сладком острове — единственно пригодный и всеобъемлющий транспорт, на все случаи жизни. Ни машина, ни лошадь здесь непригодны. Нет лодки — вы отрезаны от всего мира. Лодка является и орудием, и средством производства.

На лодке мы добывали себе пищу: ездили за молоком на соседний островок Шиднем, за хлебом и прочими продуктами в Карлипки, на лодке ловили рыбу и просто катались, отдыхали.

Обычно за веслами сидел отец, старший сын на корме — либо с рулевым веслом, либо со спиннингом, который мы просто использовали в качестве дорожки; мать и Миша — на положении пассажиров и указчиков. Так как все лодки, находившиеся в нашем ведении, безбожно протекали, то либо мать, либо Саша постоянно на ходу вычерпывали воду. Для этого в одной лодке была банная деревянная шайка, в другой — ржавое дырявое ведро, в третьей — белый ковш из дюраля без ручки.

По мере того как мальчишки привыкали к воде и взрослели, им разрешалось все чаще садиться за весла. Миша тоже научился грести — уже по одному этому Сладкий остров должен запомниться ему на всю жизнь. Но Мише этого было мало. Он

хотел, чтобы ему разрешили выходить на озеро одному, без сопровождения, без указчиков.

И ему разрешили наконец. Для этого случая выбран был очень ясный, очень тихий день. Только Новозеро отличается в этом отношении удивительным непостоянством. Ветер налетает здесь сразу, словно выжидает удобного случая где-то на берегу в лесной полосе. Налетает — и поднимаются на озере сразу не волны, а валы с гребешками, летит пена, свистят камыши. Говорят, такой же дурной характер и у Белого озера. Только оно еще дурнее. На Белом озере ни одного года не обходится без жертв среди рыбаков.

Весь наш остров продувается насквозь, так же как просвечивается, и кажется, пронесется ветер с одного берега на противоположный и — конец шуму. Опять озеро становится таким же, как было,— спокойным, углубленным в себя, сосредоточенным. Но за эти несколько минут шурум-бурума оно может наделать беды. Особенно если лодка мала.

А у Миши лодка была небольшая и полусгнившая, к тому же Миша сразу захотел, конечно, похвастаться:

— Саша, смотри, куда я поеду, на каменную гряду!

Направил Миша лодку к каменной гряде, к камышам на середине озера, а ветер тут как тут — вылетел из-за укрытия и давай шуровать. Зашумели волны, вздыбилась пена, как в прачечной, в корыте, летят хлопья в лодку. Испугался Миша.

А на берегу — мать. Не успела толком подумать, как быть, переполошилась и завопила:

— Миша, назад! Миша, утонешь! О господи, и отца нет. Где отец?.. Миша, утонешь!

Услышал Миша крик матери, испугался еще больше. Разворачивает лодку к берегу, а ее захлестывает волной, справиться силы не хватает. Заплакал Миша и оттого еще больше ослаб, весла из рук вываливаются, совсем мочи не стало. «Утонешь!» — звучит в ушах вопль матери. А тонуть ему не хочется, хочется в Москву вернуться, он еще и в школе не учился. Брызги водяные и слезы слепят глаза.

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не появился на берегу отец.

Сложил отец руки рупором и закричал, будто ничего не случилось:

— Правильно, сынок, гребешь, хорошо гребешь! Ничего не бойся, ты теперь станешь настоящим моряком. Слушай меня! Держи лодку носом к волне, к берегу не поворачивай. Против волны греби. Не спеши. Ударь левым веслом, еще раз левым. Молодец, сынок, хорошо! Правильно гребешь!

Кричит отец, а сам вторую лодку с берега толкает. Стал Миша налегать на левое весло, перестали волны бить в борт лодки, и он успокоился.

— Я не боюсь, папа, ты не волнуйся, я сейчас! — закричал он.

Успокоился Миша, и озеро успокоилось, ветер стих, волны спали. И Миша благополучно причалил к берегу. Мать кинулась обнимать его, а отец только руку по-мужски пожал:

— Молодец, сынок, моряком будешь!

КРАПИВНОЕ СЕМЯ

Недобрых людей в народе называют крапивным семенем. Немало на свете и самой крапивы.

Вокруг нашего дома крапива разрослась густыми большими кустами.

Высокая, жирная, ядовитая, она не дает никому проходу. Я говорю сейчас о крапиве настоящей, подлинной, о крапиве в прямом, а не в переносном смысле. Молодую, ее можно еще использовать для щей, а разрастется, загрубеет, не выполешь вовремя — тогда беда с ней. Берет верх, наступает, теснит, наглая, жжет, житья не дает.

Каково же семя у этой, у настоящей крапивы? Кто его видал — это крапивное семя? Как оно растет, откуда берется? Хоть бы из интересу взглянуть на него. А попробуй взгляни! Как его возьмешь — жжется крапива. Пропадает у людей всякий интерес к крапивному семени. «Лучше не связываться!» — говорят. Сторонятся. И растет крапива рядом с жильем человеческим на самых обжитых местах, на самых тучных землях — под окнами изб, вдоль заборов и стен, на приусадебных участках,— растет на глазах у всех. Где люди, там и крапива. Растет и жжется.

А этим летом одолели нас еще комары. Погода стояла дивная весь июль — только бы радоваться ей, снять с себя всю лишнюю одежонку, загорать по целым дням с книжкой в руках, спать на открытом воздухе. А попробуй позагорай, когда вместе с хорошей погодой появились сонмища оводов. Попробуй поспи на воздухе, когда с сумерек, неизвестно откуда взявшись, налетают полчища комаров, как исчадия ада, как тьма тмутараканская, и всю ночь бесчинствуют, жалят, нудят неторопливо, лезут в нос, в глаза, в рот, в уши. Они изводят, выматывают все силы, а слабого, да еще городского, не привыкшего с детства к такому комариному глумлению над человеком, они могут довести до истерики.

Перед сном мы топили плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, потому что открывать окна для проветривания или снимать с них марлю боялись. Вдобавок мы натирались кремом «Тайга» — от чего он помогает, мы так и не смогли понять, только не от комаров,— и еще старались на ночь одеться так, чтобы открыт был один нос. Но, кажется, ничего по-настоящему не помогало. Комары грызли нас.

Было лишь одно радикальное средство против них: усталость. Усталость до смерти, до отупения, до апатии, до полного равнодушия ко всему окружающему. При такой усталости — а уставали мы в основном на рыбалке — чувствуешь комариные укусы, только пока падаешь в сено.

— А, проклятые! Крапивное семя! — скажешь, бывало, добравшись до постели.— Ешьте! Все равно придет и на вас погибель. Время свое возьмет. И вас прихватит морозом, осень не за горами.

Скажешь — и уснешь до утра.

А утром пригреет солнце — и комары исчезают. Куда? Да куда бы ни исчезали, только бы исчезали — вероятно, туда, откуда и появлялись. Не хватает еще, чтобы мы этим интересовались. Обидно только, что ни дожди, ни ветры не могут с ними покончить раз и навсегда.

Если бы не случай, так ничего и не узнали бы мы ни о комарах, ни о крапивном семени.

Как-то поздно вечером мы поленились или не успели почистить рыбу, и мать положила ее на ночь в крапиву. Утром за ней пришел Саша и взвыл.

— Там пчелы, рой! — закричал он.

А потом:

— Это комары! Сколько же их тут! Вот оно где, крапивное семя!

Взяли мы палки и пошли вокруг дома по крапивным местам. Ударишь палкой по кусту — действительно комары. Ударишь по другому — и больше того. Но только в тени. На солнце днем комары не хоронятся, как, впрочем, всякая нечисть.

Так вот ты какое, крапивное семя!

Разыскали мы косу и скосили всю крапиву вокруг дома. Честное слово, легче жить стало. Только надолго ли? Разве всю нечисть можно извести? Только и надежды что на время — оно должно взять свое.

СУДАРЕВА ЛОДКА

Был один день, бедственный для Сладкого острова. Казалось, все рушится, вся его прелесть исчезает навсегда. Шестнадцатого июля вслед за ленинградским полковником с семьей приехали вологодские литературные деятели — два поэта, редактор комсомольской газеты с семьей и директор областного издательства с семьей же — итого человек десять — пятнадцать. Ну, можно сматывать удочки — не будет ни рыбы, ни поэзии!

Но редактор газеты скоро уехал, потому что газету все-таки выпускать надо; полковник отправился добирать свой туристский маршрут, строго вычерченный на военно-топографиче-

ской карте; самый юный из поэтов, Васенька, жаждал быть на людях и только на людях, так сказать, в гуще борьбы, где «страсти роковые и от судеб защиты нет»; сыновья издателя подняли бунт против своего папы и сбежали в областной центр, потому что здесь не было ни футбольных ристалищ, ни джазового ерничества. За ними вскоре выехал и сам издатель с женой. Остался с нами один поэт, настолько же неторопливый и мудрый, насколько немолодой. Он видел в жизни немало всяких роковых перемен, прошел, как говорится, огни и воды и знал цену одиночеству. Писал ли он что-нибудь, неизвестно,— в его положении редко кто пишет, и это, наверно, к лучшему. Он стал работать.

С соседнего, с Красного острова он привел заброшенную лодку и начал ее ремонтировать. Топор был. Пила была — старая, ржавая, но пила. Были спички, чтобы разводить костер. Ну, и конечно, перочинный нож. Больше ничего не было. А требовалось многое: гвозди разных размеров, пакля, чтобы проконопатить лодку, битум или вар, чтобы замазать щели, запломбировать их, котел, чтобы варить битум, какой-нибудь черпачок для разлива смолистого варева. Как известно, даже Робинзон имел далеко не все, чтобы начать жить и работать на необитаемом острове, но все-таки имел гораздо больше, чем наш поэт.

Но главное, что необходимо было иметь для ремонта лодки,— самое лодку. Ее-то, как выяснилось после, у поэта и не оказалось. Но он усердно взялся за работу. На то он и был поэт, а не Робинзон Крузо.

Ранним утром поэт выходил из своего особнячка, крылечко которого напоминало предбанник, и, осмотревшись и потянувшись, скрывался за камышами. Нос у него обгорел и лупился. Вскоре его голова без единого всплеска отплывала от берега и повертывалась на воде, как на широкой тарелке. Ни одной волны, ни круга, ни даже ряби! Это было удивительно, потому что даже водомерки, скользящие по озеру, даже мотыльки, упавшие на его зеркальную гладь, и те оставляли за собой какой-то след, пусть мгновенный, незначительный... Поэт не оставлял после себя никакого следа, он не плыл, не порхал, а между тем продвигался вперед, вроде одноклеточного существа.

Он переливался, как амеба.

О том, что поэт не фыркал, не сопел, не отдувался, и говорить было нечего. На поверхности озера не было ничего, кроме живой, бесшумно моргающей и бесшумно передвигающейся головы.

Сделав небольшой круг, голова возвращалась к камышам и исчезала. А через пять — десять минут оттуда снова выходил поэт, неторопливый, спокойный и просветленный. Кожа на его красном носу лупилась еще больше.

Чем и как питался поэт — одному богу известно. Рыбы не ловил, ягод не собирал, ни корней, ни червей из земли не выкапывал. Но он не худел и всегда был благостен и доволен собой, значит, какую-то пищу употреблял, кроме духовной.

Работал поэт с упоением, но не спеша. Нельзя было сказать, что у него сам топор вот так и ходит, так и тычет долото. Костер не потухал целый день. К костру поэт тащил все, что удавалось найти на острове и в воде. Так, в мусорной яме он обнаружил чугун с отбитыми краями, который заменил ему котел. Паклю натаскал из пазов домика, в котором жил. На подоконниках между летними и зимними рамами буграми лежала вата — он и ее использовал как паклю. Гвозди вытаскивал отовсюду, где находил их, даже из собственной табуретки, из-за чего та в конце концов развалилась. Из воды был извлечен ржавый металический прут, им поэт пользовался как паяльником, когда заделывал битумом щели в лодке: прижмет кусочек битума к борту лодки и растапливает его каленым прутом.

Похоже, что эта работа давно была знакома поэту. Мы восхищались методичностью, с какой он проделывал одно и то же по нескольку раз, пока не добивался какого-то результата. Восхищались его терпеливостью и упорством.

— Труд на пользу! — сказал я как-то, подходя к костру.

— Спасибо. Но будет ли польза, еще неизвестно. О какой вы пользе говорите?

— О лодке. Спу́стите лодку на воду, и она будет служить вам.

— Я на днях уезжаю. Вероятно, не успею закончить.

— А вы закончите. Другие сядут в лодку — о вас добро́м вспомнят. Вот и памятник нерукотворный.

— Зачем мне памятник? Сам труд доставляет удовольствие. Я о пользе не думаю. Просто работаю, и все тут.

Самым трудным для него было установить уключины, старые поржавели и погнулись. Поэт отыскал на поваленном и полусгнившем телеграфном столбе два крюка с изоляторами. Изоляторы разбил, крюки раскалил на костре и выпрямил. «Кузнец, настоящий кузнец!» — восхищались мы. Один борт лодки треснул, когда поэт забивал уключины, но это было уже не так страшно. К вечеру все было склеено.

Два дня ушло на то, чтобы вытесать весла. Для весел поэт снял с крыши своего дома две тесины. «Столяр, настоящий столяр-краснодеревщик!» — восхищались мы.

Накануне отъезда с острова поэт заявил, что работу он все-таки успел закончить. Правда, сказал он об этом без воодушевления. А мы восхитились еще больше: дескать, для него это обычное дело. Старый мастер! Золотые руки!

Торжественно проводив поэта, всячески славя и превознося его, мы решили опробовать творение его рук и ума. Сели в лодку трое, налегли на весла, выехали на середину озера и...

нахлебались воды. Гнилая лодка развалилась. Ненужная бессмысленная работа! Неужели он так и стихи пишет? Для чего, для кого?

КАМЕННАЯ ГРЯДА

> Всю жизнь ищет каждый свою каменную гряду. Каменная гряда жизни. Не всякий ее находит.

Умелый выбор места для ужения — едва ли не самое главное в мастерстве рыболова. Отец обычно уезжал в камыши к соседним островам, либо на середину озера, где также торчала трава из воды, либо на противоположный берег.

Кто-то сказал, что посередине озера проходит каменная гряда, называли ее даже окуневой. Но где она — никто не открывал. Отец искал ее настойчиво, он готов был промерить шестом все озеро вдоль и поперек, но где взять шест такой длины? И что это за гряда такая — каменная, окуневая? Вероятно, не зря люди секретничают, скрывают ее? Нападешь на гряду — вернешься с ведром пятисотграммовых окуней. А то и по килограмму красноперых наберешь. Вот что такое гряда! Вот где душу бы отвести! В надежде на такую удачу можно бродить по озеру целый день и забираться в отдаленные уголки за два-три километра.

И отец бродил далеко. С утра он исчезал, и мы не видели его по целому дню.

А однажды к нашему дому подошли другие рыбаки, колхозники с неводом. И за несколько минут поймали у нас под носом, прямо у мостков, где мать обычно белье стирала, несколько пудов лещей и щук. Закинули они невод с лодки, полукругом, один конец на берегу и другой подвели к берегу, а потом все вышли из лодки и стали вытягивать невод на берег за оба конца. Невод — это длинная однорядная сеть мелкой вязки с кошелем по середине. По низу сети подшиты грузила — во всю длину холщовая кишка, набитая песком, а чтобы верхняя часть невода не тонула, она оснащена поплавками — деревянными пластинками и берестяными трубочками.

Я не назвал бы прогрессивным способ ловли рыбы неводом, но зато он добычлив: несколько заметов, и весь колхоз обеспечен. И времени на это уходит немного. А в горячую пору сенокоса время все же ценится.

Как горевал отец! Волос на себе он, конечно, не рвал, но неистовствовал в полную силу и заново пересматривал всю свою жизнь.

— Вот,— говорил он,— всю жизнь так. Все куда-то рвешься, бежишь, летишь, а на поверку выходит, никуда лететь не

надо. Недаром сказано: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Неисповедимы пути наши. Темна вода в облаках. Хочешь больше — ничего не получаешь. Не жадничаешь — и жить легче, и удачи — вот они! В детстве так же бывало: спешишь за грибами, за ягодами в Лубники, в Городцы, в даль несусветную, там, дескать, всего много, а какая-нибудь бабка костыляет около деревни, около твоего же дома и — что тебе грибов, что ягод! Ну не обидно ли: всю рыбу забрали у нас под носом, у нас на глазах. Нашу рыбу! Можно сказать, собственную, домашнюю нашу! Даже не выловили, а выгребли, будто из аквариума вычерпали. Только представить себе, что около нас все дно теперь пустое, голое. Даже раков подмели всех до одного, даже ракушки на дне не осталось ни единой. На этом берегу и жить теперь неинтересно. Переселяться надо куда-нибудь.

Неводом впрямь выгребли все живое, что оказалось в этот час на дне вблизи нашего берега. В илистой грязи, в тине, вместе с крупными рыбами барахтались раки, бились десятисантиметровые окуньки и подъязки, плотва и ершики — всякая мелочь и молодь. Полупудовые щуки в этом черном месиве выглядели как огромные плахи на паровозном тендере.

А рыбаки были недовольны.

— Откуда столько грязи взялось? — ворчал то один, то другой.— Совсем недавно чистое дно было. Видно, ветер нагнал. Вся рыба ушла под невод с этой грязью.

— Как вся рыба? А это что?

— Ну какая это рыба, пуд-два, не больше.

Отец нервничал целый день, ночью плохо спал, обижался на самого себя. А утром снова отплыл с удочками в какой-то кривоколенный озерной переулок.

Саша и Миша никуда не пошли и не поехали, а с разрешения матери привязали свою лодочку к траве метрах в трех от берега, как раз там, где вчера колхозники зачистили все дно неводом, и начали таскать лещей, точно таких же, какие в невод попали. И Саша решил:

— Как быстро рыба растет. За одну ночь — и лещи!

ГРИБНЫЕ ШАШЛЫКИ

На Сладком острове наша хозяйка с утра до вечера чистила свежую рыбу. Бывало, только управится с одной порцией окуней — мы несем вторую, больше первой. Разделает щук — мы ей подбрасываем лещей да налимов. Исколола она себе руки и наконец взмолилась:

— Не могу больше, дайте передохнуть!

Особенно трудно было хозяйке с заготовкой рыбы впрок: для засолки не хватало посуды, а сушить на плите, без всяких

приспособлений — муторное дело, плита раскалена, рыба на ней не сохнет, а горит. Разумеется, мы не перестали ловить рыбу, а в ответ на ее мольбы и почти истерические слезы взяли удочки и снова ушли на озеро.

Не управлялась наша хозяйка с рыбой.

То же самое получилось и с грибами. В грибную пору мы почти перестали спать. От жилья до ближайшего леска не больше половины километра, и обычно нам еле хватало этого расстояния, чтобы протереть глаза да прожевать утренние бутерброды.

Кто знает, как возникает, с чего начинается страсть? Первое время мы охотились только за белыми да за рыжиками и возвращались домой с полупустыми корзинами. Терпения и настойчивости было с избытком, умение накапливалось с каждым выходом, но корзины не становились полнее. В чем дело? Неужели грибы в лесу перевелись? Мы изощрялись, лазили в самые густые кусты, куда не забирался ни один грибник, обследовали придорожные канавы, не брезговали уже ни сыроежками, ни волнушками, не отказывались от любых корней. Но все-таки грибов находили мало. Их стало много, когда мы узнали, что в лесу на каждые два десятка съедобных грибов приходится не больше одной поганки. Значит, мы топчем культурные грибы только потому, что не знаем их.

В здешних местах все неизвестные грибы называются «собачьи губы». Их даже в руки брать брезгуют. Зато подберезовики называют здесь обабками, подосиновики — красными грибами, боровые рыжики — бабаухами, волнушки — вовденицами. А собачьими губами оказались и вкуснейшие опята всех видов, и удивительные сочные чушки, или свинушки, или дуньки — где как их назовут, и белые, как грузди, ореховики, и, конечно, лисички, сморчки, чернушки... О грибной лапше, о трюфелях и говорить не приходится, здесь о них просто не слыхали.

А мы вычитали из книжек, что даже мухоморы многие вполне пригодны для пищи. Вот когда лес заговорил с нами и открыл нам свои кладовые. Чем больше узнавали мы грибов, тем полнее становились наши корзины и ненасытнее страсть. Теперь радостям нашим не было конца.

Не радовалась только наша хозяйка.

Первая ее работа была — выкидывать из наших корзин все грибы, оставшиеся для нее неизвестными, то есть все собачьи губы. Делалось это втайне от нас. При этом она хвалила нас за хороший улов. Затем она сортировала остатки нашей добычи, раскладывая ее на три кучки: для соленья, для варенья, для сушенья. Солить было почти нечего, так как рыжиков мы приносили незначительное количество, а груздей вообще не находили. На варево шли старые подберезовики и подосиновики, огромные и рваные, как ошметки, как лапотные обноски,



да изредка белые царские грибы, похожие на заплесневевшие пироги-колобаны. Зато сушить было что. Но как сушить, где сушить? И начались мученья, как с рыбой.

Хорошо тем, у кого есть широченная русская печь, за широким челом которой, на поду, как на мощеном дворе, может развернуться любая телега. А если вместо пекарки в доме только плита, а в городском доме и плита не дровяная, а газовая, тогда как быть?

У нас плита дровяная. Пока ее топишь, она раскаляется докрасна, закроешь трубу — с полчаса еще не остывает, а через полчаса хоть снова топи, в духовке даже заварка чая в фарфоровом чайнике через полчаса становится теплой, как помои.

Хозяйка поначалу раскладывала грибные шляпки прямо на чугунную доску плиты. Они мгновенно пускали сок, пузырились, закипали и не сохли, а варились. После этого она попробовала нанизывать грибы на нитки и развешивать их над жарко топящейся печкой. Работы было много, а толку мало, потому что требовалось, чтобы печка топилась беспрерывно день за днем. К тому же нитки то и дело обрывались. Тогда хозяйка раздобыла камышовой соломы и, застлав ею внутренность духовки, раскладывала грибы на камыше. Получалось неплохо, но велик ли под у плиты? На нем умещалось самое большое десять хороших шляпок и столько же корешков в промежутках. Забраковав и этот способ, хозяйка стала в тупик: требовалось что-то придумать новое, а что? На солнышке, что ли, развешивать грибные цепочки? Так ведь осень, когда его, солнышка, дождешься, да и выглянет оно либо нет? А может, просто под навесом, на воздухе попробовать? Заготовляет же белка грибы на зиму и сушит их на воздухе, в том же лесу... Нанизывает она по грибочку на сучок — и ничего, получается. Накалывает на сучок по грибочку... Накалывает...

Мало-помалу хозяйка нашла способ сушить грибы, вышла из положения. Она стала накалывать грибы на лучинки, как шашлык на палочки, и раскладывать эти палочки в духовке на боковых ее выступах, предназначенных для противня. Грибы просыхали быстро и хорошо, не подгорая, не теряя соков. Мы так и называли палочки «грибными шашлыками».

— Может быть, и лучку добавлять надо между белыми шляпками, по нескольку кружочков? — спросл кто-то однажды.— Чтобы уж шашлык так шашлык!

Хозяйка неожиданно для всех выпалила вдруг такое, что мы даже засмеяться не смогли от удивления,— такое выпалила, будто всю свою жизнь занималась искусствоведением, а не грибами, не рыбой.

— С лучком — это уже декаденство! — сказала она.

Вот ведь что делается на белом свете, совсем сравнялась деревня с городом.

Грибные шашлыки выручили нас всех. Теперь мы, не боясь

ничьей воркотни и унизительного недоброжелательства, могли по целым дням собирать грибы, а хозяйка обрабатывала их быстро и надежно, даже с охотой. Видно, шашлыки готовить все же интереснее, чем просто грибы сушить.

Записал я сейчас эту историю и задумался: а для чего, собственно, я ее записал? Мелко, непроблемно и вряд ли высокохудожественно. Правда, реализм налицо, но, может быть, это уже не реализм, а ползучий натурализм, и, стало быть, ничего, кроме вреда, от него ждать нечего. Скажет кто-нибудь, будто я, вместо того чтобы заниматься своим кровным делом, служить народу, составляю заметки для поваренной книги. Для чего все это?

А может, не «для чего», а «для кого»? Может, мою заметку и впрямь прочитает не одна домашняя хозяйка и будет при случае сушить грибы точно таким же простым способом, как я описал. А от них научатся другие, и пойдет... И получится, что я все-таки послужу своей заметкой о грибных шашлыках и не думая, что служу...

НОВАЯ СЧИТАЛКА

Мы с Мишей играли на берегу Новозера в прятки. Пользовались считалкой про зайчиков.

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Ай-ай,
Ой-ой,
Умирает зайчик мой!

— Жалко! — сказал Миша.

— Кого?

— Зайчика.

И мы с Мишей решили тут же пересочинить детскую считалку так, чтобы зайчик не умирал.

Предлагаем нашим друзьям новый, оптимистический вариант старой считалки:

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел зайчик погулять.
Кто-то в зайчика стреляет —
Он бежит, не умирает,
Не желает умирать.
Раз, два, три, четыре, пять.

Миша несокрушимо верил в силу слова.

— Теперь зайчиков в лесу будет много! — сказал он.

МАМИНЫ СКАЗКИ

1. Чайка

Какой только рыбы не водится в Новозере, каких только птиц не летает над ним! Однажды утром Миша вышел на песчаную косу, чтобы послушать, как далеко-далеко на болотах, за береговой излучиной, кричат журавли. Солнце уже всходило, и озеро то и дело меняло цвета, будто примеряло разные наряды — какой из них больше подойдет на сегодняшний день. На небе солнце взошло одно, а в озере их отразилось тысячи.

Журавлей Миша никогда не видел. Не увидел он их и сегодня. Зато на песчаную косу вдруг спустилась с неба удивительная птица: вся розовая, только клюв черный да черное пятнышко на голове. Миша видел, когда птица летела, и ее длинные тонкие крылья показались ему похожими на гребни волн. Он всегда рисовал море с такими волнами. Села розовая птица на песчаный откос и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, будто кружевной подол платья подобрала.

Прибежал Миша домой, рассказал маме, какую он удивительную птицу видел, а мама выслушала и сказала, что это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка. Чайка же белая!

— Да, это правда, что чайка белая.

Вечером того же дня Миша увидел еще одну необыкновенную птицу — совершенно голубую. Голубую, как вечернее предзакатное небо.

Рассказал он маме и об этой птице, а мама подумала и опять сказала, что и это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка, а какая-то небывалая птица. Чайка же белая.

— Да, чайка бывает белая, это верно. Сходи на берег, присмотрись к ней хорошенько еще раз.

Вернулся Миша на берег озера, когда солнце уже садилось и его нетленный огонь разгорался все больше и больше. Это уже был целый костер. Казалось, коснется солнце своим краем озерной глади — и закипит, забрызжет, запенится под ним вода.

В этом закатном огне увидел Миша в небе целую стаю птиц, похожих на чаек, и все они были золотые, огненно-золотые, из самого настоящего червонного золота.

«Как в сказке! — сказал про себя Миша.— Но это же чайки. Это все одни и те же чайки».

— Это чайки, мама! — согласился наконец Миша.

— Ты их видел белыми?

— Нет, я не видел их белыми. Они белые, но на этом озере все как в сказке, все сказочное — и восходы, и закаты, и лунные ночи. И птицы и люди — как в сказке.

2. Лунный мостик

Вечером сидел Миша на берегу озера. Днем озеро казалось совсем мелким, а сейчас в него заглянуло небо, и Миша увидел, что у озера, как у моря, дна нет.

Мише вдруг захотелось попасть на другой берег, где люди с песнями шли с работы, где коровы мычали, возвращаясь с выгона, и трудились грузовики с сеном. Но как попасть?

Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый, будто тесовый, мостик:

«Беги, мальчик, не бойся, вот твоя дорожка с острова на Большую землю!»

Весело стало Мише, вскочил он, кинулся к берегу, чтобы перебежать через озеро по лунному мостику. Но за Мишу испугался ветерок, пожалел его, дунул из-за кустов и раскидал, разрушил лунный мостик:

«Не верь, мальчик, луне, возьми лучше лодку. Вон в камышах лодка стоит».

Послушался Миша, спустился к лодке, сел за весла и стал отталкиваться от берега. Но луна рассердилась и на ветер и на Мишу и торопливо скрылась за облака.

Было светло, как днем, стало темно, как в полночь. Скрылся из глаз большой берег, куда тянуло Мишу. Не стало видно ни земли, ни озера.

А ветерок опять шепнул Мише:

«Не спеши, Миша, подожди до утра. Утром солнце взойдет, и не будет страшно. Все успеешь, подожди до утра!»

Заплакал Миша и вернулся домой.

Утром ему уже не захотелось на Большую землю.

3. Утро

Миша лег в постель и просит:

— Мама, расскажи еще сказку!

— Но сейчас поздно,— отбивается мать.— Все сказки на покой ушли, в камыши спрятались.

— Как это? — удивляется Миша.— Разве они птицы или рыбы?

Миша удивляется притворно, он только делает вид, что всему верит на слово, а на самом деле он все понимает.

— Как это сказки спрятались? — переспрашивает он.

— А вот так. Встань завтра пораньше, выйди на берег и, может быть, увидишь, как сказки начнут из камышей выплывать. Может быть, они и тебе покажутся. Только пораньше встать надо, засыпай скорее.

— Хитрая ты, мама! — говорит Миша, все понимая.

Но поутру он поднялся раньше всех и, наскоро одевшись,

вышел к озеру. Ноги сразу стали мокрыми, влажный холодок проник под рубашку, на руках выше локтей появились гусиные пупырышки. Небо чуть-чуть порозовело, но сзади острова, за спиной Миши, поэтому казалось, что утро еще не наступило. Миша спрятался за кустиком напротив камышей и стал ждать.

Долго ничего не происходило. Густой белый туман над озером побелел еще больше и начал медленно передвигаться. Вдали за озером объявились верхушки деревьев, только верхушки, до этого лес не был виден совсем. Говорят, что утром туман поднимается. Как же он поднимается, если из тумана сначала показались верхушки леса?.. Значит, туман не поднимается, а опускается, уходит в воду. «Хитрые!» — думает Миша.

Крякнула утка в камышах. Очень интересно крякнула, громко. Еще раз крякнула. Может, она не в камышах, а где-нибудь на чистом месте, только из-за тумана ничего не видно, и кажется, что она в камышах. Утром каждый звук далеко-далеко слышно. Опять крякнула утка. Как-то странно она все-таки крякает... «Не обманешь! — говорит про себя Миша.— Это самая настоящая утка, а никакая не сказка!»

Почти у самого берега плавают круглые листья, словно зеленые тарелочки, и между ними белые твердые цветы. Это водяные лилии, их очень много. Одни совсем распустились, а есть такие, что как маленькие зеленые горшочки с трещинками. А в горшочках белое молоко.

Лилий становилось все больше, они видны уже за камышами, потому что туман уходит в воду. Утром цветы, наверно, холодные и хрупкие. Миша вспоминает, что лягушка-царевна со стрелой во рту сидела вот около таких лилий. А где это он ее видел и когда? Но видел же ведь, точно, без обмана.

Миша почти не дышит и внимательно вглядывается в чашечки цветов на озерной глади. Тихо-то как! И вдруг из воды, прямо из воды, на глазах у Миши вылезает новый цветок и развертывает во всю ширину свои лепестки. Да нет, Мише это не показалось! Так вот прямо взял да и развернулся целый белый цветок, хоть кричи. Это же удивительно! Это же здорово!

Но Миша не закричал и даже не пошевелился. И правильно сделал. А вдруг это не цветок вовсе? Вдруг это и есть сказка, самая настоящая? Скрывалась всю ночь под водой, а когда пришло время, когда посветлело да потеплело, она и появилась и развернулась. Ух ты!

Потом из камышей выплыла утка. Нарядная, разноцветная и большая. Очень большая. И глаза у нее черные, блестящие, как пришитые круглые пуговки. Миша никогда не видал дикую утку так близко. Только вот в чем дело: если бы утка была далеко, то, конечно, это была бы утка, понятно. Дикие утки все боязливые, дикие. Но эта совсем рядышком, ну просто невозможно как близко. Разве могут настоящие утки подплывать

к человеку так близко? Не могут — в этом все дело. Это же сказка! Видно, мама не обманывала его. Хитрая! Конечно же, это и есть сказка, да еще с серыми утятами,— вот они!

Утята, серые комочки, выкатились из камышового тростника, как из глухой таежной трущобы, и заскользили вокруг своей матери, брызгаясь и попискивая. Они были очень похожи на куриных цыплят, только сказочные и катышками катались не по земле, а по воде.

Теперь Миша уже во все мог поверить. Он сидел как завороженный, как зачарованный и ждал: что же будет дальше? А дальше было вот что: утка исчезла, утята исчезли и на воде появилась змея. Это была третья сказка. Черный уж плыл по озеру, извиваясь, тела его не было видно, над водой торчала одна черная голова, но почему-то само собой разумелось, что и сам он весь черный. Черный змей плыл по воде, а след за собой оставлял красный, почти кровавый, и Мише стало страшно. Но когда он обернулся, словно хотел найти защиту, то увидел, что с другой стороны острова всходит красное солнце, и потому все вокруг становится розовым и красным. Зеленые листья на деревьях побагровели, будто осенью; травяной луг покрылся цветами, на оконных стеклах заиграли отсветы огня, словно в каждой избе затопилась печь. Лодка, стоявшая у мостков, с веслами, опущенными в воду, вдруг стала прозрачной, и вокруг нее заиграли солнечные зайчики. Порозовели даже камышинки на воде, и в этих густых розовых зарослях запела птичка. Вероятно, это была птичка, кто же еще? Но какая?.. А черный змей уже доплыл до берега и пропал. Все как в сказке.

Миша встал на ноги. Начинался день, и он хотел идти домой. Наверно, мама заждалась его, волнуется. Не может быть, чтобы она не заметила, когда он уходил из дому. Но в это время на озере кто-то громко чмокнул. Миша замер. Опять кто-то чмокнул — смачно, влажно. Целуются? Нет. Скорее, кто-то чавкает. Все как в сказке. И поет, поет птичка в камышах.

Чавканье продолжалось. Миша стал догадываться, что под зелеными тарелочками лилий рыба ловит ртом воздух. А может быть, это не рыба? Как же не рыба, если ее даже видно? И зеленые тарелочки вздрагивают и покачиваются после каждого поцелуя.

А здорово было бы, думает Миша, если бы сейчас вдруг приплыла к нему щука и спросила: «Чего тебе надобно, Миша?» А он бы ей: «По щучьему веленью, по моему хотенью...» Вот бы все ребята удивились! И девочки тоже! И мама бы с ума сошла! И папа бы... И Сашка...

— По щучьему веленью, по моему хотенью,— шепчет Миша,— чего бы мне такого пожелать?

Огромная щука подплыла к самому берегу, и Миша ее увидел, но у нее была такая пасть, что ни с каким делом

обращаться к ней он не захотел. Это была не та щука, это щука была из страшной сказки.

— Миша! Где ты? — звала его мать. — Не заснул ли где-нибудь?

Нет, Миша не заснул. Разве можно было бы столько всего увидеть и услышать, если бы он заснул?

— Иду, мама! — крикнул он, и сразу все сказки исчезли, и страшная щука уплыла от берега. Только невидимая птичка все пела и пела в камышах, хорошо пела. Она так и не показалась Мише. Наверно, это была самая интересная сказка.

СПАСИБО, ЧТО РАЗБУДИЛ МЕНЯ

— Прости, родная, что я разбудил тебя.

— А что случилось?

— Скорей оденься и выйдем на берег. Там удивительно хорошо!

— Ты знаешь, что я и вчера не спала?

— Знаю, прости, пожалуйста, одевайся скорей!

В окна проникал свет: то ли сияние неба, то ли сияние озера. По полу и по стенам двигались белые лунные полосы. Женщина тяжело поднялась с постели, набросила на плечи легкий ситцевый халатик, и он тоже засветился на ней.

— Пойдем скорей, в такую ночь нельзя сидеть в доме, — повторял мужчина.

— Я не сидела. Я только что заснула. Ты знаешь об этом?

— Да!

— Знаешь, что я очень трудно засыпаю?

— Да!

— Что я опять принимала снотворное?

— Да! Я все знаю. Пойдем скорей!

Когда они вышли на крыльцо, женщина ахнула и заторопилась на берег озера. На ходу она сдернула с плеч халатик и надела его как следует, в рукава. Мужчина теперь шел сзади, он даже отставал.

Озеро посверкивало и ликовало от берега до берега, все насквозь; и оттого, что оно было рядом, мир казался шире и глубже. Луна сияла одинаково кругло и в небе и в озере, только представлялось, будто в озере отражается ее обратная сторона.

К черным камышам на середине озера и дальше — к черному лесу на горизонте был перекинут лунный мостик из круглых березовых плашек. Мостик был наплавной, и, если ступить на него, побежать по нему, он, конечно, закачается и начнет прогибаться.

Женщина остановилась у самого лунного мостика, на песчаной отмели, и обернулась к мужчине.

— А у твоих ног тоже лунный мостик! — сказала она, сказала так весело, что мужчина заулыбался.

В этот миг далеко за озером раздался крик птицы, будто потревоженный петух спросонок вскинул голову и спросил кого-то: все ли в порядке?

Крик повторился. Женщина замерла как зачарованная.

— Это петух?

— Нет. В той стороне только болота, жилья нет.

— Кто же это?

— Догадайся сама.

— Не могу.

— Это журавли кричат.

— Почему же они кричат?

— Не спится, наверно. Такая ночь...

— Понятно.

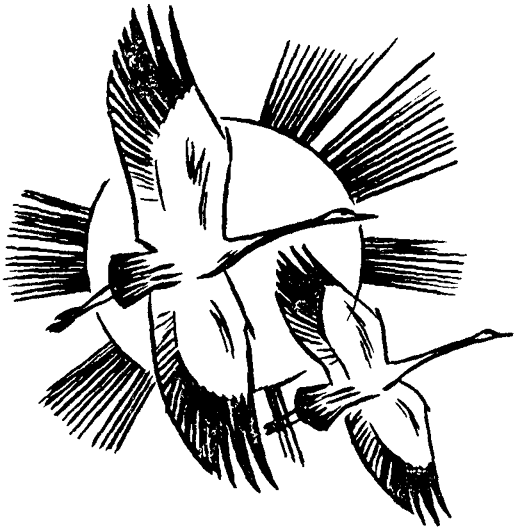
Журавли успокоились, и стало слышно, как над головой зашелестели листья, еле слышно зашелестели, а у самых ног, там, где песок и галька, вдруг легонько плеснула вода. Плеснула, откатилась и опять плеснула. Ночной плеск волны — как плеск времени. Боже мой, как все интересно!

— Спасибо тебе, родной мой! — сказала женщина.

— Прости, что я разбудил тебя.

— Спасибо, что разбудил. Иначе бы я ничего не знала об этих ночах, об этом нашем мире. Спасибо, что ты не даешь мне спать.

1960



МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ



ВОЛК В ГОРОДЕ

Летом 1960 года в городе Озерске жил волк. Не какой-нибудь ручной или молодой, несмышленый, а самый настоящий, дикий, лесной. Жил он долго и бесчинствовал, как и положено волку, и питался собаками и прочим мясом, как ему на роду написано. Люди принимали его за собаку, а собаки с ужасом разбегались в разные стороны и только выли от безысходного горя и тоски.

Когда же волк был опознан и было точно установлено, что это волк, а не собака и что убить его дозволено,— озерские охотники устроили на него облаву в центре города и убили его. За убийство волка была получена обычная государственная премия. Но главным вознаграждением для себя охотники считали добрую людскую молву — их благодарило и чествовало все озерское население.

Об этой истории рассказал мне старый рыбак и охотник Илья Евгеньевич Макаров.

Перескажу как сумею.

Волк попался в капкан еще зимой, и так как правосудие долго не обнаруживало себя, то он не стал ждать расправы, перегрыз себе ногу и ушел. Был он хищник старый и стреляный, попадать в беду доводилось ему и раньше, но на этот раз не повезло всерьез. Нога не заживала, начала гнить, волк исхудал страшно. Добывать пищу в лесу становилось все труднее и труднее. Но он не смирился, не стал вегетарианцем, а только больше обнаглел и ожесточился. Он начал околачиваться вблизи деревень, пробивался чем приведется, не брезговал даже кукурузой. Нередко и попадало ему — деревенский народ стал не в меру недоверчив.

Однажды ночью забрался волк в город и убедился, что в городе добывать пищу гораздо проще, чем в деревне. Там легче было затеряться. Собачки чаще всего попадались жирные, комнатные, вислоухие. С той поры и зачастил он в город.

И чем дальше, тем становился смелее. Бывало, люди еще из кинотеатра по домам расходятся, в парке репродукторы не умолкли, сторожа у магазинов еще заснуть не успели, а хромой волк уже ковыляет к злачным местам, смотрит, где что плохо лежит. Не устраивало его только одно: далеко было ходить из лесу туда и обратно. Уставал волк на трех ногах, да и на работу времени оставалось мало — ночи коротки. А старый хищник спешить не любил. Спокойнее, когда действуешь осмотрительно.

Как-то зазевался он, промедлил, и утро застало его в городе на школьном дворе. Прибежали первые ребятишки в школу еще затемно, волк не очень их испугался — малы еще, но все же предусмотрительно залез в дровяной сарай. Так он провел в городе первый день.

Провел не плохо. Отдохнул. Хотя, конечно, и поволноваться пришлось. Через каждый час дети выбегали на перемену во двор и играли то в кошки-мышки, то в волков и овец, то в волейбол. Нередко мяч подкатывался к дровяному сараю, и ребята кидались за ним. В такие мгновения волку казалось: все! конец! разоблачат! Но каждый раз выходило, что детям не до него, что они просто играют и бояться этого не следует. Так же вели себя и взрослые, им тоже было не до волка, у них было много других забот. Волк это отлично понял и осмелел еще больше.

Не понравилось еще, что весь день, с шести часов утра и до двенадцати часов ночи, на весь город гремели иерихонские трубы радиотрансляционного узла. Они действовали на нервы, не давали ни заснуть по-настоящему, ни сосредоточиться на чем-нибудь. Волка больше бы устроило, если бы трубы гремели с ночи до утра, когда он промышлял, шум ему шел бы на пользу. Но он смирился с этим ощущением городских властей, так как слыхал, что радиорупоры сотрясали воздух не в одном Озерске. Видимо, так было нужно.

Под гром радиомаршей волк вечером вышел из дровяного сарая и осмотрелся. Ничего страшного не случилось, и он направился к ближайшей помойке, чтобы позавтракать — как известно, у волков все не как у людей, ночь превращают в день, когда люди ужинают, волки завтракают, люди спят — волки жрут и пьют, мародерничают. От помойки хорошо пахло. Но этот запах привлек не только волка, туда же потянулась и голодная собака — такие в любом городе встречаются. И волк решил, что пока можно обойтись и без помойки. Не успела собака сообразить, в чем дело, как волк ее взял и унес к себе в дровяной сарай. Собака все-таки немного повизжала, но ее вопль был заглушен очередным радиомаршем.

Как ни была собака худа, волк покушал плотно и потому скоро заснул и остался в сарае еще на день. Летом школу не топили, и волка опять никто не потревожил.

На следующую ночь, увлекшись погоней за какой-то волосатой коротконогой собачкой, явной помесью половой щетки с гусеницей, он выскочил на улицу, прямо в людскую толпу. Перетрусил, должно быть, волк не на шутку, но результат оказался совершенно неожиданным: коротконожку кто-то из прохожих пнул, да так, что она полетела обратно к волку прямо в зубы. А его мало того что не узнали — не узнать немудрено: районные города летом освещаются не ахти как,— его все стали еще жалеть: вот бедный пес, на трех ногах, не иначе под машину попал. Человеку без ноги плохо, а собаке — какая жизнь!

Собачонку волк на этот раз не взял, не решился брать на глазах у всех, побоялся демаскироваться. Зато из города больше не уходил вовсе. И если поначалу он разбойничал в деревнях и в городе только потому, что тяжело было пробиваться трехногому в лесу, то теперь стал разбойничать уже потому, что так было легче жить. Совесть его не мучила. В конце концов, разве он виноват, что остался без ноги? Пускай впредь не ставят капканы. Должна же существовать какая-то компенсация за увечье, не пенсию же ему требовать! Зря, что ли, он пострадал?

Так рассуждал не один волк. Сердобольных людей находилось в городе немало.

С тех пор как волк осел в городе на постоянное жительство, события следовали одно за другим.

В мясной лавке начало исчезать первосортное мясо — конечно, оно шло на удовлетворение волчьего аппетита. Продавцам приходилось покрывать утечку за счет покупателей, продавать мясо второго сорта за первый сорт.

В столовых то и дело не хватало продуктов — волк похищал их еще со складов. Приходилось снижать качество обедов, уменьшать количество мясных блюд, мясные котлеты готовить в основном из толченых сухарей. Поварам, при всем их опыте, было очень нелегко выкручиваться.

Ухудшилось питание в детском доме и в детских садах и яслях — все по той же причине.

Однажды волк в гастрономическом магазине свалил полку с вином, разбилось несколько бутылок, а по акту списали в десять раз больше. В дальнейшем такое списывание по акту укоренилось: разобьется одна пустая бутылка-поллитровка, а спишут дюжину литровых, и не пустых, а с водкой. В торговых сферах считается допустимой норма боя посуды при перевозке, кажется, пятнадцать процентов. Норму допустимую сделали обязательной, ее как бы узаконили, а по акту списывали уже то, что было сверх нормы.

На городской скотобойне волк зарезал только одного бычка, а по акту списали на первый раз шесть бычков и две коровы. Следы зверя на скотобойне были видны, это были волчьи следы,

но так как волка никто не видел, то было решено считать, что это следы медвежьи. Акт благодаря такой находчивости выглядел очень солидно. Кругом леса, почему бы медведю время от времени и не заглядывать на скотобойню?

Расходы на волка росли с каждым днем. Убытки появились и на рыбзаводе, и на районной инкубаторной станции, и даже в учреждениях, не имеющих прямого отношения к материальным благам, то есть в так называемых гуманитарных. В торговой сети убытки назывались утечкой и усушкой, а, скажем, на рыбзаводе и на районной инкубаторной станции или в леспромхозе они стали называться производственными отходами. Если бы не спасительные акты, которые оказались самой емкой и гибкой формой творческой деятельности в сфере производства и распределения, нелегко пришлось бы коекому.

Хорошо еще, что волк был один, да и тот хромой. А если бы их сразу объявилось много? Не обошлось, конечно, в связи с этим без хищений и подлогов. Как говорится, у хлеба и крохи. Обстановка обострилась еще больше из-за того, что начали искать виновных. Ведь дыма без огня не бывает. А поскольку виновных обнаружить не удавалось, то, естественно, подозрения падали на честных людей. Возросшая подозрительность среди граждан города создавала атмосферу нервную, напряженную. Раздоры, клевета, ложные доносы — все знакомое от сотворения мира пошло снова в ход.

А волк уже расхаживал по улицам, и даже днем. Его ни в чем не подозревали. Кому могло прийти в голову, что это волк, а не собака? А известно, что собака испокон веков и страж и друг человека. Как же ей не доверять? Она призвана охранять народное добро, а не расхищать его.

Волку доверяли во всем, сочувствовали, что он калека, жалели его: «Безногий, значит, убогий!» — и прикрикивали на слишком усердных собак, которые приходили в неистовство от одного его вида.

Собак волк не боялся, тем менее боялся он машин. Собака рычит, беснуется, беспокоит, она чует, с кем имеет дело, и заставляет все время быть настороже. А машина есть машина, транспорт. Она ничего не чует — что ее бояться? Но среди машин однажды появилась обыкновенная старая лошадь, тоже транспорт. И она-то и выдала волка. Она просто храпнула, взвилась по старинке на дыбы и понесла. Если бы не эта устаревшая лошадь, волк, вероятно, и поныне безнаказанно бродил бы по городу. Но тут он выдал себя — он бросился лошади на круп.

Прошло уже немало времени с того памятного дня, как в центре Озерска был затравлен матерый волчище, а последствия

пребывания его в городе все еще до конца не ликвидированы. Люди все еще не могут прийти в себя от страха и вздрагивают, когда встречают обыкновенных безобидных собак: а вдруг среди них есть еще волки? Илья Евгеньевич Макаров рассказывал мне, что он даже коротконогого щенка своего держит до сих пор под подозрением: не волк ли растет?

1960

СТАРЫЙ ВАЛЕНОК

— Ну как жизнь, старина? — ежевечерне спрашивал у своего приятеля седобородый нечесаный Лупп Егорович.

Толстый ленивый кот, давно прозванный Старым Валенком, спросонья поворачивал голову, чуть приоткрывал глаза и нехотя мурлыкал что-то невнятное. Можно было подумать, что он говорил: «И как тебе не надоест из года в год спрашивать об одном и том же? Ну, живу по-прежнему! Вверх головой! Чего тебе еще? Экий человек, право!»

Лупп Егорович и Старый Валенок много лет жили вместе, и каждый думал, что он старше другого. По этой простой причине, по старости, они были одиноки, и обоим казалось, будто и дружат они лишь потому, что больше дружить не с кем и остается одно — терпеть друг друга.

Но в их отношениях, кроме семейной привязанности, было взаимное уважение, а временами даже любовь.

Когда кот был молод и прост, он повсюду следовал за своим хозяином. Приохотился Лупп Егорович ходить перед праздниками на рыбалку — и кот за ним. Поймает старик мелкую рыбешку: уклейку, пескарика или ершика,— выбросит на берег, а кот ее съест.

— Хоть бы посолил! — потешался над Старым Валенком Лупп Егорович.

Но коту нравилась рыба и несоленая, была бы она живая. Сидит старик с удочкой, не шевелится, а рядом у края воды рыбачит кот, сторожит всякую мелочь, проплывающую возле бережка. Подплывет рыбка совсем рядышком — в прозрачной воде она кажется крупной,— цапнет ее кот лапой и удивляется, что в лапе ничего нет. А Лупп Егорович хохочет:

— Это тебе не мыши!

Приохотился хозяин в силки рябчиков ловить — и кот начал промышлять птичек в лесу и на огороде.

Со временем приятели даже внешне стали походить друг на друга: Лупп Егорович, обзаведясь большой бородой и пышными бровями, вроде двух кошачьих хвостов, все больше смахивал на лохматого кота, а пушистый Старый Валенок — на Луппа



Егоровича. Но сами они не замечали этого и любезничали друг с другом редко.

Старый Валенок с годами становился высокомерен, заносчив. Он презрительно смотрел со своей лежанки на возвращающегося поздней ночью волосатого Лупна и не трогался с места, даже когда тот начинал его гладить вдоль спины, только вытягивал хвост, чтобы рука старика прошлась и по хвосту. Мурлыкать от удовольствия, урчать, как положено всякому зверю кошачьей породы, Старый Валенок тоже не всегда находил нужным. А о том, чтобы сойти с лежанки, встретить приятеля у порога с задранным хвостом и потереться о его подшитые и заштопанные во многих местах катанки, он и думать не хотел. Такого случая ни он сам, ни Лупп Егорович уже не помнили. И если кот все-таки мурлыкал, то Лупп Егорович говорил:

— Мурлычешь, сукин кот, значит, жрать хочешь. Так просто, по доброте душевной, ты не замурлычешь.

Если бы не Лупп Егорович, Старого Валенка вообще не было бы на свете. Но разве он это понимает? Покойная жена Луппа Егоровича, Настя, держала в доме кошку, не запрещала ей даже котиться, но всякий раз уничтожала весь приплод. Положила однажды она слепых котят в ямку, прикрыла их камнем, а камень лег неплотно, и котята начали пищать, кошка услышала, заметалась, сама подрыла землю под камнем и вытащила одного котенка живым. Старуха хотела его сразу утопить, но Лупп Егорович воспротивился. «Судьба! — сказал он.— Пущай живет!»

И кот выжил. И стал Старым Валенком.

Лупп Егорович не работал в колхозе, годы вышли, но характер по-прежнему имел беспокойный, во все вмешивался, все и всех судил. В поведении Старого Валенка больше всего старика возмущала его молчаливая сонливость. «Как же ты можешь на все закрывать глаза, если ты живое существо?» — часто с удивлением и гневом допрашивал он кота.

Сегодня Лупп Егорович пришел домой подвыпивший и был особенно словоохотлив. Он повесил на крюк рядом с рожковым умывальником полушубок, смахнул кое-какую мокреть с усов, затем пошел на кухню, повозился ухватом в пекарке, вытянул горшок с остатком щей, принес их на стол и крикнул:

— Ладно, иди, старина, покормлю!

Кот издал в ответ какие-то влажные булькающие звуки, посмотрел, что ему предлагают и стоит ли из-за этого покидать теплое место, и, осторожно приподнявшись и потянувшись, начал неторопливо спускаться с лежанки, с приступка на приступок. Движения его были замедленны, как у Луппа Егоровича, должно быть, они все-таки подражали друг другу даже в этом.

— Не голоден, значит? — с обидой сказал Лупп Егорович, выжидая, когда Старый Валенок спустится с печурки и подплывет к столу.— Не голоден, старый черт, или пенсию уже успел получить? Лежебок несчастный! Ох и ленив же ты, братец, за что только хлебом тебя кормят! Имечко тоже тебе подходящее дадено, заслуженное имечко: Валенок ты — Валенок и есть!

Кот степенно подошел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких нежирных щах,— от руки пахнуло не щами, а табачищем — и отказался есть. Он недовольно мяукнул. «Твое имя лучше, что ли?» — казалось, выговорил он.

— Мое имя, братец, тоже не ахти какое, так в этом не я виноват. Поп на моего отца сердит был за вольномыслие и досаждал ему, чем мог. Народился сын, он и сыну — мне, стало быть,— еще в купели жизнь испортил на веки вечные. В школе и в деревне раньше мне проходу не давали, каждый перекрещивал как хотел: «Лупа да Лупа...» А разве я это заслужил? Ты вот заслужил. Твое имя к тебе пристало. Мурлычешь, гад? — ласково заключил свои высказывания Лупп Егорович.

«Мурлычу! — ответил Старый Валенок.— Чего тебе надо?..»

А Луппу Егоровичу ничего не надо было, ему просто хотелось поговорить, ему было хорошо. «Неужто и с котом своим по душам поговорить нельзя?» Уже лет пять как Настя, старуха, умерла. Дочь вышла замуж, работает вместе с мужем на маслозаводе. «Вот бы тебе, Старому Валенку, где пристроиться надо!» Два сына поучились и уехали из деревни, в начальники ладят выбиться. «Все нынче в начальники лезут!» Об этом бы и хотелось поговорить Луппу Егоровичу, но — кот, что он знает?..

— Есть ли у тебя душа? — спрашивает кота Лупп Егорович.— Думаешь ли ты о жизни и как ее, нынешнюю, понимаешь?

Старый Валенок молчит и, недовольный, возвращается на теплую лежанку, на свое обычное место. Там он поджимает мягкие лапы, укладывает вокруг себя пушистый хвост, словно обертывается широким шерстяным шарфом, и, безучастный ко всему, закрывает зеленые усталые глаза.

— Вот твой главный недостаток: равнодушный ты! Жизнь идет, а ты спишь да спишь,— продолжает выговаривать ему Лупп Егорович.— Нет у тебя души, только шерсть одна. И мышей ты лопаешь с шерстью. Чего глаза закрываешь? Если бы у тебя была душа, ты глаза не закрывал бы, когда с тобой о деле говорят. Ну выпил я, ну и что? Дочка без внимания не оставляет, ей спасибо: в люди выбилась, не зря учил, человеком стала. От нее всегда поддержка и маслом и деньгами... Дела,

понимаешь, в общем-то идут, и народ живет, приспособился, а все-таки не надо закрывать глаза, а то движения не будет. Вот говорю я председателю: поставь меня на пасеку, не губи ее, самое стариковское дело — пасека, выгодно будет. А он что? Не лезь, говорит, не в свое дело, тебе скоро пенсию дадим. Он, стало быть, проявляет инициативу, а мою, эту самую инициативу, куда? Опять же о дочке. Была бы жива старуха, легче было бы, а то мест в яслях не хватает, в детский сад очереди. Вот говорим девкам: учитесь, раскрепощайтесь! А детей кто нянчить будет? Понимаешь, о чем я говорю, или тебе, лежебоку, ни до чего дела нет?

Кот лежал спокойно, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал.

В избе наступали сумерки, очертания Старого Валенка начали расплываться. Безразличие кота раздражало Луппа Егоровича, но он понимал, что обижаться на животину бесполезно. Опершись руками о лавку, он тяжело поднялся, прошел к суденке возле печи, ощупью отыскал ложку, кусок хлеба и, вернувшись к столу, похлебал щей. Свет бы зажечь, но к чему? Скоро спать, а пока даже не дремалось. Ночи теперь долгие, спать приходится много, зачем спешить? Охота разговаривать еще не оставила Луппа Егоровича. Он снова повернулся к коту и неожиданно рыкнул:

— Дай закурить!

Старый Валенок промолчал.

— Вот видишь, какой ты: с тобой как с человеком, а ты что? Ну выпили мы с Прокопом маленько, посидели, посовещались, души свои разбередили. Поди, и поворчать старикам нельзя? Сколько уже раз колхоз наш то укрупняли, то разукрупняли — как душе не болеть? Пасеку похерили — пчелы, видишь ли, невыгодны, кур похерили — куры невыгодны, лошадей на колбасу — лошади невыгодны. Земля стала невыгодной, лес наступает на сенокосы, на пашни. Того гляди, и старики станут невыгодны. Что же это такое происходит? Опять же говорю председателю: все берега по реке ивняком затянуло, отдай их мужикам исполу, расчистят, пущай два года косят для своих коров, потом колхозу перейдет, выгодно. А он что? На мелкобуржуазию, говорит, воду льешь... Чего молчишь? — кричит на кота Лупп Егорович.— Ну я выпил маленько, так я дело свое знаю, у меня душа болит. А ты ради чего живешь на земле, за что ты отвечаешь? Где твоя норма? Выполняешь ты свою норму или нет?

Лупп Егорович, у которого язык начинал все больше заплетаться, пришел вдруг в такое возбуждение, что сорвал катанок с ноги и бросил им в кота.

Кот встрепенулся, но с лежанки не соскочил, только перешел на другое место. Он, должно быть, привык к подобным выходкам старика, спокойствие не изменило ему. Чуть при-

открылись круглые глаза, блеснул в сумерках зеленый огонек, и мирное течение жизни в доме восстановилось.

— Ну что, братец, поразговаривали мы с тобой? — стал успокаиваться и старик.— Это хорошо, что ты молчать умеешь, а то нарубили бы мы дров сообща. Пожалуй, этак и пенсию не получим. Не могу проходить мимо, братец ты мой, совесть моя не позволяет. Иные под старость либо косеют, либо слепнут, а я под старость только больше видеть стал. Вот, скажем, обратно, плата за труд. Добавочная оплата есть — по животноводству, по льну, по сену,— это все соблюдается. А сам трудодень опять ничего не стоит. Выгодно это колхозу или невыгодно? А деньги какие хитрые стали!..

Лупп Егорович зевнул. Бесполезность разговора с котом стала для него вдруг настолько очевидной, что он сразу устал и захотел спать. Но заключить разговор надо было так, чтобы на его стороне осталась победа. Он так и сделал:

— Я же не о себе пекусь, понял? Вот сидишь и носом не ведешь. Старый ты Валенок! Брюхач!

Спал Лупп Егорович нераздетым, только катанки снимал и ставил на печку. Один катанок он поставил рядом с котом, другого искать не стал: показалось, кот приоткрыл мудрые глаза и поглядел на него насмешливо,— дескать, сам разбрасываешь, сам и собирай.

— Ну, ладно уж, ладно, поговорили! — сказал Лупп Егорович и погладил кота по голове. Тот не пошевелился.

Обычно Лупп Егорович спал на печи, подостлав под бока ватник. Но на печь лезть трудно, сейчас для этого не было ни сил, ни охоты. Поэтому он взял от стола скамью, придвинул ее к другой скамье у стены, положил в изголовье тот же ватник с печки и лег на спину, закинув руки назад, кулаки под голову. Лохматые брови его сомкнулись у переносья, широкая борода закрыла всю грудь, вытянулась до кушака. Засыпая, Лупп Егорович бормотал про себя:

— Как в людях ни хорошо, а дома лучше. Сколь подушка ни мягка, а свой кулак мягче...

Старый Валенок беззлобно, даже доброжелательно поглядывал сверху, как укладывался его хозяин, а когда в избе раздался первый легкий храп, он словно преобразился: выгнул спину, легко и мягко соскочил с лежанки и юркнул в подполье на очередную охоту за мышами. Равнодушия его как не бывало: он пошел выполнять свою жизненную норму...

Ночью луна осветила бревенчатые стены избы, разверстую русскую печь, пустую лежанку-подтопок, темный, давно не скобленный стол, на нем горшок с остатками щей, скамьи, сдвинутые вместе, и спящего старика с широкой бородой на груди.

При свете луны из подполья неслышно, как привидение, вышел пушистый сибирский кот, крадучись приблизился к своему старому ворчливому другу, легко прыгнул ему на грудь и осторожно, чтобы не разбудить, положил ему в широкую нечесаную бороду полузадушенную мышь — самую крупную, самую жирную из всех, какие удалось ему промыслить за эту ночь.

1962

ЖИВОДЕР

Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.

Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домоткаными половиками, увешанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста...

Но больше всего меня устраивает, что старушка моя рано ложится спать и, перед тем как лечь, наливает для меня полную лампу керосина и чистит стекло скомканной газетой.

Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном, и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.

Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла на середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!

Кошка положила мышь на половик посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.

— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения.— Ушла!

Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол, нашла мышь — как мне представилось, ощупью — и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.

— Упустишь, дура! — сказал я.

Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала!

— Прозевала-таки, полоротая! — ворчал я. Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.

— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.

Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно прикидываясь мертвой. Кошка ложилась на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека трогала мышь своей страшной лапой, и мурлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени. Я осветил их лучом китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.

Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: «Да беги же снова, играй со мной!» Не мурлычет, а мяучет.

Хозяйка с печи опять подала голос:

— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!

— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.

— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.

Наконец и я ощутил ненависть к кошке.

Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые с серым дымком глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее. Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у «тигры» кроме зрения был еще звериный слух.



— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я.— Поймала-таки опять! Кровопийца! — И я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.

Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукала с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой то правой лапой, словно бы отступалась от нее, отходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.

Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.

Хозяйка моя свесила ноги с печи.

— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?

— Смотрел, как кошка с мышью играла,— ответил я.

— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть удивляясь моей несерьезности.

— Что — «ой, паре»?

— Ну-ко, надо!

— Что — «ну-ко, надо»?

Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:

— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!

— Ладно! Давай буду спать.

Я ложусь и засыпаю тревожным тоскливым сном. Снится мне моя страшная житейская беспомощность: меня ловят, со мной играют, хотят меня съесть. Захотят — съедят немедленно, захотят — оставят до утра. А я — просто игрушка, я — просто для игры.

— Ой, паре! — вскрикиваю я, удивляясь и негодуя на самого себя.— Ну-ко, надо!..

1962

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Я перестал учиться, когда получил первый гонорар. До чего же все это было давно и до чего весело вспоминать обо всем этом!

Гонорар пришел из Москвы, из «Пионерской правды». Там время от времени печатались мои заметки о школьной жизни, однажды была помещена даже басня «Олашки» — о буржуе, который отказался есть оладьи, когда узнал, что они испечены из советской муки. Принципиальные были буржуи в то время!

Денежный перевод, если не ошибаюсь, рублей на тридцать, застал меня врасплох. У меня больше двадцати — тридцати копеек в кармане еще никогда не бывало.

Не без труда получив деньги на районной почте, я купил в магазине конфет, обливных пряников и папирос и ринулся пешком в родную деревню. Дело было зимой. Носил я тогда лапти, теплой одежонки, конечно, не было, и идти мне было легко. Но я не шел, а бежал. Бежал бегом все двадцать километров. Напевал ли при этом песни и приплясывал ли — не помню. Помню только, что за всю дорогу не съел ни одной конфетки, ни одного пряника, потому что хотел все целиком донести до деревни, для своей матери. Похвастать хотелось: вот, мол, я какой, на-ко выкуси! И конечно, пачку папирос не распечатал — я еще не курил тогда.

Зимние дни коротки, и как ни легок я был на ногу, а все-таки до деревни добрался только к ночи. В темноте углы срубов потрескивали от мороза, а в избах горела лучина в светильниках. В одном только доме была керосиновая лампа, окна его светились ярче прочих. В этом доме собиралась молодежь на посиделки. У нас такие посиделки зовут беседками. Девушки чинно сидят на лавках с прясницами, прядут лен или куделю, да поют песни под гармошку, да стараются понравиться парням, каждая своему, а некоторые всем сразу, а парни, пока не начинается кадриль, просто бездельничают, зубоскалят.

Мне было тогда меньше пятнадцати лет, но не это важно. Важно то, что одна из деревенских девушек мне уже нравилась, я был уже влюблен — в нее, во взрослую, в невесту. О чем я тогда думал, чего хотел — один бог знает. Сам я если и знал что, то теперь забыл.

Не донеся до дому пряники и конфеты, я прежде всего решил появиться на беседках. Еще ни разу на беседках не принимали меня всерьез, ни в чьих глазах я еще не был взрослым. «Ну что ж, что не принимали,— думал я.— Не принимали, а сейчас примут».

Очень я нравился себе в тот день!

Керосиновая лампа висела на крюку посреди избы и горела в полную силу: беседка еще только началась и воздух еще не успел испортиться вовсе. Но клубы и кольца табачного дыма уже не рассеивались, не таяли, а передвигались под потолком, плотные и густые. Девушки в ярких домотканых, реже в ситцевых сарафанах, как обычно, сидели на прясничных копыльях вдоль стен по окружности всей избы и крутили веретена и поплевывали на пальцы левой руки, вытягивавшие нитку из кудели. Парни толпились посреди избы, а кое-кто, посмелее, сидел на коленях у девушек либо рядом, занимая их разговорами и мешая прясть. Довольные девушки повизгивали, похохатывали. В темном углу за большой русской пекаркой, где всегда пахло пирогами и кислым капустным подпольем, какая-то парочка целовалась. Сладостное и таинственное для меня на этих посиделках только-только возникало.

Моя любовь, Анна, сидела далеко не на самом почетном месте, а в углу справа, в полусумраке кухни, но была она самая красивая из всех. Красный пестрядинный сарафан с белыми нитяными квадратами, кофта синяя, яркая, тоже пестрядинная, и никакого платка на голове. А на лице улыбочка, не улыбка, а улыбочка — ласковая, хитренькая, при которой щеки чуть подтягиваются кверху и на одной из них образуется ямочка, а глаза прищуриваются. Да еще волосы, заплетенные в косу с очень яркой, но уже не красной и не синей, а, кажется, фиолетовой, ярко-фиолетовой лентой; да еще глаза, поблескивающие, все понимающие, чуть прищуренные и, кажется, серые; да еще руки, быстрые, работящие и, наверно, тоже ласковые. Эх, потрогать бы их когда-нибудь! Правой рукой Анна крутила веретено, и так сильно, что оно даже жужжало от удовольствия, а пальцы левой руки двигались все время у кудельной бороды и были всегда мокрыми от слюны.

Анна была так красива, что, конечно, никто из парней не осмеливался сесть рядом с нею. Только я один осмелюсь сегодня! А что полусумрак на кухне — так это же хорошо: тут, в углу, по крайней мере, ничего не будет видно. Ничего!

И еще хорошо, что близко отсюда запечье, тот таинственный уголок, куда время от времени уходят сговоренные пары целоваться. Неужели и это для меня сегодня возможно?

Войдя в избу, я первым делом роздал ребятам папиросы. Кажется, ничего особенного при этом не произошло. Ребята просто расхватали всю пачку сразу и стали курить: папиросы все же, не махорка. Дыму в избе стало еще больше.

Затем я подсел к моей девушке, к моей Анне. Подсел, как садятся взрослые парни к своим девушкам. Раньше я никогда не осмеливался сидеть рядом с Анной, а сейчас взял да и сел. Анна пряла лен. Она не удивилась, что я ткнулся на лавку рядом с ее прясницей, она просто пряла. Теперь надо было заговорить с ней. Я еще ни разу не расхрабрился до такой степени, чтобы заговорить с нею. Не смог я заговорить и на этот раз. Но на этот раз все было по-другому, на моей стороне теперь были всяческие преимущества, на моей стороне была сила — и конфеты, и пряники, и то, что я настоящий писатель, иначе разве посылали бы мне деньги из самой Москвы. Сегодня на беседках я был самый главный человек.

Я достал из кармана конфету, развернул бумажку и сам, своей рукой положил конфету Анне в рот. И опять ничего особенного не произошло. Анна просто взглянула на меня, открыла рот, взяла конфету в рот и съела ее. Но все-таки она взглянула на меня. Все-таки она меня заметила. Я быстро развернул следующую конфету и снова положил ее в рот Анны. Она съела и эту конфету, но при этом засмеялась. Щеки ее приподнялись, округлились, красивые глаза сузились.

Так и пошло: я ее кормил конфетами, а она смеялась. Над чем? Над кем? Надо мной, конечно! Но меня это нисколько не смущало. Все равно она была красивее всех, и я сегодня был всех лучше. Ах, если бы я смог с нею заговорить!

Она бы спросила меня:

«Ты все еще учишься?»

А я бы ей ответил:

«Учусь — что! Я — писатель! Понимаешь — писатель, самый настоящий. Мне уже и деньги платят за то, что я писатель. А ты знаешь, что это такое? Вот, например, все эти конфеты, пряники, папиросы — это все откуда? Просто, понимаешь, пишу, и все».

Так беззастенчиво хвастать в городе я, конечно бы, не смог, там сразу меня поймали бы. Но здесь можно было. К тому же и обстановка все-таки необычная, духоподъемная. Ведь парень перед девушкой всегда немножко рисуется, хвастается. А как же иначе? Иначе разве она его полюбит?

Беда только, что я не смог и на этот раз заговорить со своей

Анной. Но я был счастлив уже оттого, что она ела мои конфеты и смеялась надо мной. И когда она съела их все, я выложил ей в подол все обливные пряники. Она съела и пряники.

Сам я так и не попробовал ни пряников, ни конфет. Отчего это — от большой любви или от расчета, от скупости или от сердечной доброты?

Домой я пришел с беседок поздней ночью, когда все уже спали, и, голодный, заснул на случайной соломенной подстилке возле курятника..

Утром мать подошла к моей постели. Она не будила меня, а просто остановилась надо мной, заложив руки за спину, и я проснулся сам. Добрая, бедная мама! Она все уже знала. Она знала, что ее несмышленый, но опасно бойкий первенец, живущий в городе без родительского присмотра, где-то раздобыл деньги,— конечно же, не чистые это деньги, не трудовые! — покупает папиросы, курит сам и угощает других, а всякие сласти раздает девкам. Уж и до девок дело дошло!

— Здравствуй, мама! — говорю я ей.— Поесть бы чего-нибудь!

А она мне:

— Скажи, парень, где деньги взял?

И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей душе и, вероятно, засветилось в глазах. Я не удержался, и опять понесло меня на хвастовство.

— Я, мама, писатель. Понимаешь, писатель! — говорю я ей, почти захлебываясь от восторга.— Мне заплатили гонорар. Из Москвы перевели. Я израсходовал мало, ты не бойся, я еще и тебе дам денег. А потом опять сочиню чего-нибудь. Гонорар, понимаешь?

— Ты мне зубы не заговаривай,— начала сердиться мать,— правду скажешь, ничего тебе не сделаю. Где взял деньги?

— Так я же правду говорю: я — писатель, поэт. Это гонорар. Творчество, понимаешь?..

Добрая моя мама! Вряд ли она и сейчас понимает, откуда у сына порой водятся деньги: на службу он не ходит, хозяйства не имеет, никаким промыслом не занимается. Сколько лет работали в стране ликбезы, а старая моя мама так и доживает свой век неграмотной и по-прежнему для нее что писатель, что писарь — одно и то же.

— Ах, ты так, сквалыга окаянный! — вконец рассердилась она.— Признаться по чести не хочешь? Думаешь, всю жизнь правду скрывать будешь, не по совести жить? Вот я с тебя шкуру спущу, раз ты писатель...

И в руках у матери за спиной оказалась свежая березовая

вица — розга. Она стащила с меня замызганное одеяльце, и я, ненакормленный, неодетый, получил свой первый настоящий гонорар. Конечно, я ни в чем не был виноват, но ведь и она мне только добра хотела. Вот и суди после этого, кто прав, кто не прав.

1960

ПРОВОДЫ СОЛДАТА

Я долго верил, что запомнил, как уходил мой отец на войну. Верил — и сам удивлялся своей памяти: ведь мне было тогда не больше двух лет.

Сердобольные деревенские старушки часто тешили меня рассказами о погибшем батьке. В этих старушечьих воспоминаниях отец мой выглядел всегда только хорошим, и не просто хорошим, а необыкновенным. Он был силен и смел, весел и добр, справедлив и приветлив со всеми. Все односельчане очень любили его и жалели о нем. Кузнец и охотник, он никого не обижал в своей жизни, а когда уходил на войну, сказал соседям, что будет стоять за родную землю так: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».

Чем больше слушал я рассказов о своем отце, тем больше тосковал о нем, жалел себя, сироту, и завидовал всем ровесникам, у кого отцы были живы, хоть и без крестов. И все больше мои личные, правда, не очень ясные воспоминания совпадали с тем, что я слышал о нем.

А припоминались мне главным образом проводы отца на войну.

Это было в ту осеннюю пору, когда вся земля начинает светиться и шелестеть сухой желтой листвой, когда и восходы и закаты кажутся особенно золотыми. Около нашего дома с незапамятных времен стояли четыре могучих березы. Я отчетливо вспоминаю, что они были совершенно прозрачными, что синее небо было не над березами, не выше их, а в самих березах, в вершинах, в сучьях.

Вся деревня собралась на проводы отца под березами. Народу было очень много, и людской говор и шум листвы сливались. Откуда он взялся в старой деревне, духовой оркестр, но он был, и медные трубы светились так же, как осенняя листва, как вся земля наша, и непрерывно тихо гудели. Отец мой, высокий, красивый, ходил в толпе и разговаривал с соседями, то с одним, то с другим; кому пожмет руку, кого по плечу потреплет. Он был здесь главный, его провожали на войну, его целовали женщины.

Я помню цветистые домотканые сарафаны, яркие желтые платки и фартуки. Потом отец взял меня на руки, и я тоже стал главным в толпе. «Берегите сына!» — говорил он, и ему отвечали всем селом: «Воюй, не тревожься, вырастим!»

Много мелочей об этих проводах вспоминал я отчетливо. Там было все — клятвы, объятия, советы на дорогу. Не запомнил я только слез. На праздниках не плачут, а для меня там все было праздничным. Самый же большой праздник начался, когда подали для отца тройку лошадей. Он сел в плетеную пролетку, которую у нас зовут тарантасом, крикнул: «Эгей, соколики!» — и кони понеслись. Уже вслед ему кто-то озабоченно успел спросить: «Табачок-то взял ли?» — затем все шумы покрылись громом медных ясных труб.

Широкая улица от нашего дома, от четырех могучих берез шла к полю, забирая немного вверх, на подъем. Полевая изгородь и ворота были хорошо видны. С обеих сторон околицы золотились березки. И вот, когда тройка на полном скаку подлетела к воротам, березки вдруг вспыхнули.

Может быть, их осветило в этот момент заходящее солнце, может быть, мне все это когда-нибудь приснилось, но березки вдруг вспыхнули самым настоящим огнем, а от них загорелись ворота. Пламя, очень яркое и совершенно бездымное, сразу охватило все сухие жердочки до единой. Разгоряченные кони не смогли остановиться перед горящими воротами, а открывать их было уже поздно и некому, отец мой вдобавок еще крикнул каким-то развеселым голосом, словно ударил молотом по звонкой наковальне, и кони вдруг взвились в воздух и перенеслись через огонь. Только колеса пролетки слегка задели ворота, из-за чего красные жерди рассыпались и ворох светящихся искр поднялся к небу.

Я хорошо все это запомнил и долго верил, что все было именно так. Позднее сам уходил на войну, и ощущение великой торжественности момента опять совпало с тем, что я вспоминал о проводах отца. «Но как это могло быть? — спрашивал я себя.— Ведь мне тогда года два исполнилось, не более».

И вот что выяснилось со временем в связи с этими воспоминаниями.

В детстве мне приходилось порой слушать граммофон в доме моего дедушки. Бывали случаи, когда дедушка доверял мне самому проиграть одну-две пластинки. Тогда я раскрывал все окна горницы, ставил удивительный ящик на подоконник, направлял орущую зеленую трубу вдоль деревни и священнодействовал. Конечно, отовсюду сбегались ребятишки и с раскрытыми ртами издалека смотрели в трубу. А мне казалось, что они смотрят на меня, что я становлюсь героем не только в своих глазах, но и в глазах моих сверстников, что все они завидуют мне.

И я торжествовал. Не все же было мне, сироте, завидовать



им. Вот я какой, вот я что могу — смотрите! А может быть, мой батько еще не убит, еще вернется он, тогда я вам покажу... Так я мстил за свои маленькие смешные обиды.

Спустя много лет вернулся я в родную деревню, и в доме покойного дедушки довелось мне еще раз сесть за старый квадратный граммофон. В груде еле живых пластинок с наклейками, на которых были нарисованы то ангелочки, то собачка, сидящая у граммофонной трубы, нашел я одну незнакомую мне, уже с трещиной, пластинку — «Проводы на войну», или «Проводы солдата». Сердце ничего не подсказывало мне, когда я решил проиграть и ее.

Среди ржавых иголок выбрал я одну поострее, снова с усилием несколько раз провернул ржавую ручку, отключил тормоз и, когда собачка и зеленая труба на этикетке пластинки слились в один кружок, опустил рычаг с мембраной. Сначала был только треск ржавой пружины и шум, словно иголку я опустил не на пластинку, а на точильный камень,— ничего нельзя было разобрать. Потом появились голоса, заиграл духовой оркестр, и я услышал первые слова: «Табачок-то не забыл ли?»

И сразу я увидел широкую свою деревенскую улицу, золотой листопад осени, толпу односельчан и родного отца, уходящего на войну. «Берегите сына!» — говорил он соседям. А его целовали и клялись ему: «Воюй, не тревожься, убережем!»

Дорогие мои, родные мои земляки! Что со мною было! Медные трубы оркестра звучали все яснее и взволнованней, их песня пробилась через все шумы времени, через все расстояния и наслоения моей памяти, очищая ее и воскрешая все самое святое в душе. Уже не одно село, а вся Россия провожала моего отца на войну, вся Россия клялась солдату сохранить и вырастить его сына. И опять не было слышно слез. Но, может быть, медные трубы заглушали их.

Потом я услышал звон бубенчиков и последние напутствия на дорогу. Вот, значит, откуда шли мои слишком ранние воспоминания. Вот где их истоки.

Но откуда же взялось золотое видение осени и горящие ворота сельской околицы? Это был, конечно, сон.

Ведь приснилось же мне однажды, что гвозди достают из дерева-цветка, который называется гвоздикой, а разноцветные нитки бисера находят готовыми в стогах гнилого сена, и я тоже долго верил, что это именно так и бывает.

Но нет, не только во сне привиделся мне бешеный скач тройки. Живет и поныне в нашем колхозе Петр Сергеевич, талантливый конюх и лихой наездник. Это он мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень-колоду.

А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади. «Эгей, соколики!» — вскрикивал Петр

Сергеевич, широкая русская душа, и откуда бралась силушка в мохнатых ногах — со свистом, с вихорьком взлетал тарантас на горку мимо четырех моих берез. Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на глазах у всей деревни, или, как у нас говорят, на миру, превращалась вдруг в Конька-горбунка.

Услышал я недавно развеселый, из глубины души вырвавшийся крик моего земляка, как будто он бросался сломя голову вприсядку, и опять живой картиной встали в моей памяти проводы отца. И опять все показалось мне невыдуманным, не приснившимся, а подлинным — даже горящие ворота и сказочные кони, взвившиеся в воздух,— все, как провожала на войну родимая сторона своего солдата.

1954

ЖУРАВЛИ

СИЛА СЛОВ

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что он остался впереди



совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету недоставало даже в полях, и утром и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же бабье лето? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснувшись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и, откуда ни возьмись, на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось все нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешься, не нарадуешься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над полями птичьи треугольники. Странным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить да жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая высоту. Словно самолет пронесся близко,— завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребятишки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как

начал, правда негромко, почти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал с детства: «Клин, клин журавлин! Летите не сбивайтесь, домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путем-дорогой...»

И вот уже выправились журавли моего детства, угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края, полетели путем-дорогой.

1954

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43
Дом детской книги

Литературно-художественное издание

Для старшего возраста

Яшин Александр Яковлевич

ПЕРОВСКОЕ ОЗЕРО

Повести и рассказы

Ответственный редактор
И. В. Пахомова
Художественный редактор
Н. З. Левинская
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректор
Г. Ю. Жильцова

ИБ № 11545

Сдано в набор 27.06.88. Подписано к печати 28.12.88. Формат 60×90[1]/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,0. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 16,96. Тираж 100 000 экз. Заказ № 50. Цена 1 р. 10 к.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

1р. 10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"